

A 37 1 104977 peg.

3m 8m 104977 peg.

14 2 1 degar o surregnux

14 2 1 degar o surregnux

14 2 1 degar o surregnux

2 p

104977

who

Pop

Ю. Яйхенвальдъ.

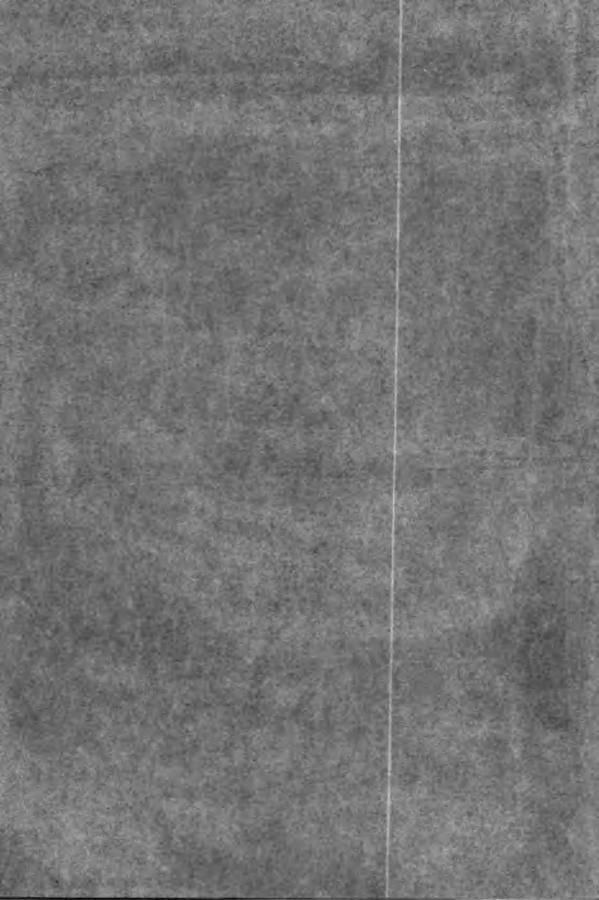
ЭТЮДЫ

o

ЗАПАДНЫХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.



"Научное Спово!.



Ю. Айхенвальдъ.

83,3/4) 84 A37

ЭТЮДЫ

0

ЗАПАДНЫХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.



москва. Изданіе "НАУЧНАГО СЛОВА". 1910. 19 !





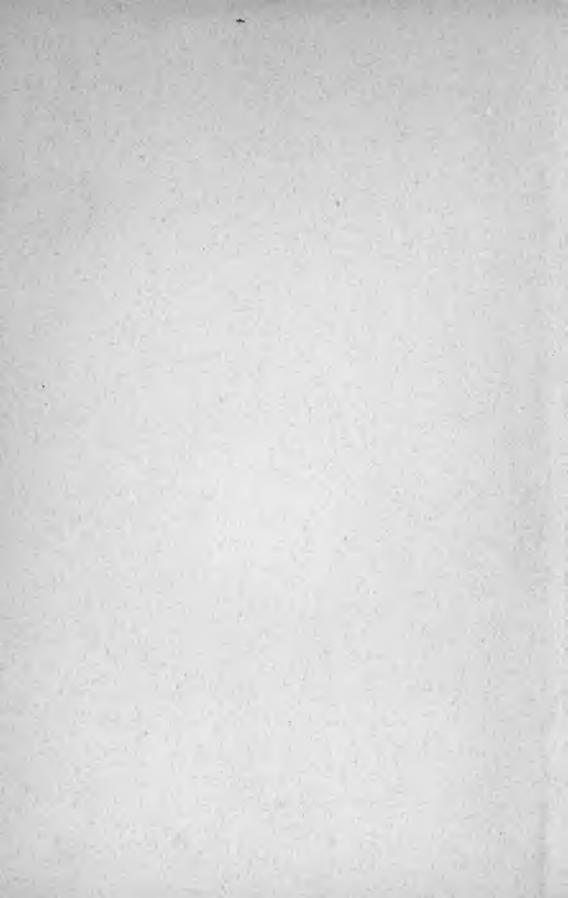
TERRE KYRAT-

ТРАГЕДІИ ШЕКСПИРА.



w

ТРАГЕДІИ ШЕКСПИРА.



Русскій юноша-поэть Веневитиновъ такъ говорить про одного изъ своихъ «вѣрныхъ друзей»:

Его беседы и уроки Ловлю вниманьемъ жалнымъ я: Они и ясны, и глубоки, Какъ будто волны бытія. Въ его фантазіи богатой алижо оінкиж йондоп К И ранній опыть не купиль Восторговъ раннею утратой. Онъ самъ не жертвуетъ страстямъ, Онъ самъ не въритъ ихъ мечтамъ; Но, какъ созданія свидътель. Онъ развернулъ всей жизни ткань. Ему порокъ и добродвтель Равно несутъ покорно дань, Какъ гордому владыкъ міра: Мой другь, узиаль ли ты Шекспира?

Узнать Шекспира по этой характеристик можно, потому что Веневитиновъ глубоко указалъ на одну изъ его существенныхъ особенностей: сочетание дѣла и думы. Творецъ «Гамлета» стоитъ на вершин мудрости, и пройти черезъ его пьесы значитъ пріобщиться къ опыту міра; но этотъ опытъ, познаніе жизни, не покупается утратою восторговъ и непосредственности. Восторгъ остается. Отъ ума не слабѣетъ чувство. Павосъ страстей, горячая волна эмоцій, радостъ и горе дѣлаютъ страницы Шекспира трепетными, одушевленными; міръ для него—пламя, и сгораютъ въ немъ человѣческія жизни. Но только этотъ огонь—гераклитовскій, умный, и бытіе пронизывается философіей. Самъ Шекспиръ—не Гамлетъ: напротивъ, онъ—грубый геній, часто неразборчивый; зато, въ связи съ этимъ, онъ и способенъ къ дѣлу какъ никто; оно захватываетъ его

всецьло, онъ дышить полной грудью, онъ живеть усиленно, безмврно, и все для него интересно, важно, обо все онъ зажигается. Размышленіе не останавливаеть его, не задерживаеть; онъ всегда готовъ ринуться и притомъ въ океанъ. Толстой, укоряя его въ гиперболизмъ, не понялъ, что Шекспиръ самъ-живая гипербола, огромный духъ, человъкъ преувеличенныхъ силъ и размъровъ и что вслъдствіе этого онъ живетъ и говоритъ шире и шумнъе другихъ. При этомъ на форму, на языкъ его, синтезъ дъла и думы, проникновение одного другою, не распространяется: здёсь-только дёло, только порывъ, и отсутствуеть замысель о томъ, чтобы ввести все это богатство въ какія-нибудь рамки и, если не подчинить вдохновеніе идев, то по крайней мірт направить его по ея обдуманному руслу. Получается геніальный безпорядокъ, вихрь краснортчія, нагроможденіе событій и словъ; указывая на последнее, Толстой правъ, — а неправъ онъ въ томъ, что замъчаетъ только безпорядокъ и вычурность и не видить геніальности. Вообще, можеть быть, все, что говорить о Шекспирѣ Толстой, правильно; но критикъ не захотълъ пойти глубже и дальше условностей, разбить подчасъ грубую и дикую скорлупу шекспировскихъ произведеній и приподнять ихъ пышныя завѣсы, чтобы увидьть подъ ними ту самую истину, ту простую правду, которая такъ дорога самому Толстому. Не уразумълъ Толстой своего родства съ Шекспиромъ, --- счастья для обоихъ.

Красноръчію и великольнію, и, съ другой стороны, какой - то скиеской стихіи Шекспира—конечное объясненіе не въ требованіяхъ его эпохи съ ея литературными вкусами, а въ его собственномъ психологическомъ титанизмъ. Каждое ощущение для него-событие; онъ никогда не устаетъ, онъ не утомляется воспринимать и отвъчать; дъйствительность посылаеть ему безчисленныя и бездонныя впечатлінія, и онь всі ихъ радостно береть; онь увірень въ себі, онь знаетъ, что они его не подавять, и для каждаго изъ нихъ въ своемъ неисчерпаемомъ словаръ имъетъ онъ сверкающія названія. И потому у него-предёльная высота, на какую только можеть подняться человическое слово. Какъ изъ рога изобилія сыплеть онь образами и сравненіями, — властелинъ метафоръ. Самый щедрый изъ писателей, онъ смъеть быть расточительнымъ и на всякую подробность обращать все вниманіе, воздавать ей честь драгоцінными словами, благороднійшими изъ всъхъ, какія были когда-нибудь произнесены. Своимъ богатствомъ навъки огражденный отъ опасности внутренняго изсякновенія, онъ себя не сдерживаетъ, всему отдается весь и пренебрегаетъ заботами о будущемъ, т. - е, соображеніями, что можно отложить на послъ, что надо приберечь силы, что его ждеть еще нъчто большее. Онъ не запасливъ. Онъ никогда и ни о чемъ не скажетъ

себъ и жизни: «не стоить». Роскошь языка, Семирамидины сады цвьтущихъ словъ, свои художественныя розсыпи вообще онъ безпечно расточаеть именно потому, что въ каждомъ проявлении реальности видить ее всю, въ каждой каплъ свътить для него общее солнце, и жизнь значительна и достойна сплошь. Она и онъ не признаютъ никакой іерархіи; ніть подразділенія на большее и меньшее. Ничто для Шекспира не часть, а все-иплос. Изумительной должна быть жизнеспособность такого человека, который органически исповъдуетъ подобное міровоззрівніе цівлостности и для котораго нигдів не существуеть частей, все дано сразу и ничего не пріемлемо отчасти. Что бы ни произошло, гдъ бы ни случилось, кто бы ни сказалъ, Шекспиръ, вездъсущій, сейчасъ же и всюду поднимается во весь свой гигантскій рость и вспыхиваеть благодатнымъ огнемъ своего одушевленія. Не то, конечно, чтобы онъ искусственно смотръть на реальность въ увеличительное стекло: нъть, это у негоконцентрація жизни, признаніе ея повсемъстной огромной важности, углубленіе и восполненіе частнаго до типической категоріи; этооправданіе обычности, ея возведеніе въ подобающій ей высшій санъ, и міръ въ самомъ дѣлѣ для него таковъ, что въ немъ все есть нпочто и совершенно отсутствуеть ничто. И еще и еще разъ: нѣчто есть уже все. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что Шекспиръ счастливо лишенъ способности сравненія; онъ откидываеть всякую таблицу мъръ, и скрадывается для него разница размъровъ. И это у него такъ искренне, и въ этой неизмъримости явленій, въ этой наличности высшаго равенства предметовъ, въ этой безотносительности бытія онъ такъ уб'яждаеть и другихъ, своихъ потрясенныхъ читателей, что на ихъ устахъ замираетъ всякій упрекъ въ отсутствіи чувства мфры и передъ ихъ глазами раскрываются вдругъ непостижимые горизонты такого существованія, гдф не мфряють и не вычисляють, и не взвѣшивають, и гдѣ на высотахъ безусловнаго космосъ представляется какъ одна, сама себъ равная и всесовершенная, Сфера.

Въ ея единствь, сливающемъ начала и концы, въ ея идеальной круглоть, среди другихъ мърилъ исчезаетъ и та мъра, та граница, которая отдъляетъ порокъ и добродътель:

Ему порокъ и добродътель Равно несутъ покорно дань.

Въ общемъ горнилѣ жизни порокъ и добродѣтель переплавляются въ нѣчто высшее, въ одну чистую страсть, и уже не отличишь добра отъ зла, и опять все узкое и опредѣленное, все частичное испаряется,—изъ дѣйствительности уходятъ всякія дроби, остается только цѣлое, осуществляется totum pro parte.

Но это пламенное воспріятіе и воспроизведеніе жизни въ ея внутренней нераздѣленности и единствѣ, эта живительная страстность Шекспира и его интересъ къ дѣлу не заслоняютъ для него думы. Онъ — «созданія свидѣтель», а не только его дѣйственный участникъ; преодолѣвая обычныя людскія несовмѣстимости и ограниченности, онъ соединилъ въ себѣ непосредственность съ медлительной силой созерцанія и размышленія.

Онъ самъ не жертвуетъ страстямъ, Онъ самъ не въритъ ихъ мечтамъ.

Этотъ огнепоклонникъ бытія, и самъ огонь, не въритъ. Удивительно, что энтузіасть жизненнаго факта, преданный ему всей напряженностью своего существа, Шекспиръ въ то же время убъжденъ въ призрачности страстей, въ иллюзорности самой жизни. Актерь, онъ часто изображаеть последнюю въ виде сцены и спектакля; опъ не хочетъ признавать за нею ничего реальнаго, она для него - только сновиденіе. Упреждая печальную тему Кальдерона и Шопенгауэра, онъ учить, что жизнь снится и всв ея событія простыя трепетанія сонной грезы. Міръ, который подъ его же перомъ возстаетъ передъ нами такой убедительный и осязаемый, превращается въ мечту, и Отелло не более какъ тень, и па самомъ дълъ нътъ короля Лира, и вовсе не было Юлія Цезаря. И Гамлетъ боится, что даже и смерть пе прекращаетъ жизненнаго сновидънія, что оно длится безъ конца; страшно ему безсмертіе сна. Это противоръчіе между наружной убъдительностью жизни и ея затаеннымъ небытіемъ, эта антиномія внёшней яви и внутренняго сиа должны питать собою человъческое размышление и однъ уже способны породить всю философію, всю неумолкающую тревогу сознанія. Она и возникаеть у Шекспира, и на ряду съ трагедіей жизни поднимается трагедія мысли.

Сочетаніе дійственности и рефлексіи, отверженіе частей и пріятіе цілаго своею истинною формой иміноть у Шекспира разсказь. Жизнь должна быть не только прожита, но и разсказана. Воть Шекспирь и разсказываеть, — мірь слушаеть. Пусть свою мудрость и страстность нашъ трагикъ облекаеть въ драматическій діалогь, но въ то же время его произведенія, въ иномъ аспекть, — міровой, или героическій эпось, который развертываеть передъ человічествомь свой безконечный свитокъ и передаеть людямь ихъ же исторію. То, что Шекспиръ опирается на Плутарха и разныя хроники, то, что онь такъ обильно черпаеть изъ источниковъ историческихъ, можно разсматривать какъ извістный символь. Вьющуюся по світу нить разсказа великій авторь подхватываеть и ведеть дальше. Онъ продолжаетъ. Этимъ онъ не даетъ умереть ничему, изъ времени дѣлаетъ вѣчность и снова, по своему божественному обыкновенію, создаетъ изъ отдѣльнаго общее и всякую часть превращаетъ въ цѣлое.

Къ чему приводить насъ и что же даеть шекспировскій разсказь? Да будеть позволено къ неизмъримой литературъ о немъ прибавить дальнъйшія страницы-отклики на знаменитыя трагедія; но предварительно хотвлось бы сказать немногое о «Бурь», твмъ болве что въ этой пьесъ есть тъ общія мысли, которыя проливають свъть на все грандіозное творчество писателя. Можетъ быть, самъ онъ, сознательно и ведомо для себя, отъ нихъ, этихъ мыслей, и въ названномъ произведеніи, и въ другихъ, былъ очень далекъ: но важно то, что онъ ихъ порождаетъ въ насъ. Все наше, что получилось отъ него, черезъ общеніе съ нимъ, принадлежитъ ему. Но только писатель всегда меньше своихъ произведеній. Твореніе больше творца. Это-потому, что индивидуальное вдохновение, какъ бы оно ни было высоко, не можеть быть оторвано оть общаго творчества самой природы; а природа въ писатель, это по преимуществу — его безсознательное. Воть почему каждый въ правъ невъдомыя самому художнику идеи его созданій выявлять путемъ анализа, не считаясь съ тымь, имыль ли ихъ въ виду самь авторь или ныть. Мы, читатели, на свътъ сознанія выводимъ то, чего писатель самъ о себь не зналъ. И вследствіе неизбежной соотносительности писателя и читателя, последній до изв'єстной степени определяеть перваго, какь и первыйпоследняго. Оттого Шекспирь, который очерчивается въ данномъ этюдь, имьеть такое же право на существование и такъ же объективень, или такъ же субъективень, какъ и всякій другой Шекспиръ.

Буря.

Всѣ истолкователи этого произведенія, комментаторы великаго текста, чувствовали его философскую глубину, только прикрытую цвѣтами волшебной сказки, обвѣянную эеирными чарами Аріэля. И дѣйствительно, когда борется со стихіей «корабль, нагруженный душами», живой корабль душъ, можно ли отрѣшиться отъ мысли, что это—эмблема человѣческой жизни, брошенной въ пучину мірового моря, въ жестокое царство природы? Но есть нѣчто высшее, чѣмъ природа, нѣчто большее, чѣмъ естество. Грохочетъ громъ и сверкаютъ молніи; подъ натискомъ разъяренныхъ валовъ изнемогають люди,—однако и здѣсь, среди проклятій и стенаній, въ трепетѣ смертнаго страха, на утлой ладьѣ, которая черезъ нѣсколько мгновеній грозитъ пойти ко дну, несчастные пловцы думаютъ не только о себѣ: они помнятъ, что на кораблѣ совершается великое,

они заботятся о своемъ вождѣ Алонзо, который погруженъ въ благоговѣйную молитву. Натурализмъ побѣжденъ религіей. И въ этомъ торжествѣ надъ безумно испуганнымъ инстинктомъ самосохраненія, въ этой религіозной приверженности къ идеалу, кроется какъ разъ то спеціально-человѣческое начало, которое придаетъ нашей жизни и нашей борьбѣ за нее характеръ нравственнаго подвига. И не потому ли, не за этотъ ли «скорбный трудъ и думъ высокое стремленье» шекспировскіе герои не погибли, а достигли зачарованнаго острова, на которомъ они нашли такое неожиданное, такое яркое счастье?

Тѣмъ знаменательнѣе ихъ спасеніе, что земля, на которую они были выброшены участливой волною, когда-то пріютила уже двѣ другія жертвы мірского кораблекрушенія—Просперо и его маленькую дочь. Радость Алонзо и его спутниковъ выросла на почвѣ, въ которую первыя сѣмена заронила скорбь: это характерно для земной юдоли, что первыми обитателями необитаемаго острова были несчастные.

И первый разсказъ, который выслушиваетъ Миранда отъ своего отца, это—разсказъ о горъ. Кончились сказки, начинается разсказъ. Знаменитое повъствование Просперо глубоко тъмъ, что раздвигаются его частныя рамки и вы слышите не эпопею какого-нибудь отдъльнаго событія или отдъльной невзгоды, а исторію жизни вообще. Мудрыми устами изгнаннаго властелина какъ бы говоритъ все человъчество, и поколъніе старое, уходящее, передаетъ своему юному преемнику тяжко взрощенные плоды своего горькаго опыта. Сокровенный смыслъ таится въ этихъ частыхъ призывахъ и вопросахъ, съ которыми старость обращается къ молодости, съ которыми Просперо обращается къ дочери: «Ты слышишь ли, Миранда?» «Прошу тебя—вниманье! Ты не слышишь?» «Но слушай же, Миранда!» О, да-она слушаеть, трепетно слушаеть, дивное и удивленное дитя! Она говорить отцу, что и глухой исцелился бы отъ его потрясающаго разсказа. Вся новая, вся юная, воплощенное начало, истокъ душевной ръки, она въ этотъ роковой и торжественный моментъ постигаетъ науку жизни и навсегда пріобщается къ ней. Старое уже раскрыло ей свои безотрадныя тайны, и для изумленной, содрогнувшейся Миранды кончилось невъдъніе. Теперь она узнала. Отцы разсказывають детямь. Король Гамлеть своему сыну, Просперо своей дочери повъдали жизнь. Теперь Миранда знаетъ, какая буря пронеслась надъ ученой и умной головой ея отца.

Если Миранда—непосредственность, жизнерадостная сестра Офеліи, то ея отецъ—одно изъ многихъ проявленій шекспировскаго Гамлета. Въ немъ воплощена красота книги; надъ нимъ сіяетъ ореолъ сознанія. Онъ не гармонизировалъ въ себѣ думы и дѣла. Правленіе

государствомъ, обузу реальности онъ предоставилъ другому, а самъ всецѣло посвятилъ себя искусству и наукамъ. Довърчивый къ людямъ, но отъ нихъ далекій, страстный возлюбленный книги, онъ основалъ свое царство въ своей библіотекѣ,—но жизнь не терпитъ подобнаго разобщенія между дъйствіемъ и мыслью, и былъ Просперо низвергнутъ со своей теоретической высоты: пока онъ читалъ, пока онъ думалъ, у него отняли престолъ и родину.

Хотя Миранда и услышала горестную повъсть и правду бытія, это не заглушило въ ней тоски по счастью,—и развъ вообще чужой опытъ можетъ быть для кого бы то ни было убъдителенъ, развъ каждый не начинаетъ съизнова? Миранда хотъла счастья, и она получила его изъ рукъ своего отца. Воздушныя услуги Аріэля, покорствующаго учености, склонили къ ея ногамъ упоеннаго музыкой принца, и она пережила съ нимъ идиллію, когда царевичу, обращенному въ послушнаго дровосъка, предлагала она въ помощь свои нъжныя руки и когда, склоненные надъ шахматной доскою, они играли и побъждали сердце другъ друга.

Для того чтобы Просперо могъ пріуготовить своей дочери счастье, онъ долженъ былъ сперва покорить себъ Аріэля и сломить упорнаго Калибана. Въ противоположности этихъ двухъ существъ надо видёть и два полюса человёческой души. Аріэль—дитя воздуха, «вольный сынъ энира», чистый шая духовность; Калибанъ--грубая первобытность, изначальная матерія, тяжелое вещество. Онъ тяготъетъ къ землъ, Аріэль—къ небесамъ. Пресмыканіе и полетъ, рабство и свобода, низина и высота такъ же относятся между собою, какъ Калибанъ и Аріэль. И ими обоими владетъ Просперо. Но замѣчательно, что оба они, не только низменный Калибанъ, но и легкій, св'єтлый Аріэль, — оба тяготятся своею покоренностью. Аріэль жаждеть свободы. Въ человъкъ духъ не чувствуетъ себя дома. Пусть его услугами и пользуется Просперо, но это именно - услуги, а духъ только тогда является самимъ собою, когда онъ автономенъ, свободенъ, доброволенъ. Аріэль не вполнъ вошель въ Просперо; человъкъ не весь душа. Только на время п временами человъкъ отдается духу, и духъ-человъку. Кромъ Аріэля, есть еще и Калибанъ, -- образъ, поражающій даже на шекспировскихъ страницахъ. Калибанъ—сама стихія, само естество въ его первоначальной дикости и животности, злая природа. Наши людскія дъла и постройки заслонили отъ насъ исконное лицо земли; но воть Шекспиръ, которому и первозданное доступно, отрыль для насъ эти полузабытыя страшныя очертанія. Онъ оглянулся такъ далеко назадъ и воскресилъ насъ самихъ, потому что Калибанъ, въдь это наше прошлое, въдь это существо той предразсвътной

поры мірозданія, той незапамятной эпохи, когда мы еще сливались въ одно темное цълое съ землею и ползали во прахъ. Этотъ прахъ и есть Калибанъ. Это -- комъ земли, и въ него, въ кровавый комъ земли, вернется даже Юлій Цезарь. Калибанъ — наша родина и наша могила, та персть, откуда все исходить и куда все возвращается. Когда первымъ глухимъ рычаніемъ заговорила человіческая глыба, она имъла чудовищный обликъ и голосъ Калибана. И по въщему свидътельству Шекспира, по его пониманію той проблемы, которая называется: природа и культура, первое, что сказала эта задвигавшаяся груда земли, этоть предчеловекь, было проклятіе. Ибо Калибанъ — природа проклинающая, природа ненавидящая. Она мятется въ безсильной злобъ и ропщетъ на своего побъдителя и просвътителя, на этого чародъя культуры, который заставиль ее трудиться, отняль ея дикія владенія, заселиль ея ненаселенные острова. Но тщетенъ гнъвъ природы: всемогущій Просперо одольеть и научить ее, -- Калибанъ будетъ не только побъжденъ, но и просвътленъ. Уже на протяженіи шекспировской пьесы онъ показываеть свою способность къ возрожденію. Онъ начинаеть понимать свётлую силу Просперо, и дъйствуютъ на него музыкальные звуки, наполняющіе пъвучій островъ, — эти безкорыстныя мелодіи искусства, которыя «только слухъ собою восхищають, но никому не причиняють зла»; и даже Миранда, которая раньше вызывала въ немъ одно только грубое вождельніе, будеть вліять на него своею чистой прелестью; наконецъ, и та свобода, которую теперь въ его устахъ оскверняютъ возгласы унившагося дикаря, современемъ предстанетъ ему крылатой волей Аріэля, «свободой просв'єщенной». Однако, на вічное и полное укрощение Калибана мы разсчитывать не должны. Вмасто испов в данія красоты — утилитаризмъ, вм всто любви — чувственность, вм всто свободы — пьяный произволь: все это — чада Калибана, его наследники и предки его новыхъ потомковъ. Онъ не только наше прошлое, и не только въ качествъ прошлаго понадобился онъ Шекспиру. Калибанъ живетъ въ насъ и теперь; совершенно избыть его мы иикогда не можемъ. Великій писатель вызвалъ его изъ тьмы и для того поставиль его уродливую фигуру около Миранды и Фердинанда, на ряду съ этой прекрасной и тонкой человъчностью, чтобы мы помнили, какое внутреннее безобразіе и матеріальность заложены въ глубокихъ нъдрахъ нашей природы. И когда восхищенная Миранда славить Божій мірь и восклицаеть:

О, чудеса! Какое здѣсь собранье Прекраснѣйшихъ, божественныхъ существъ! Какъ міръ хорошъ съ такими существами! О, Боже мой, какъ люди хороши!—

то насъ плъняетъ эта довърчивая хвала молодого сердца, забывшаго о печальномъ разсказъ Просперо, насъ трогаетъ оптимизмъ коности,—но мы вспоминаемъ, что недалеко отсюда, отъ этого «собранія прекраснъйшихъ существъ», находится и живучій родоначальникъ ихъ, безобразный Калибанъ. И мы знаемъ еще, между прочимъ—и отъ самого Шекспира, что въ людяхъ, которые такъ хороши, неръдко погасаетъ съ трудомъ возженный свъточъ культуры, свъточъ Просперо, и тогда умолкаетъ звучный строй человъческой ръчи, и слышится неистовый ропотъ проснувшейся матеріи, черный духъ земли, и звърски рычитъ и проклинаетъ все тотъ же Калибанъ, и принимаетъ онъ самыя различныя формы—то Яго, то Ричарда III, то Фальстафа...

Во всякомъ случав, въ «Бурв» Просперо одолвваетъ Калибана и, сильный чудесами своего знанія, создаетъ вокругъ себя счастье. Оно является здвсь не только правомъ сказки, но и получаетъ возвышенный смыслъ: ввдь оно—результатъ нравственнаго просвътлвнія и прощенія. Изъ глубины океана родилась Немезида, какъ новая Афродита мести, и она привела Антоніо, похитителя миланскаго престола, и его спутниковъ, къ невъдомой земль, гдь ихъ ожидала кара за совершенныя преступленія. Мстящій океанъ взъигралъ бурею,—но человъкъ отказался отъ мести и далъ радость своимъ раскаявшимся врагамъ. И говоритъ Просперо:

... Я мой гивы разсудку покориль. Прощеніе всегда отрадный мщенья. Раскаялись они—и я достигь Въ стремленіи моемъ желанной цыли. Я болье на нихъ ужъ не сердить.

Пловцы жизненнаго моря считали другъ друга погибшими, и казалось для нихъ страннымъ надъяться на спасеніе и встръчу:

Надъ нами море синее смъется, Что на землъ мы ищемъ мертвецовъ.

Но мертвецы оказались живыми, и море сменлось понапрасну.

Что же, поставимъ ли мы серьезному Шекспиру въ вину это необычайное, неправдоподобное счастье, эту благополучную развязку, совершившуюся вопреки стихійнымъ законамъ синяго моря и неумолимому ходу людскихъ судебъ? Конечно, нѣтъ. Не только потому онъ правъ, правдивый художникъ, что, какъ мы сейчасъ сказали, счастье въ его пьесъ вырастаетъ на почвъ моральнаго возрожденія, но и потому, что есть нѣчто человъчески-естественное и трогательное въ этой грезъ о радости, въ этой плънительной картинъ

успокоенія и блаженства, котораго не даеть жизнь и которое возмѣщаеть поэть въ своей волшебной и вольной сказкѣ. Поправить дъйствительность воображаемой игрою счастья, вздохнуть легко и отрадно усталой отъ жизненныхъ волненій грудью---на этоть эстетическій и моральный отдыхъ имфетъ право каждый, и особенно имъетъ на него передъ человъчествомъ выстраданное право Шекспиръ. Ибо не только въ его личной судьбѣ была ему отмфрена мърою полною обычная людская невзгода, -- но въдь онъ болълъ еще и правственною болью своихъ героевъ, въдь онъ самъ пережиль свои написанныя трагедіи, и въ собственной его сочувственной душъ зародились и страдали всъ эти великіе несчастливцы: и бурный въ своемъ безуміи Лиръ, и нѣжная въ своемъ безуміи Офелія, и Гамлетъ, и Отелло, и молчаливый Брутъ. Всякій человъкъ — Атласъ; но Шекспиръ, Атласъ вящій, держалъ на себъ чужую ношу, цёлый міръ страданія, — такъ неужели мы откажемъ ему въ нъсколькихъ мгновеніяхъ счастливой мечты? Все равно, сейчась исчезнуть эти красивые человические узоры, погаснуть огни на пиру чудесь, люди уйдуть въ свои пещеры, въ свои дома, и Шекспиръ-Просперо останется одинъ. Онъ навсегда упоилъ человъчество дивной музыкой (такъ много было ея на необитаемомъ островъ), онъ обрадоваль его прекраснымъ вымысломъ своего волшебства, своего искусства, — и теперь онъ наединъ съ собою, безъ Миранды, безъ чаръ, одинъ со своей печальной мудростью и сознаніемъ всей мірской тщеты. Пусть другіе въ своемъ обольщеніи думають, что кругомь нихъ простирается реальная жизнь,---Шек-спиръ-Просперо не видитъ разницы между явью и сновидъніемъ. и онъ произносить эти знаменитые стихи:

Когда-нибудь, повёрь, настанеть день, Когда всё эти чудныя видёнья, И храмы, и роскошные дворцы, И тучами увёнчанныя башни, И самый нашъ великій шаръ земной Со всёмъ, что въ немъ находится понынё,—Исчезнеть все, слёда не оставляя. Изъ вещества того же, что и сонъ, Мы созданы. И жизнь на сонъ похожа, И наша жизнь лишь сномъ окружена.

(Переводъ Сатина).

Человъческая мысль, воплощаемая Просперо, отвергла жизнь, отвергла дъйствительность. Она признала сновидъніемъ то, что для другихъ реально. Отказать жизни въ жизни, принять ее за при-

зракъ, за воздушные чертоги Аріэля никогда не могъ бы Калибанъ: это—грустная привилегія Просперо и Гамлета.

И воть, мы должны сказать: не будеть искусственностью, мы не совершимь насилія надь свободною мыслью Шекспира, если прочтемь въ контексть его неумирающаго творчества, что для него міровой путь ведеть от Калибана къ Аріэлю черезъ Гамлета.

Кто не захотѣлъ исчерпать возможностей жизни въ однихъ только типахъ человѣческихъ и написалъ «Сонъ въ лѣтнюю ночь» и «Бурю»; кто часто въ среду реальныхъ, плотью облеченныхъ людей, ихъ до послѣднихъ изгибовъ зная, но ими не довольствуясь, пускаетъ эльфовъ, царя Оберона, царицу Титанію; кому духи, тѣни Гамлета и Банко, и Цезаря, вѣдьмы Макбета и всѣ призраки безплотной потусторонности нужны такъ же, какъ и существа зримыя, — тотъ уже этимъ ясно показываетъ, насколько близка ему стихія Аріэля и какъ тѣсно ему въ предѣлахъ вещества и тѣлесности. И убѣжденіе въ томъ, что жизнь — сонъ, такъ необходимо и своеобразно дополняетъ сокровенную мысль Шекспира о неокончательности здѣшняго бытія, о предстоящемъ разрѣшеніи земной междоусобицы духа и тѣла, о преодолѣніи дуализма.

Отъ матеріи къ духу, отъ земли къ воздуху, отъ рабства къ свободѣ—такова идеальная линія, которая изъ темныхъ глубинъ природы ведетъ насъ въ царство чистой идеи. Аріэль временно на землѣ; онъ ее покинетъ, какъ и мы, и уже тогда не будетъ больше земли. Но для того чтобы завершился этотъ кругъ, для того чтобы мы вознеслись въ обитель эвира, во владѣпія Аріэля, чтобы мы навѣки стали одной духовностью, надо пройти черезъ трудную и опасную стадію Гамлета.

Принцъ-философъ, чистая мысль, крайне далекъ, правда, отъ Калибана: но вѣдь природа не вся, не сплошь—Калибанъ, вѣдь она еще—святая простота, наивность помысловъ, непосредственная энергія и радость. Калибанъ не думаетъ, но зато думающій Гамлетъ не дѣлаетъ. Освобожденный отъ Калибана, Гамлетъ зато предался одной безконечной мысли; его закружилъ водоворотъ рефлексіи, его сознаніе стремительно и неудержимо вращается въ пустотѣ недѣланія. За удаленіе отъ природы на высоту гамлетовской культурности надо платить тяжкой цѣною; изгнанники рая, жертвы своей проникновенной сознательности, олицетворенныя идеи, сиротливо бродятъ Гамлеты по міру и считаютъ себя и его тѣнями. Изысканные и утонченные, властелины мысли, цари ума, они отбросили отъ себя калибановскую грубость, но взамѣнъ обрекли себя на грусть и сонъ,—сонъ въ жизни, сонъ въ смерти. Ничто для нихъ не дѣйствительно. Они во всемъ сомнѣваются. А кто сомнѣвается, тотъ не живетъ.

Мысль, предоставленная самой себѣ, дума, отрѣшенная отъ дѣла, убѣждаеть ихъ въ томъ, что нѣтъ ничего, что все—миражъ. Какъ они прекрасны и какъ они несчастны!

Кто вкусиль отъ древа познанія, тоть преодолжеть въ себъ Калибана, но кары онъ не избудеть. Онъ захотъль познанія, -- воть оно ему дано, или, върнъе, вотъ онъ далъ его себъ, похитилъ огонь, прочиталь книгу; но то, что онъ узналь, навъки лишило его первоначальной невинности и жизнерадостной силы, мучить и терзаеть его. Человъкъ не долженъ читать. Искусства и науки, книги Просперо, человъкъ читающій-все это грозить изсякновеніемъ жизни, исчезновеніемъ дъйствительности, міросозерцаніемъ сна. И только побъдивъ эту опасность культуры, этотъ соблазнъ самодовлеющей мысли, перенеся эту муку знанія, сознанія, человъкъ станетъ Аріэлемъ. Велика и благотворна роль сознанія; но кто играетъ ее, только ее, тотъ именно играетъ, и жизнь для негозрълище, сновидъніе, фантасмагорія. Онъ даже, какъ Гамлеть, притворяется сумастедшимъ, потому что умъ и безуміе для него — одно и то же: съ его точки зрънія, міръ одинаково тонеть въ сонныхъ грезахъ, смотръть ли на него ясными или затуманенными глазами.

Впрочемъ, Просперо, давнишній питомець книги, готовь утопить ее въ морѣ, лишь только исполнятся его чары, осуществится его задуманное дѣло; но внутренне дѣло не побѣдить въ немъ думы, такъ какъ—мы уже знаемъ это—онъ преданъ ей органически; изъ-за нея потерялъ онъ свой престолъ, и въ Миланѣ онъ опять будетъ думать—о своей смерти, и книга будетъ вѣчно лежать не только на днѣ моря, но и въ глубинѣ его собственной души. И съ книгой въ рукѣ, съ записною книжкой явится передъ нами и родственный ему по духу Гамлетъ, принцъ датскій, но больше студентъ Виттенбергскаго университета.

Гамлетъ.

То море мысли, которое зовется Гамлетз, загадочно разстилается передъ глазами человъчества. Это—пьеса, которая, какъ, впрочемъ, и всъ великія творенія, никогда не можетъ быть прочитана до конца. Ее, бездонную, стараются разгадать; но сколько бы глубокаго ни говорили о ней, она умнъе всего умнаго. Неисчерпаемая, проникающая до самыхъ предъловъ доступной людямъ интеллектуальности, она представляетъ собою умъ человъческой поэзіи, Логосъ мірового искусства. Принцъ датскій— патронъ всякой мысли, науки, міровоззрънія, и все, что среди коснаго и стихійнаго загорается свътомъ сознанія,—все это ведетъ свое высокое происхождение именно отъ него. Шекспировскій Гамлеть не исчерпываеть гамлетизма. Напротивъ, конкретный Гамлетъ трагедін ниже Гамлета идеальнаго. Но какъ предвареніе будущаго, какъ путь живой, по которому идетъ наша культура, какъ геніальное предчувствіе грядущихъ тревогъ, шекспировскій принцъ является нашимъ общимъ принцемъ, по истинъ-властителемъ думъ и душъ. Человвчество движется подъ знакомъ Гамлета. Духовиве становятся души. Отдъленные мыслью отъ первобытнаго, мы живемъ иначе. глубже и утонченнъе, нежели наши предки. И такъ какъ прогрессирующее усложнение-законъ жизни, то это и обезпечиваетъ безсмертіе Гамлету, принцу датскому, покровителю всякаго раздумья, вождю человъческой духовности. Онъ какъ бы сконцентрировалъ въ себъ, въ своемъ умъ умовъ, общую работу мышленія, совершенную и совершаемую на протяжении исторического процесса; онъ въ этомъ отношеніи занимаеть въ мірѣ центральное мъсто, свътить универсальнымъ солнцемъ, отъ котораго лучами исходять культура, философія, книга. Это ему запрещено было вкусить отъ древа познанія, и это онъ первый и больше всёхъ нарушиль Божій запреть. Гамлеть, это-Адамъ, послъ того какъ онъ быль изгнанъ вас вы

Оттого онъ и скорбенъ, оттого онъ и пріобщиль навѣки свое имя къ трауру и меланхоліи. Кто умножаеть знанія, тоть умножаеть и скорбь. И если Гамлеть свѣтить, то лишь—другимъ, а не себѣ; самъ же онъ остается теменъ и несчастенъ, этотъ царь познанія, этотъ рабъ размышленія, этотъ отверженецъ жизни. Безсильный Самсонъ, онъ все знаетъ, но ничего не умѣетъ, и на зовъ дѣла откликается думой. Это мучитъ его самого, и дума у него—безрадостная. Ея страдалецъ, жертва рефлексіи, Вѣчный Жидъ созерцанія, онъ, какъ и послѣдній, не можетъ отдохнуть, не смѣетъ умереть.

Это тягостное безсмертіе онъ унаслѣдовалъ отъ своего отца. Принцъ — достойный сынъ короля. Не кончается смертью наша жизнь, и продолжаются войны полководца, заботы государя: въ боевыхъ доспѣхахъ, при свѣтѣ луны бродитъ неуспокоенная тѣнь, и отецъ ищетъ сына, и, нѣмой для другихъ, только съ сыномъ онъ будетъ разговаривать — къ нему взываетъ онъ, къ наслѣднику своего престола. Возмущенныя земнымъ убійствомъ сферы небесныя поднимаютъ людей изъ могилъ, и возстанавливается такимъ образомъ прерванная было связь между двумя мірами.

Но еще до свиданія съ отцомъ, съ его тѣнью, которую смерть отбросила на жизнь, Гамлетъ уже печаленъ, среди всеобщаго веселья, на свадьбъ, такъ торопливо оттѣснившей похороны, и облака

шенныхъ его дядей и матерью. Не принимая чужой смерти, Гамлетъ зоветъ собственную. Онъ знаетъ соблазнъ самоубійства, онъ хотѣлъ бы, чтобы тѣло его разсыпалось въ прахъ.

Если онъ самъ не идетъ все-таки навстръчу смерти, не ръшается на самоубійство, то этому причиной не только то, что онъ религіозенъ. Правда, его религіозность-моменть въ высшей степени важный и многое, особенно въ данномъ случай, объясняющій; но какъ разъ она, между прочимъ, и отнимаетъ у датскаго принца законченность и последнюю стильность его психологического облика. Гамлетъ меньше гамлетизма. Потомки Гамлета будутъ уже не религіозны. Его разъедающая мысль не можеть остановиться передъ Богомъ; его пессимизмъ и скептицизмъ не ограничатся предълами человъческими. Въдь мысль, это-perpetuum mobile: однажды начавшись, она уже не въ силахъ кончиться и, развертывая все дальше и дальше свою динамическую природу, свою безконечную спираль, перекинется съ земли на небо. Гамлетъ лишь пока религіозенъ. И вотъ почему его самоубійству мѣшаетъ не столько его временная, его шаткая, его не-гамлетовская религіозность, сколько сознаніе того, что смерть ничего пе мъняеть, что послъ нея все остается попрежнему. Онъ вършть въ безсмертіе души, но оно его не радуеть, а страшить. Поразительно, что для Гамлета потустороннее, адъ, это---мысль, продолжение земной рефлексии, все та же дума. Принца удручаетъ непрерывность интеллекта, въчность ума. Его мученикъ, онъ такъ усталъ отъ него; онъ охотно ушелъ бы въ тихую могилу, если бы только можно было тамъ не думать и навъки усыпить свое сознаніе. Но этого нельзя. Сознаніе никогда не прекращается, и въ траурныхъ одеждахъ своей тоски и размышленій въчный Гамлетъ, Вычный Жидъ будетъ безпрестанно бродить по стогнамъ вселенной. Человькъ не засыпаетъ. Ему не дано полное отдохновение, безусловная и темная ночь. Въ его ночь проникаетъ его день. Какъ у Тютчева, отслуживъ свою денную службу, наши мысли возвращаются къ нашему изголовью въ видъ сновидьній и грезъ, и такъ безпрерывно ткется единая ткань, и продолжается то, что началось, и нътъ для насъ тишины и покоя, -- нъту сна. Трагическая безсонница людей-воть что останавливаеть ихъ передъ таинственною дверью добровольной смерти.

Быть или не быть? воть въ чемъ вопросъ!
Окончить жизнь—уснуть,
Ие болъе! И знать, что этоть сонъ
Окончитъ грусть и тысячи ударовъ—

отдала свое сердце другому. «Черезъ мѣсяцъ, —одинъ короткій, быстротечный мѣсяцъ!» восклицаетъ Гамлетъ, оскорбленный въ своемъ идеализмѣ, въ своемъ сыновнемъ чувствѣ къ природѣ, исполненный горечи и недоумѣнія, въ родной матери увидѣвшій олицетвореніе міровой суетности и зла. Но пусть душа его скорбить, —уста должны молчать. Тишина —стихія мысли. И въ безмолвіи своего внутренняго міра будетъ онъ еще больше лелѣять свою рефлексію, муки своего сознанія.

Итакъ, разрывъ Гамлета съ природой символизируется тѣмъ, что его обманула, оскорбила мать. И вотъ сынъ явился судьею матери, спрашиваеть у нея отчета, -- повторяется миоъ о Клитемнестръ и Орестъ. «Умолкни, милый Гамлеть!» — умоляетъ королева, но теперь принцъ уже больше не въ состояни молчать. Грозныя слова говорить онъ ей, въ ужасающихъ краскахъ рисуеть онъ ея преступленіе, ся изм'єну, попраніе об'єта, торжественно даннаго при брачномъ алтаръ. И самая земля, и самое чело небесъ - все, какъ въ день передъ судомъ последнимъ, содрогается отъ предательства, совершеннаго матерью. Воздаятель кровосмишенія, изобличитель порока, Гамлетъ въ то же время оскорбленъ за своего отца и какъ сынъ, какъ мужчина. И твнь отца, невидимая для Гертруды, напоминающе стоить передъ нимъ, тънь безсмертная. Въ опочивальнъ у его матери висять портреты обоихъ братьевъ, его отца и его дяди. Какъ могла Гертруда заменить одного другимъ, Гиперіона—сатиромъ? Какъ могла она «бросить прекрасный лугъ нагорной вышины, чтобы гнилымъ питать себя болотомъ»? Гдъ были ея глаза, «какой же черный демонъ толкнулъ ее, играя въ эти жмурки?» Въ сынв продолжается мужская гордость и сила отца, и сынъ требуеть, чтобы его отецъ былъ единственнымъ для его матери. Вдова, выходящая замужъ, измѣняетъ не только мужу, но и сыну.

Разрывъ Гамлета съ природой символизируется еще и тѣмъ, что онъ покидаетъ Офелію. Безъ природы въ сердцѣ, отвергнувъ ее въ лицѣ родной матери, Гамлетъ долженъ былъ съ корнемъ вырвать изъ своей души и любовь. Вѣдь любовь — утвержденіе природы, а онъ ее отрицаетъ. Иронія жизни, ея вѣчное недоразумѣніе вызвали у Офеліи миражъ, будто Гамлетъ помѣшался отъ любви къ ней; въ дѣйствительности же онъ свое чувство исторгнулъ, — моноидеизмъ печальнаго принца увлекъ его въ другую сторону и, какъ только онъ выслушалъ своего отца, онъ сейчасъ же безмолвно простился со своей невѣстой и этимъ послѣднія разорвалъ нити, которыя еще соединяли его съ непосредственностью и утѣхой жизни. Онъ любилъ Офелію какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ, — и Лаэртъ, только одинъ изъ этихъ сорока тысячъ, ея брать, но меньше брать ей, чѣмъ Гам-

летъ, поразительно неправъ, будто чувство датскаго принца не более какъ игра въ крови, фіалка, расцветшая въ поре весеннихъ летъ. Сосредоточенная, глубокая личность Гамлета ростить не однъ эфемерныя фіалки. Но передъ любимой дівушкой притворившись безумнымъ и этимъ оскорбивъ ее, онъ скоро дошелъ до границы, отдъляющей притворное безуміе отъ дійствительнаго (вообще, въ безуміе нельзя, гръшно, опасно играть), и, можеть быть, онь въ самомъ дълъ помъшался, какъ это и должно, какъ это и подобаетъ тому, кто отказывается отъ природы и беретъ себъ изъ нея только одинъ умъ? Въдь несомнвнно, что сплошной умъ сродни сплошному безумію. И оттого нельзя съ точностью сказать, въ насмъшку или искренне обращается Гамлеть къ Офеліи со своимъ призывомъ: «Ступай въ монастырь!» Не надо рождать на свътъ гръшниковъ, не надо рождать людей. Гамлеть хочеть самую природу заточить въ монастырь. Пусть изсякнеть жизнь на земль, пусть прекратится брачность міра, пусть всякая Офелія зажжеть безплодный огонь весталки. Сколько бы ни продолжалась сміна поколіній, сколько бы свадебь еще ни справляли люди, все равно человъкъ не станетъ лучше, и только новые гръхи будуть омрачать собою лицо природы. Къ тому же и женщины, выходя замужь, дёлають изъ своихъ мужей чудовищь, и развъ Офелія будеть чьмъ-нибудь лучше Гертруды? «Въ монастырь, въ монастырь!» — похоронить природу!

Въ монастырь могилы, предъльную обитель безгръшности, уппла Офелія, отвергнутая невъста Гамлета. Прекрасная и нъжная, вся любовь и кротость, она ушла въ цвътахъ, еще болье украсивъ ими

свое поэтическое безуміе.

Тоску и грусть, страданья, самый адъ---Все въ красоту она преобразила:

такъ сказалъ про нее братъ и этимъ върно опредълилъ ея самую существенную черту, ея способность въ единую, родную ей, категорію красоты претворять всь впечатльнія жизни. Не менье религіозная, чьмъ Гамлетъ, она не побоялась однако гръха самоубійства,—въдь это не вътка ивы подломилась подъ нею, это она сама нашла въ смерти исходъ изъ своего безумія и своего страданія.

Офелія гибла и пѣла И пѣла, сплетая вѣнки, Съ цвѣтами, вѣнками и пѣсней На дно опустилась рѣки.

Безсмертная утопленница, она освятила собою воду,—стихію, которую и назваль впосл'ядствіи Роденбахъ гробницей Офеліи.

Муки рефлексіи, которыя вообще свойственны Гамлету, конечно, еще болье усилились, когда онъ узналь. Въ полночь явилась тынь, и какъ Миранда отъ Просперо, такъ Гамлеть отъ Гамлета, сынъ отъ отца, услышалъ трагическій разсказъ. Принцъ увидалъ жуткій призракъ и горячо, съ безумною мольбою взмолился къ нему, быть можетъ, о разоблаченіи не только личной, семейной драмы, но и о раскрытіи міровой сущности вообще:

Я говорю съ тобой: тебя зову я
Гамлетомъ, королемъ, отцомъ, монархомъ!
Не дай въ пезнаніи погибнуть мнѣ!
Скажи, зачёмъ твои святыя кости
Расторгли саванъ твой? Зачёмъ гробница,
Куда тебя мы съ миромъ опустили,
Разверзла мраморный тяжелый зъ́въ
И вновь извергнула тебя? Зачёмъ
Ты, мертвый трупъ, въ воинственныхъ доспѣхахъ
Опять идешь въ сіяніи луны,
Во тьму ночей вселяя грозный ужасъ,
И насъ, слёпцовъ среди природы, мучишь
Для нашихъ душъ непостижимой мыслью—
Скажи, зачёмъ, зачёмъ? Что дёлать намъ?

Это въ лицѣ Гамлета,—жизнь, изступленно вопрошающая смерть о тайнѣ міра. «Слѣпцы среди природы», we fools of nature, ея игралица и жертвы недоумѣнія, пока мы живы, мы ничего не знаемъ; не великую разгадку мы, наслѣдники, не услышимъ ли отъ своихъ почившихъ предковъ? Вѣдь прошлое не проходитъ, оно возвращается, и отецъ разскажетъ сыну. «Внимай, внимай! Номни обо мнѣ»—настаиваетъ прошлое, этотъ призракъ, болѣе реальный, чѣмъ окружающая, мнимая и обманчивая, дѣйствительность. «Мой долгъ тебѣ внимать»,—отвѣчаетъ настоящее, ючый Гамлетъ. Такъ повторяется уже извѣстный намъ глубокомысленный діалогъ Просперо и Миранды, обычная традиція жизни, завѣтъ исторіи.

Въ томъ завъщаніи, которое преподаль Гамлету отецъ, удивительно, среди другихъ, одно наставленіе:

If thou hast nature in thee, bear it not. Не потерии, когда въ тебт природа есть.

Къ природъ Гамлета обращается тънь, но именно природы у него и нътъ: она растворилась, исчезла въ мысли; дума взяла верхъ надъ дъломъ. И въ связи съ этимъ замъчательно то, что умершій, но живой король очерчиваетъ для сына лишь опредъленный кругъ мести:

Не запятнай души: да не коснется Отмшенья мысль до матери твоей! Оставь ее Творцу и острымъ терпамъ, Въ ея груди уже пустившимъ корни.

Мстить матери противоестественно; не касайся природы, ея носительницы, ея воплощенія; мать, что бы она ни сдёлала, священна. Пусть вёдаеть ее одинъ Творецъ, который и сказаль когдато: «Мий отмщеніе, и Азъ воздамъ», — пусть Онъ ее предоставить ея совъсти.

Гамлеть узналь. Между его прошлымь и настоящимь легла роковая межа познанія, и теперь, пріобщившись на столь близкомь опыть ко всей гръховности міра, онъ потеряль невинное невъдъніе дътскихъ лътъ. «На небесахъ и на земль, Гораціо, есть многое, чего и не спилось нашей философіи». Свою философію онъ обогатиль. Ему дано было, въ полночный чась, общеніе между небомь и землей, и оно опредълило собою все теченіе его мыслей. Отнынь онъ сосредоточивается на одномь, на завъщаніи отца. Имь овладъваеть рышительная одержимость, и все глубже и глубже идеть онъ въ нъдра своей единой мысли. Онъ замыкаеть себя въ ея заколдованный кругъ.

...Со страницъ воспоминанія
Вст пошлые разсказы я сотру,
Вст изреченья книгъ, вст впечатлтнья,
Минувшаго слтды, плоды разсудка
И наблюденій юности моей.
Твои слова, родитель мой, одни
Пусть въ книгт сердца моего живутъ
Безъ примтси другихъ, ничтожныхъ словъ.

И то, что злодѣемъ быть можно съ улыбкой на лицѣ, это онъ заноситъ въ свою записную книжку, сокровищницу идей—неизиѣнный студентъ, философъ, рыцарь мысли.

Какъ это свойственно въ особенности тому, кто живетъ одною мыслью, внутренне оторванный отъ матери, отъ простодушной природы, Гамлетъ вооружилъ свой умъ проніей, сарказмомъ; отравленный другими, сынъ отравленнаго отца, онъ держитъ ядъ и въ собственномъ сознаніи, пропитываетъ имъ всё свои рёчи. Духъ проніи, однажды вызванный, уже не уходитъ и не щадитъ даже тёни отца: Гамлетъ называетъ ее «пріятелемъ», «кротомъ», «отличнымъ рудокопомъ». И сарказмъ, эту гибель всякой непосредственности, онъ распространяетъ и на бёдную Офелію, мучитъ ее.

Такъ, потерявъ не только отца, но и мать, одинокій, страдающій, сирота вселенной, стоить Гамлеть въ средоточіи огромнаго міра и бьется о него своей недоумѣвающей и тоскующей мыслью, и безотвѣтно вопрошаеть о смыслѣ бытія. Его умъ и его безуміе, его правдивость и его иронія—ничто не въ силахъ ему помочь, такъ какъ на его хрупкія плечи пала невыносимая тяжесть. «Время вышло изъ своей колеи. О, проклятіе судьбѣ моей, родившей меня на то, чтобы именно я вернулъ его на надлежащую дорогу!» Міръ распался, раскололся, и Гамлетова мысль, человѣческое сознаніе, обречена на то, чтобы восполнить собою всѣ расколы и расщелины жизни, разрѣшить ея дисгармоніи, замкнуть великія зіянія міра. Удивительно ли, что передъ этой задачей, передъ этой необходимостью хаосъ обратить въ космосъ, изнемогаетъ бѣдный датскій принцъ?

Онъ не можеть преодольть того разстоянія между дъломь и думой, которое все увеличивается по мъръ того, какъ развивается человическій интеллекть, вырастаеть мысль. Живое діло, этопрямая линія, кратчайшее разстояніе: мысль же, наобороть, кружить, она не спфшить, она вовсе не стремится поскорфе прійти къ цфли; и даже нъть у нея никакой цъли, - въ себъ самой находить она ее. Гамлеть не въ состояніи провести ни одной прямой липіи. Отъ изобилія мыслей парализуется воля, «блекнеть ея румянець», и оттого датскій принцъ сумъль какъ никто внять своему отцу, глубже всёхъ понять его, но не сумёль за него отомстить. Онъ самъ чувствуетъ, какъ это вопіеть противъ Творца, что его, Гамлета, богоподобный разумъ безплодно истлетъ въ тайникахъ его духа, не претворившись въ дъло. Идея жаждетъ плоти, хочеть облечься въ нее, — но Гамлеть, «лѣнивый мститель», не осуществляеть своей идеи, отсрочиваеть свою действенность, хотя «его зовуть великіе примъры», хотя онъ видить кругомъ себя (въ лицъ Фортинбраса) отвагу, мужество, кипучее дъло.

> А я, презрѣнный, малодушный рабъ, Я дюла чуждъ, въ мечтаніяхъ безплодныхъ, Боюсь за короля промолвить слово, Надъ чьимъ вѣнцомъ и жизнью драгоцѣнной Совершено проклятое злодѣйство.

Гамлета оттъняетъ Лаэртъ, у котораго тоже убили отца и у котораго ввергли въ безуміе сестру: какъ сходны горести Гамлета и Лаэрта, какъ неодинаково реагируютъ они на удары судьбы! Порывъ и эпергія, не разсуждающій, дъйственный, исполненный святой злобы, сынъ Полонія—тоже великій примъръ для Гамлета съ

его блідной волей; недаромъ принцъ и любилъ его какъ брата и въ его судьбі виділь отраженіе собственной.

Самъ океанъ, сломивъ бреговъ ограду, На гладь луговъ не ринулся бъ сильнъй, Чъмъ молодой Лаэртъ съ толпою черни На вашихъ слугъ...

И ужъ не Лаэртъ, а самъ Шекспиръ виноватъ въ томъ, что воодушевленіе перваго, его страстность разрѣшаются не прямымъ нападеніемъ на Гамлета, а коварствомъ, убійствомъ осторожнымъ и хитрымъ, шпагой отравленной. Болъе похоже на Лаэрта, болъе психологично было бы, если бы онъ убиваль открыто, безъ расчета и благоразумія, если бы самая месть его была благородна. Но этому помъщала, не чуждая вообще Шекспиру, моральная грубость, которая иногда проводить резкій, необъяснимый и непривлекательный штрихъ (другіе примъры: Отелло, ненавидящій Кассіо, не самъ однако убиваетъ его, а поручаетъ это дело своей души другому,-правда, здъсь еще можно найти объяснение въ томъ, что всю нерастраченную силу своей мести и гнѣва онъ долженъ былъ направить на Дездемону, на нее одну; или въ Гамлетт же отталкиваеть насъ тоть способъ, какимъ датскій принцъ отомстилъ Гильденштерну и Розенкранцу, его хитрость, его подлогъ, то, для свершенія чего совсьмъ не надо быть Гамлетомъ). Какъ бы то ни было, образъ Лаэрга общей внутренней красотою своей зативваетъ непріятную черту, допущенную авторомъ, должно быть, въ угоду времени (хотя не пристало Шекспиру смъшивать временный и въчный критерій, исторію и психологію, обычай и душу). Вину свою или Шекспира искупиль несчастный Лаэрть тымь, что, когда онъ на кладбищъ увидълъ Гамлета, онъ бросился на него, забывъ о хитромъ планъ Клавдія, и тъмъ въ особенности, что въ моментъ нечестнаго поединка, сражаясь отравленной шпагой, онъ почувствовалъ угрызенія совъсти и покаялся въ своемъ гръхъ (у Шекспира вообще герои въ моментъ своей кончины часто преодолъваютъ свои дурныя страсти и каются въ нихъ).

Братъ Лаэрта, съ нимъ не сходный, Гамлетъ хочетъ вдохновить себя; онъ внушаетъ своей мысли, чтобы она отнынѣ была пропитана кровью или совсѣмъ перестала быть. Правда, тотъ подвигъ, который ждетъ его, особенно труденъ. Его призываетъ дѣло всѣхъ дѣлъ. Кровавая месть, убійство, это—дѣло по преимуществу, самое пркое и страшное изо всѣхъ возможныхъ; оно должно возстановить попранную справедливость—путемъ разрушенія чужой жизни и путемъ нарушенія той религіи, того христіанства, которыя вѣдь живутъ

въ душъ у Гамлета. Онъ сталкивается здъсь съ антиноміей: совъсть, голосъ отца, побуждаетъ совершить нъчто объективно-безсовъстное. Жестокое испытаніе предложила мыслителю-принцу реальная жизнь. И если онъ не убилъ короля во время его молитвы, то, въроятно, не столько потому, что не хотълъ послать на небеса его душу очищенной отъ гріховъ, отъ земной пыли, покаявшейся (тогда какъ отецъ Гамлета быль убить «въ веснъ гръховь»), сколько потому, что въ этотъ мигъ онъ еще болье понялъ, какъ немыслимо, какъ безсовъстно, какъ невозможно убивать такое существо, которое способно молиться. Не безсмертію ли подлежить все, что молится? Онь знаетъ, что подобныя размышленія и ув'єщанія сов'єсти превращають насъ въ трусовъ, связывають руки. Совъсть, conscience, —то же, что и сознаніе: об' эти силы, внутренне однородныя, разумъ практическій и разумъ чистый, соединяются для того, чтобы замедлить человіческіе таги на дорогь дыла. Къ умственнымъ тревогамъ привходять и нравственныя. Уже не кажется священной месть, уже возникаетъ сомнине въ ея законности, въ ея сладости, уже теряешь прежнюю увъренность, съ которой ты недавно распредъляль вину между людьми, разбирался въ преступлении и наказании. Можетъ быть, надо мстить не чужою кровью, а своими слезами? Можеть быть, никто не виновать? Можеть быть, въ систем'в міра все предопредълено и рукою убійцы убиваеть чуждая ему и неотразимая сила? Отказъ отъ мести во имя теоретическаго всепрощенія или во имя убъжденія въ круговой виноватости и отвътственности людей, этопризнакъ высокой культуры, явление прогресса, но вмъстъ отреченіе отъ непосредственныхъ зав'єтовъ природы. Оттого это и связано съ мукой горестной, съ гамлетовской скорбью. Необычайная сложность, безконечныя разростанія простого рождаются оть размышленія, — и вотъ Гамлетъ произносить свои монологи и светь мысли, но ничего не делаеть. Кто среди жизни задумается, тоть всегда опоздаеть. Гамлеть одинаково прислушивается и къ своей мысли, и къ своей совъсти, -- удивительно ли, что ему некогда жить?

Древо познанія, это—древо познанія добра и зла. Но кто вкусить его плодовь, тоть, въ вид'є кары за непослушаніе, только спутаеть въ своемь ум'є и сердц'є вс'є м'єрила: онъ и зпать не будеть, онъ и д'єлать не будеть, ни злой, ни добрый, ни проникшій въ тайну, ни д'єтски - наивный. Потерявъ критеріи великой естественности, предоставленный самому себъ, безбрежнымь и безплоднымъ просторамъ своего ума, вн'є природы, вн'є свободы, онъ будеть томиться въ мучительной неопред'єленности своего мышленія.

Безъ матери и безъ невъсты, въ круговоротъ мысли, переходящей въ безмысліе, въ игръ ума, переходящаго въ безуміе, геніаль-

ный и сумасшедшій, трагическій и смішной, принцъ безпріютный, Іоаннъ Безземельный, въ маскъ безумія, подъ этой шапкой-невидимкой, умный и хитрый, какъ только уменъ сумасшедшій, проходить Гамлеть среди людей и погружается въ самыя черныя глубины унынія и скентицизма. «Что вы читаете, принцъ?» — «Слова, слова, слова»: это — отвътъ искренній; мысли перешли въ слова; герой книги протестуеть противъ всёхъ книгъ на свёте, такъ какъ отъ нихъ тесно, такъ какъ оне словами не даютъ места делу. Отъ вътра можно укрыться только въ могилъ, весь міръ — тюрьма, и Данія—худшая изъ ея коморокъ; земля—безплодная скала; небесный куполь — сметеніе ядовитыхь паровь, человекь — эссенція праха: такъ пессимизмомъ разрушаетъ Гамлетъ вселенную, и на той флейть, съ которой онъ сравниваетъ свою душу, играетъ онъ только прсню пелати. Но при этоми они сами сознаети, что нри ничего объективно-хорошаго или дурного: «само по себѣ ничто не дурно и не хорошо; мысль дълаеть его тъмъ или другимъ» — та мысль, та дума безъ дъла, которая Божій свътъ превратила для него въ темный призракъ

Именно этотъ пессимизмъ, который вообще не видитъ большой разницы между реальнымъ и призрачнымъ и дѣло отожествляетъ со словомъ, побудилъ Гамлета столь радостно принять актеровъ. На сценѣ міра или на подмосткахъ спеціальныхъ, въ сущности, совершается одно и то же. Люди — лицедѣи скрытые или явные. Гамлетъ больше тяготѣетъ къ послѣднимъ. Онъ предвосхищаетъ мыслъ Уайльда, что искусство первѣе жизни. И потому никого нѣтъ для него желаннѣе актеровъ. И вотъ они декламируютъ свои патетическіе монологи; принцъ, самъ актеръ, жадно прислушивается къ нимъ, и все, что происходитъ и происходило, онъ связываетъ теперь со своей трагедіей: когда, напримѣръ, актеръ произноситъ слова «царица въ скорбномъ одѣяніи», то это сейчасъ же напоминаетъ ему его собственную царицу, мать Гертруду, ту, которая такъ поспѣшно смѣнила свои вдовьи одежды на свѣтлое платье невѣсты.

Актеры нужны ему не только сами по себѣ, но и какъ орудіе мести. Искусство уличаетъ реальную жизнь. Въ веркалѣ сцены отразится преступленіе короля; злодѣй не выдержить этого, содрогнется и тѣмъ выдастъ свою преступную голову. Красота пробудить совѣсть; черезъ эстетику идетъ Гамлетъ къ этикѣ. Но актеры уличаютъ и его самого. Ему стыдно при мысли, насколько больше его тотъ лицедѣй, который только что съ такимъ воодушевленіемъ декламировалъ о Гекубѣ,— «что онъ Гекубѣ, что она ему?» Пустой вымыселъ, то, чего не было, обманчивая тѣнь сказки пробудили въ актерѣ столько силы и страсти, зажгли его огнемъ вдохновенья, выз-

вали слезы на его глазахъ и непритворное отчаянье въ его душть. Что же было бы-размышляеть Гамлеть-если бы актерь имъль, какъ принцъ, реальныя основанія къ ужасу и скорби, если бы онъ быль на мъсть Гамлета? Тогда онъ потопилъ бы сцену въ слезахъ, тогда онъ потрясъ бы слухъ народа, тогда онъ совершилъ бы нъчто великое... Но здёсь Гамлеть ошибается: легче играть, чёмь жить. Искусство решительные жизни. И если бы въ положени нашего принца быль актеръ, то и онъ испытывалъ бы такую же нервшительность и смуту. Легче заступиться за Гекубу, чемь за родного отца. Искусство уничтожаеть разстоянія, вымысель не требуеть діла; онъ живетъ одними впечатлъніями, онъ никуда не зоветъ изъ внутренняго міра, — и потому такъ страстенъ и прекрасенъ лицедій. Й если бы не онъ, а Гамлетъ декламировалъ монологи о Пріамъ и Гекубъ (что онъ и началъ было, прекрасно началъ), то и Гамлетъ зажегся бы пламенемъ всей той энергіи, какой теперь ему недостаеть, и тогда онъ быль бы собою доволень, и ему не пришлось бы корить себя этими жестокими самообличеніями.

Задумавшемуся Гамлету нечего было дѣлать въ этомъ мірѣ, который задумчивости не терпитъ и быстро катитъ все впередъ и впередъ свои торопливыя волны. Бѣдный принцъ предчувствовалъ свою раннюю смерть и шелъ на нее безтрепетно и гордо. Но такъ какъ онъ вообще смерти не принимаетъ, то въ концѣ его дней и прозвучалъ этотъ обычный шекспировскій мотивъ о томъ, что жизнь не полна, не закончена, если она не разсказана. Гамлетъ взываетъ къ безсмертію разсказа. Самъ онъ не имѣетъ уже времени, для того чтобы повѣдать свою исторію: «смерть, сержантъ проворный, вдругъ беретъ подъ стражу»; но онъ умоляетъ своего благороднаго друга Гораціо остаться въ живыхъ, пострадать еще въ этомъ ничтожномъ мірѣ, для того чтобы было кому разсказать о Гамлетѣ—to tell my story. Такъ страшно умереть неузнаннымъ, непонятымъ, безъ лѣтописца и баяна. Тhe rest is silence, «конецъ—молчаніе»; но именно о томъ была послѣдняя мечта и мольба датскаго принца, чтобы молчаніе

было прервано, чтобы конецъ жизни послужилъ началомъ для разсказа, для этой жизни второй, лучшей, понятой въ ея смыслё и поэзіи.

Благородный Гораціо, во образ'в Шекспира, исполниль просьбу Гамлета и спасъ его для безсмертія. Онъ разсказаль.

Когда перестало биться сердце его друга, онъ склонился надънимъ и задушевно промолвилъ: «Good night, sweet prince!»

Покойной ночи, милый принцъ! Спи мирно Подъ свътлыхъ ангеловъ небесный хоръ!

Покойной ночи... Гамлетъ боялся, что послѣдняя человѣческая ночь полна видѣній и сонныхъ грезъ. Что же снится Гамлету? Не его ли собственная судьба? Не слышитъ ли онъ, не видитъ ли онъ, какъ разсказываетъ о немъ вѣрный Гораціо, разсказываетъ Шекспиръ и слушаетъ человѣчество, и на всѣхъ театрахъ міръ проходитъ его одинокая тѣнь?

Покойной ночи не можеть быть для Гамлета, потому что именно великое безпокойство, глубокая тревога, неусыпная дума сопутствовали ему при жизни и составляли безсмертное ядро всей его личности. Съ техъ поръ какъ въ человечестве появился Гамлетъ и могъ возникнуть среди насъ его задумчивый обликъ, покойной ночи уже не можетъ быть ни для кого изъ людей. Отлетели отъ нашего изголовья мирные и безмятежные сны, и сознаніе не тушитъ своего факела. Онъ горитъ, онъ освещаетъ; но давно уже, устами Гамлета-Баратынскаго, сказано, что факелъ истины—погребальный. Опъ свётомъ своего жуткаго пламени сопровождаетъ похороны природы, погребеніе великаго Пана, прощапіе съ былой непосредственностью и наивпостью духа. День былъ у Гамлета безпокойный, и ночь его будетъ такою же. Но цёною этого безпокойства не обрётетъ ли себе человечество освобожденія отъ Калибана, и не приблизится ли оно къ Аріэлю?

Король Лиръ.

Принцъ датскій не сталъ королемъ—пи на тронѣ, ни въ жизни; онъ рано умеръ, потому что рано узналъ. Однако Шекспиръ по-казываетъ, что не только принцы, но и короли, не только юноши, но и убѣленпые сѣдинами не обезпечены отъ неожиданныхъ и трагическихъ разоблаченій и разочарованій. Прежде всего поражаетъ въ королѣ Лирѣ, что урокъ жизни онъ получилъ уже въ самомъ концѣ ея, на краю могилы, послѣ того какъ онъ провелъ долгое и великолѣпное существованіе. Никто, значитъ, не можетъ сказать о себѣ, что онъ уже все знаетъ, что онъ прочиталъ всю книгу бытія; сколько бы мы ни жили, каждый послѣдующій годъ, каждый

послъдующій день и чась не является простымъ повтореніемъ своего предшественника, ненужной копіей давно изжитаго оригинала, а даеть нъчто новое. Нъть повтореній, всего есть по одному. Мы въчно учимся; въ такомъ смыслъ всякая жизнь, это уже — безсмертіе. Опыть длительный и опыть кратковременный по существу ничъмъ не разнятся между собою; это-одинаковое невъдъніе, и отъ глубокой старости своей король Лиръ нисколько не сталъ опытиве и мудрѣе: мы всегда остаемся fools of nature. Правда, его положеніе было исключительно: онъ жиль на такихъ высотахъ, куда многія несчастья и поучительныя невзгоды людскія не досягають. Лиру негдъ было пройти школу; передъ нимъ сознательно застилали правду, его обволакивали атмосферой угодничества и дълали ему жизнь легче, чемъ она есть. Воть почему онъ перенесъ особенно мучительную трагедію: къ общему страданію человіка присоединилась у него специфическая обида монарха. Онъ не просто Лиръ, онъ именно король Лиръ, и все поэтому для него тяжелье и острве, чемъ для другихъ, и паденіе его особенно глубоко и болезненно, потому что это паденіе съ необычной высоты.

Человъческая драма Лира, однако, болъе обыкновенна, чъмъ это можеть показаться на первый взглядь. Она только форму приняла разительную, но ея сущность представляеть собою нѣчто роковое и необходимое, такъ какъ неблагодарность дътей къ родителямъ, борьба отцовъ и детей, великій разладъ поколеній являются закономъ самой жизни. Происходитъ неустанная война Алой и Бѣлой Розы: алая роза юности и бѣлая старость не могутъ не питать одна къ другой затаенной вражды и горечи. Регана и Гонерилья — чудовища; но именно поэтому коллизія съ ними имѣла бы только преходящій интересъ исключенія, а не правила, была бы простымъ случаемъ среди случаевъ и не содержала бы въ себъ никакой типичности, если бы она не служила лишь однимъ изъ яркихъ и зловъщихъ проявленій нікоторой общей нормы. Тончайшая трагедія Лира вызвана не Реганой и Гонерильей, а Корделіей. И не парадоксально, а правильно сказать, что Корделія болье неблагодарна, чемъ Регана и Гонерилья.

Въ самомъ дѣлѣ. Корделія — любимѣйшая дочь Лира, самая дорогая, утѣха его старости (your best object, the argument of your praise, balm of your age, the best, the dearest),—и вотъ она спокойно и просто говоритъ своему родителю горькую правду, что любитъ его не больше, чѣмъ должна любить, и что когда она выйдетъ замужъ, то отниметъ у него часть своей любви и отдастъ ее мужу. Она уйдетъ изъ-подъ отцовской кровли и прижмется къ другому сердцу. Она сама будетъ имѣть дѣтей, и созданное ею будетъ ей

неизмѣримо-дороже создавшаго ее. Она, какъ и всѣ женщины, должна будеть произвести выборъ между отцомъ и возлюбленнымъ, и этотъ выборъ покажетъ, что не отецъ для нея—самое желанное существо на свѣтѣ. Такъ хочетъ сама природа, которая здѣсь какъ бы раздваивается,—но болѣе природно, болѣе естественно любить мужа, чѣмъ отца. Если бы Лиръ былъ только Лиръ, онъ понялъ бы это, какъ понимаютъ всѣ родители, всякая старость уступающая, и покорился бы необходимости. Но онъ—король, и «закоренѣлое самовластіе», привычное самодержавіе свое онъ желалъ бы распространить на самое естество: онъ и природу хочетъ сдѣлать своей подчиненной, своей вѣрноподданной.

Итакъ, Лиръ безсознательно, невѣдомо для себя, правъ, когда не въ Реганъ и Гонерилъъ, а въ ихъ сестръ видитъ воплощенную неблагодарность. Только послъдняя глубже, чъмъ онъ думаетъ самъ, и она права, между тъмъ какъ онъ неправъ. Въ своей ревности къ будущему зятю, оскорбленный отецъ, которому надо дълиться съ другимъ, воплощеніе отцовской силы, patria potestas, на которую посягаетъ крамола свободнаго сердца, опъ рветъ и мечетъ, — и какъ бы въ наказаніе за то, что онъ возсталъ противъ неблагодарности невольной, законной и естественной, его сразила неблагодарность сверхъестественная, гнусная, жестокая, отъ которой онъ совершенно растерялся и обезумълъ.

Замъчательно, что въ параллель съ драмой Лира разъигрывается во многомъ аналогичная драма Глостера: онъ ошибся, былъ къ нему неблагодаренъ не Эдгаръ, а Эдмундъ, но во всякомъ случать былъ неблагодаренъ къ нему именно сынъ; и пораженный отецъ горько сътуетъ на то, что «законы природы нарушаются повсюду... любовь холодъетъ... связь отца съ сыномъ расторгнута». Между тъмъ Эдмундъ, незаконнорожденный, оклеветавшій своего брата, сына законнаго, презрънный виновникъ злодъяній, — Эдмундъ говоритъ, что его единственный богъ, это — природа, что только ея священнымъ законамъ хочетъ онъ повиноваться и оттого не стыдится своей незаконнорожденности: къ природъ апеллируютъ въ своей тяжбъ и отецъ и сынъ, у природы ищутъ заступничества и честный и безчестный, и объектъ и субъектъ неблагодарности...

Гнѣвъ и горечь отца, вынужденнаго уступить будущему возлюбленному своей возлюбленной дочери, могли достигнуть у Лира такой силы и павоса, могли проявиться у него такъ бурно и дерзновенно потому, что онъ, король, былъ самодержецъ, близъ котораго, по слову Кента, «нѣтъ правды и свободы». Не только въ своей личной судьбъ, не только фактически, но и въ душъ своей, прирожденно, это былъ король съ головы до ногъ; власти знакъ быль глубоко запечатлёнь въ его сердцё, и никому такъ не пристала корона, какъ его сёдой головё. Въ самомъ желаніи его, столь внезанномъ, раздёлить царство на три части, сложить съ себя заботы королевскаго сана и «безъ ноши на плечахъ плестись ко гробу», — въ самомъ этомъ желаніи сказался капризъ потентата, и вовсе не чувствуется въ Лирё усталости; еще многія ноши могъ бы нести на своихъ плечахъ этотъ могучій старикъ. И словами Корделіи, этого «презрённаго, но красивенькаго созданія» (которое дороже ему всёхъ въ его широкой державё), честными словами Корделіи въ немъ оскорбленъ не только отецъ, но и государь.

Къ этой неудовлетворенности и обидъ, къ этой, быть можетъ, впервые въ жизни испытанной боли неповиновенія присоединилось все остальное — все сходное: противодъйствіе благороднаго Кента, ваступившагося за Корделію, и то неестественное и страшное, что другія его дочери какъ бы превратились въ его матерей (шуть говорить Лиру: «ты сделаль твоихь дочерей твоими матерями, ты далъ имъ въ руки розгу»): король и отецъ сталъ безпомощнымъ ребенкомъ. То, чего Лиръ ждалъ отъ Корделіи, сдвлали Регана и Гонерилья. Конечно, ихъ поступки — другого порядка, чьмъ стихійная и благородная неблагодарность Корделіи. Исключительность Реганы и Гонерильи характерно сказывается и въ томъ, что, въ противоположность сестръ, онъ жестоко отвернулись отъ отца вовсе не ради мужей: мужьямъ онъ измънили такъ же, какъ и отцу; онъ были невърныя дочери и невърныя жены. Можно сказать поэтому, что ей, Корделіи, Регана и Гонерилья не сестры. Но, повторяемъ свою мысль, король Лиръ тяжко страдалъ бы отъ дочерней неблагодарности, отъ спокойствія Корделіи, способной мужа полюбить больше, чемъ отца, даже если бы Регана и Гонерилья не оказались такими извергами естества. Мука Лира, разлученнаго съ Корделіей, отъ этого была бы иной по форм'я и оттынкамъ, но той же по существу. И все равно Лиръ былъ бы несчастенъ.

Извращеніе естественной неблагодарности, принявшей отвратительный обликъ Реганы и Гонерильи, новергло стараго короля вътакой ужасъ и недоумѣніе, что онъ пересталъ узнавать прежнее, знакомое, и все приняло для него другія очертанія. «Ты моя дочь?» спрашиваеть онъ Гонерилью. «Знають ли меня здѣсь? Это я, это Лиръ? Это Лиръ здѣсь ходитъ и говорить?» Что же передъ нимъ—галлюцинація или реальность? Онъ не знаеть, бѣдный старикъ, сразу потерявшій и царство, и дѣтей, свое имя и свое мѣсто въмірѣ — самую личность свою. И только одно поняль онъ въ эти страшныя міновенья—то, какъ онъ неправъ быль передъ Корделіей и передъ природой, какъ, отвергнувъ естественное, онъ встрѣтилъ

чудовищное—и притомъ во образѣ родной дочери (у Шекспира вообще въ мірѣ дѣйствуютъ не только люди, но и чудовища: ревность съ зелеными глазами, неблагодарность съ очерствѣлымъ сердцемъ, честолюбіе, которое неизгладимо запятнало бѣлыя руки леди Макбетъ). Лиръ бьетъ себя въ голову, онъ проклинаетъ Гонерилью самымъ ужаснымъ проклятіемъ, какое въ данный моментъ способно ему прійти на умъ: онъ желаетъ дочери, чтобы ее постигла его же собственная участь. Онъ обращается къ природѣ (мы уже видѣли: это—общая инстанція); онъ взываетъ къ ней, благой богинѣ (Неаг, паture, hear; dear godness, hear!), чтобы она, ужъ если суждено Гонерильѣ не быть безплодной и извѣдать незаслуженную ею гордость материнства,—чтобы она послала ей дитя изъ желчи, дитя, презирающее всѣ муки и благодѣянія матери, дитя неблагодарное!

Онъ плачеть, низложенный король и отець; онъ просить свои «старые, глупые глаза» не плакать, — ему, недавно сильному, такъ стыдно своей слабости. И трогательно молится онъ небу, чтобы оно спасло его отъ сумасшествія:

О, силы неба! дайте миѣ терпѣнье! Я не хочу безумнымъ быть!..

O let me not be mad, not mad, sweet heaven! Keep me in temper; I would not be mad!

«Я не хочу сойти съ ума»... Но развѣ здѣсь что-нибудь значитъ человѣческое, хотя бы и королевское, желаніе? Развѣ можно противиться помѣшательству, — особенно у Шекспира, который такъ часто въ своихъ драмахъ показываетъ его роковую необходимость, который такъ проникновенно знаетъ, что глубоко связаны и переплетены между собою умъ и безуміе?

Уже въ томъ сказывается помѣшательство Лира, что и онъ, какъ Гамлетъ, всецѣло отдается моноидеизму: не только онъ думаетъ исключительно о неблагодарности дѣтей, но и кажется опа ему единственнымъ преступленіемъ и единственнымъ страданіемъ всей земли. Если кто несчастенъ, то это потому, что у него неблагодарныя дочери; если кто бѣденъ, то это потому, что онъ все свое имущество роздалъ неблагодарнымъ дочерямъ. Такъ все для Лира сосредоточивается, такъ все разнообразіе міра и мірового зла сводитъ онъ къ единственной категоріи, — къ своей личной боли.

Могучая воля Лира, натолкнувшаяся впервые па воли чужія, не выдержала этого потрясенія. Она не въ силахъ понять, какъ это герцогъ Корнваллійскій тоже можетъ быть вспыльчивъ, — кто раньше осмѣлился бы королю Лиру говорить о чьей-то вспыльчивости? Кто раньше на ряду съ центромъ его королевской личности

смѣлъ бы устанавливать еще какіе-то другіе центры, покушаться на его самодержавіе, не только внѣшнее, но и внутреннее? Прежде Лиръ былъ единственный, теперь онъ сталъ одинъ изъ многихъ, послѣдній изъ многихъ. Впервые теперь онъ понялъ, что онъ не одинъ на свѣтѣ, что земля населена еще другими существами и что на этой землѣ населенной нѣтъ крова только для одного—для него, прежняго Лира, для его старой головы. Недавно безудержный въ своихъ желаньяхъ, онъ видитъ нынѣ, какъ ихъ умѣряютъ, подсчитываютъ, обуздываютъ другіе. Монархъ, у котораго ограничили власть, онъ вынужденъ теперь доказывать, что именно неограниченность является самымъ достойнымъ свойствомъ человѣка:

О, не суди о нуждахъ! Жалкій нищій Средь нищеты имъеть свой избытокъ. Дай человъку то лишь, безъ чего Не можетъ жить онъ,—ты его сравняешь Съ животнымъ...
Allow not nature more than nature needs, Man's life is cheap as beast's.

Природ'в надо давать больше, чты сколько природ'в нужно; иначе она опустится въ своей потенціи, окажется меньше самой себя, и человть въ своемъ существованіи падетъ на уровень животнаго. Одной необходимости мало. Человть начинается за предтами своихъ основныхъ потребностей; онъ начинается въ сферть безполезнаго, — тамъ, гдть опъ имтетъ больше, чты то, безъ чего нельзя обойтись. То, что не нужно, —вотъ стихія человтя человтя ская.

Такова глубоко-вѣрная, исповѣдуемая Лиромъ, философія неограниченности, роскоши, властительства; между тѣмъ на эту безмѣрность царственныхъ желаній, на эту человѣчески-божественную требовательность подняли скупую и жесткую руку его дочери. Съ Лиромъ торгуются. Не сто рыцарей, а пятьдесятъ; не пятьдесятъ, а двадцать пять: этого довольно будетъ для него; да зачѣмъ и двадцать пять, когда, собственно говоря, ни одного не надо? Такъ мѣряютъ пеизмѣримаго Лира, такъ безпредѣльности кладутъ предѣлы, такъ, въ нарушеніе самодержавности Шекспира и Лира, цѣлое хотятъ принизить до части.

У людей, у дочерей онъ не можетъ найти заступничества, и на его съдую бороду непочтительно и безъ стыда смотрятъ его дъти. Онъ пересталъ импонировать, онъ никому не внушаетъ страха и благоговънія, этотъ богъ, потерявшій своихъ богомольцевъ, этотъ жрецъ, отъ котораго отвернулись прихожане его пышнаго храма. И потому отъ людей онъ обращается къ богамъ: они тоже стары,

у нихъ тоже развѣвающіяся сѣдыя бороды, они тоже ищуть покорности, — да заступятся же они за Лира! Низложенные боги и
низложенный король, неблагодарное человѣчество и неблагодарныя
дѣти: между этими явленіями есть сходство, и тѣмъ большее, что
благодаря Шекспиру страданія короля Лира въ самомъ дѣлѣ принимаютъ какой-то космическій характеръ и размѣры и вся его
фигура поднимается на тѣ высоты, гдѣ обитаетъ сѣдой оскорбленный богъ.

Ни люди, ни силы небесныя не выступили на защиту старика (въдь, по словамъ Глостера, подсказаннымъ одной изъ характерныхъ мыслей Шекспира, мы для боговъ-то же, что мухи для злыхъ мальчиковъ: «насъ мучить имъ забава»), —и онъ провель, безпріютный, эту страшную ночь въ степи, когда сама природа какъ будто сошла съ ума отъ зрѣлища человъческой неблаголарности, - или заразилась ея примъромъ? Бъшеное изступленіе разъигравшихся стихій, извратившаяся природа съ такой безумной вакханаліей огненныхъ потоковъ, грома и ливня-все это не соотв'ятствуеть ли столь же противоестественному факту моральному-неблагодарности дътей? Внъшній хаосъ-только не послъдствіе ли внутренняго? Регана и Гонерилья бросили вызовъ природъ, и она не отвътила ли сумасшествіемъ своихъ элементовъ, такимъ же великимъ, какъ велико сумастествіе Лира? Или буря той неслыханной ночи составляеть не реакцію природы противь злод'яній Реганы и Гонирельи, а является какъ бы пособницей преступныхъ дочерей, и потому отъ нея такъ больно и холодно, и безпріютно Лиру?

И все же король безъ крова (таково неожиданное и поучительное измѣненіе дѣйствительности) благословляеть одичаніе естества; онъ молить вѣтеръ въ степи, чтобы «навѣки онъ землю въ море сдулъ, чтобъ волны, взгромоздившись, залили шаръ земной, чтобъ міръ погибъ».

Громъ небесный, Все потрясающій, разбей природу всю, Расплюсни разомъ толстый шаръ земли И разбросай по в'втру с'вмена, Родящія людей неблагодарныхъ.

(Переводъ Дружинина).

Crack nature's moulds—разнеси черноземъ природы, уничтожь самую почву вселенной, чтобы не было больше никакихъ посъвовъ, чтобы все исчезло, чтобы не оставалось ничего. Въ самомъ унижени своемъ изступленный Лиръ—прежній самодержецъ: онъ, какъ и раньше, исповѣдуетъ эгоцентрическое міровоззрѣніе, онъ

въ средоточіи вселенной ставить себя. И свою личную обиду онъ считаеть обидой природы, свое несчастье онъ возводить на универсальную высоту. Какой смысль міру продолжать свое существованіе, когда низвергнуть король Лирь? Если Лиру негдѣ приклонить голову, то зачѣмъ нужна природа? Вычеркнуть міръ изъ міра, вернуть первоначальный хаосъ, прекратить дальнѣйшій ростъ покольній и заглушить самое сѣмя жизни—вотъ для Лира неизбѣжный результать, вытекающій изъ неблагодарности его дочерей.

Кром'в того, моральныя страданія его такъ велики, что сверхъестественная отвлекающая сила нужна ему и для ихъ замиренія;
ему нужно такое физическое раздраженіе, которое позволило бы
котя на минуту забыть невыносимую нравственную боль. Король
Лиръ ищетъ бури, «какъ будто въ буряхъ есть покой»; она ему
необходима, и если бы ея не было, онъ бы ее выдумалъ. И все
же та атмосферическая буря, которая бушуетъ вокругъ его непокрытой головы, — тихое въяніе зефира сравнительно съ его внутренней тревогой и мукой.

На собственномъ страдальческомъ опыть извъдалъ онъ теперь все острое горе не властелиновъ, а подданныхъ міра, всяческую непогоду жизни. Ему кажется, что онъ наказанъ сверхъ міры, что онъ терпитъ больше зла, что сдівлалъ самъ,—но кто соизміритъ преступленіе и наказаніе, кто правильно учтетъ свою вину? И тамъ, на высотъ самодержавія, въ упоеніи царской властью, не былъ ли виноватъ король Лиръ уже тымъ, что онъ не думалъ о біздныхъ, о нищихъ, о тыхъ, для кого отсутствіе крова и холодъ, и голодъ такъ обыкновенны и будничны?

Вы, бѣдные, нагіе несчастливцы, Гдѣ бь эту бурю ни встрѣчали вы, Какъ вы перенесете ночь такую, Съ пустымъ желудкомъ, въ рубищѣ дырявомъ, Безъ крова надъ бездомной головой? Кто пріютитъ васъ, бѣдные? Какъ мало Объ этомъ думалъ я! Учись, богачъ, Учись на дѣлѣ нуждамъ меньшихъ братьевъ, Горюй ихъ горемъ и избытокъ свой Имъ отдавай, чтобъ оправдать тѣмъ Небо!

Такъ говорить кающійся король (потомъ сходную мысль выражаеть и Глостеръ, его товарищъ по несчастью), и ужъ одно то, что въ глубокой старости Лиръ пришелъ къ этой мысли о другихъ, къ этому сочувствію ближнимъ, которые раньше были отъ него далеки,—уже одно это составляетъ его искупленіе и примичто противоестественность принимаеть обликъ самаго естественнаго; ужасно то, что дьяволь надъваеть на себя личину женщины,—ту форму, которая и служить для него защитой («Howe'er thou art a fiend, a woman's shape doth shield thee»— «но хоть ты злой духъ, а образь женщины — тебъ защита»). И самъ король Лиръ, жертва женщинь, знаменуя свой разрывъ съ ними и съ природой, говорить про нихъ, что онъ только на половину женщины, на половину же—центавры, что главной частью ихъ существа владъетъ дьяволъ: «тамъ адъ, тамъ мракъ, тамъ пышущая бездна».

Именно потому, что онъ отвергъ женщину, прокляль ее, онъ проклялъ и жизнь: «родясь на свътъ, мы плачемъ: горько намъ къ комедіи дурацкой приступаться». Никто изъ актеровъ этой комедіи, въ которой намъ стыдно и горько участвовать, ни въ чемъ, по Лиру, не виноватъ: только тамъ, гдѣ есть смыслъ, можно говорить о чьей-нибудь отдѣльной винѣ,—а въ общей преступности и безсмыслицѣ, этомъ порожденіи женщинъ, лучше всего разрубить Гордіевъ узелъ провозглашеніемъ Лира: «нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ». Король сумасшедшій, такъ осуществляетъ онъ свое королевское право помилованія: онъ распространяеть его на все и всѣхъ,—высшая степень осужденія, кары и насмѣшки!

Женщины отняли умъ у Лира, женщина и вернула его Лиру. Онъ исцеленъ быль любовью Корделіи. Нежная и кроткая, она музыкой и поцёлуями своихъ устъ пробудила его отъ сна, отъ сумасшествія, и онъ всталь со своего одра просвътленный, умиленный, слабый, какъ ребенокъ, и трогательно просилъ Корделію забыть и простить, и помнить, что онъ старъ и слабъ. Вызванный къ новой жизни, Лиръ понялъ, что она-его единственное дитя, что у него только одна дочь (онъ такъ энергично отвергаетъ женственное, деликатное, сестрино нредложение повидаться съ другими дочерьми); и въ такомъ онъ былъ настроеніи, такъ мечталь онь даже въ стенахъ темницы петь съ Корделіей тихія ивсни, разсказывать ей и отъ нея выслушивать сказки, такъ отдался онъ сладостной идилліи отцовскаго чувства, что вамъ кажется, будто не только самъ онъ второй разъ родился въ міръ, но будто и Корделія только что родилась и онъ только что ее узналь. Это-медовый мъсяць отцовской любви, это-праздникь ньжности, чистыйшая картина чистыйшей ласки на вемлы, этосоюзъ, котораго теперь уже не могуть расторгнуть никакія силы въ міръ.

Никакія силы въ мірѣ—даже смерть. Она пришла, и было нѣсколько мгновеній, когда около мертвой Корделіи Лиръ былъ еще живой. Но это продолжалось именно лишь нѣсколько мгновеній,

послѣ которыхъ отецъ и дочь возсоединились въ общей смерти. Родившій и рожденная, другъ другу обязанные жизнью (вѣдь и жилъ король Лиръ для Корделіи, для любимой дочери своей), они вмѣстъ и ушли изъ жизни.

Это было самое трагическое зрелище на свете, и недаромъ при видъ его воскликнулъ Кентъ: «Насталъ послъдній день для міра!» Ибо такъ странно, что послѣ какого-нибудь потрясающаго несчастья міръ, какъ ни въ чемъ не бывало, все еще продолжается. Какъ можеть онъ существовать, когда надъ чьей-либо головою разразилось непоправимое, ужасающее страданіе? Міръ живеть незаконно. Въ развалины должна бы превратиться сама природа, послетого какъ разъиграется трагедія Лира. Но ньть: «живуть собака, лошадь, крыса», — въ Корделіи же дыханья нъть, и Лиръ не Богь: онъ лишь однажды вдохнуль въ нее жизнь, лишь однажды даль ей дыханье, -а вернуть его онъ не въ силахъ, пусть и держить онъ ее въ своихъ отцовскихъ объятіяхъ, пусть и жаждетъ онъ изъ старыхъ жилъ своихъ въ нее перелить свою кровь, ей отдать последніе замирающіе огни собственной жизни. Умерла Корделія, умолкла она, — а быль у нея «нъжный, милый, тихій голось большая прелесть въ женщинъ», голосъ шекспировскихъ женщинъ. Она не воскреснеть, она никогда больше не заговорить, и Лиръ повторяетъ свое знаменитое «никогда, никогда, никогда, никогда!» самое страшное и непостижимое въ своей абсолютности человъческое слово, то, передъ которымъ изнемогаетъ и нѣмѣетъ чуждый абсолютности человъческій умъ. И къ Лиру возвращается его безуміе, и совстмъ овладтло бы оно имъ, если бы отъ безумія не спасла его смерть. Въ немъ тоже остановилось дыханіе, онъ сталъ задыхаться («пожалуйста, воть пуговицу эту мить отстегните. Сэръ, благодарю вась!»), и, последніе взоры свои бросая на бездыханныя уста Корделіи и ко встить взывая смотрть на нее, онъ упаль мертвый около мертвой дочери.

Такъ кончилъ свое царствованіе славный король Лиръ. А вѣрный слуга его Кентъ, его неизмѣнный спутникъ по жизни и смерти, не зря сказалъ, что наступилъ послѣдній день для міра: Кентъ не переживетъ своего короля и вслѣдъ за нимъ отправится скоро въ свое послѣднее скитаніе, въ то путешествіе, послѣ котораго дальше уже некуда идти.

Кончина Лира такъ естественна и даже физически необходима. Но почему, за что умерла его дочь? Извъстно, что нъмецкая философская критика искала въ этой смерти проявленія такъ называемой поэтической справедливости. Съ нашей точки зрънія, при скромномъ свътъ нашей личной гипотезы, эта смерть не возмездіе, и справедливости въ д'Ел Е Корделіи не за что было заступаться, — но все же смерть нашей кроткой героини, въ своемъ высшемъ смысль, свидьтельствуеть о внутренней несоединимости типовъ дочери и жены, о невозможности примирить въ единой любви, въ синтез'в высшаго равенства, чувство къ отцу и чувство къ мужу. Корделія умерла потому, что она эту невозможность хотьла осуществить. Корделія умерла потому, что она осталась невърна собственному отвёту на первый трагическій вопрось Лира о сил'в ел дочерней любви. Корделія умерла потому, что она котъла соединить природу тамъ, гдъ природа раздваивается. На нашъ взглядъ. не случайно, а символично, то, что мужа Корделіи, французскаго короля, не было при ней, когда она съ войскомъ Франціи явилась въ Британію на защиту отца: король, ея супругъ, неожиданно вернулся домой, -- онъ вспомнилъ о какихъ-то важныхъ незаконченныхъ дълахъ, и вообще его присутствіе на родинъ оказалось необходимо. Сама Корделія говорить, что она печалью и обильными слезами умолила своего супруга начать войну для защиты ея отца. Она должна была умолять объ этомъ. И здёсь нётъ ничего страннаго: то, что отецъ ревнуеть къ зятю, то, что, какъ замътилъ нашъ Толстой, мать всегда испытываеть недоброжелательство къ будущему семейному счастью своей дочери, -- это лишь невольная и безсознательная зависть смерти къ жизни, конца къ началу, это означаетъ лишь, что жизнь уходящая и жизнь приходящая, отливы и приливы мірового моря, не могуть слиться въ единой гармоніи. Отецъ уходитъ, мужъ приходитъ; отецъ-прошлое, мужъ-начало будущаго; отець, это уже предокъ, мужъ-созидатель потомства: такъ смотрять они въ противоположныя стороны, отмирающее и рождающееся, старое и новое, -- и неудивительно, что дочь стихійно и властно склоняется къ последнему. Корделія же хотела сохранить равновёсіе, сочетать въ своемъ сердцё отца и мужа, прежнюю родину и новую, Британію и Францію, положить конецъ войнъ Алой и Бълой Розы: не естественно ли, что это оказалось невозможнымъ и за свою попытку она заплатила собою, осталась безъ мужа и безъ отца, -- безъ самой жизни? Она хотъла избъгнуть борьбы и трагедіи, она возмечтала о миръ; но трагедія по существу неизбъжна, и кто посягаеть на нее, тоть все равно, хотя бы и на другомъ пути, непремънно встрътитъ предъ собою то, чъмъ она кончается: смерть.

Та въчная измъна дочери отцу, которую тщетно хотъла предотвратить благородная Корделія, была смѣло совершена другою шекспировской дочерью,—Джессикой, которая и сразила этимъ сердце своего родителя, Шейлока, венеціанскаго купца.

Венеціанскій купецъ.

Шейлокъ дов'врилъ Джессик'в свои ключи, — трагическіе ключи Скупого Рыцаря. Этого никогда бы не сделаль последній по отношенію къ сыну Альберу: пушкинскій баронъ не върилъ въ свою семью, еврей же, признанный семьянинь, въ дочери не сометвался, считалъ ее своею единомышленницей и въ ней виделъ живое продолженіе своей ненависти къ христіанамъ, своего израильскаго духа. И въ этомъ онъ жестоко ошибся. Наследникъ еврейской традиціи, національнаго терпінія, которое изъ поколінія въ поколініе, какъ лучшій кладъ свой, накопляль его народъ, Шейлокъ надіялся, черезъ дочь свою, передать это наследіе дальше, внести и свою человъческую лепту въ сокровищницу зъковой преемственности. — но его дочь порвала эту нить, прервала традицію, измінила не только отцу, но и племени. Джессика въ родной исторіи образовала какой-то зловещій проваль и пустоту. Она отняла у Шейлока будущее, она не дала ему стать предкомъ, она вычеркнула его имя изъ древней хартіи еврейства. Она, оказывается, стыдилась быть его дочерью, —и воть, бъжала изъ его дома, изъ его «ада», съ христіаниномъ. Ее увлекла любовь; но такъ какъ она была дочь Шейлока, то она похитила и его червонцы, осквернила свое чувство золотомъ и показала тъмъ (незамьтно для Шекспира), что внутренне бъжать отъ Шейлока ей не удалось...

Похищенные червонцы, это для венеціанскаго купца—глубокая рана; однако весь ходъ трагедіи выясняеть, что отецъ и еврей преобладаль въ Шейлокъ надъ ростовщикомъ. Золото наживать онъ умълъ, слишкомъ умълъ, и онъ нашелъ бы средство заполнить временную пустоту своихъ сундуковъ. Гораздо трагичнъе для него внутренняя опустошенность, --- то моральное разореніе, которое произвела въ немъ Джессика. Всв эти страданія отцовъ, у которыхъ возлюбленные отнимають дочерей, всв муки Лира и Брабанціо, и нашего Кочубея бладнають передъ терзаніями Шейлока, потому что къ обычной драмъ отцовскаго сердца здъсь присоединяется еще особая обида — за религію, за народъ, за исторію. Когда Лорендо и Джессика въ дивную ночь сидели на той скамье, где «сладко спало сіяніе луны»; когда тихой музыкой своихъ влюбленных сердецъ они вторили музык небесных сферъ и казалось имъ, что каждый золотой кружокъ звъзды поеть какъ херувимъ и что гармоніей подобною исполнены и наши безсмертныя души, по только мы ея не можемъ слышать, мы эту музыку лишь предчувствуемъ, пока душа безсмертная живетъ въ насъ подъ грубою и тленною одеждой тела, пока она, удерживаемая грузностью Калибана, тягот вніемъ земли, еще не поднялась на чиствишія высоты Аріэля; когда они, перебивая нажно другь друга, шептали: «въ такую ночь, какъ эта...» и рисовали себъ картины поэтической любви, чужой и собственной, --тогда имъ следовало бы, но невозможно было, припомнить и то, что въ такую ночь, какъ эта, не только со своимъ любезнымъ Джессика бѣжала, не только ее любить Лоренцо юный клялся и клятвами онъ сердце у нея укралъ и обманулъ, не только Джессика-малютка, обидчица-шалунья, клеветала на милаго и милый ей простиль, — но и «въ такую ночь, какъ эта», совершилось оскорбленіе народа, поруганіе отца, нарушеніе запов'єди. Это сл'єдовало бы имъ припомнить, но было для нихъ невозможно, потому что настоящее не хочетъ оглядываться на прошлое, дочери нътъ дъла до отца и смъется надъ исторіей и традиціей любовь. И «въ такую ночь, какъ эта», и въ эту самую ночь, одинокій Шейлокъ, не смыкая своихъ старыхъ глазъ, терзалъ свое отцовское сердце и думалъ о томъ, что некому больше передать наследіе своей національной ненависти, и оплакиваль дочь, единственную утёху своей еврейской жизни, единственное безкорыстіе своего торгашескаго быта, единственную свою надежду на безсмертіе въ преданіяхъ Израиля, въ грядущемъ свиткъ народныхъ лътописей, — а Джессика и Лоренцо продолжали униваться любовью и музыкой, и это дало поводъ Шекспиру показать, какъ много въ немъ поэзій, красоты, лиризма, какъ художественно изображаеть онъ не одни потрясающія событія, но и тонкіе оттынки душевныхъ состояній. Джессикъ грустно при звукахъ музыки, и Лоренцо говорить ей, что все смиряется и приходить въ умиление отъ сладостной силы мелодій, что н'ять на земл'я такого жестокаго существа, въ которомъ хотя на часъ одинъ онъ не могли бы совершить переворота:

> Кто музыки не носить въ самомъ себъ, Кто холоденъ къ гармоніи прелестной, Тотъ можетъ быть измѣнникомъ, лгуномъ, Грабителемъ; души его движенья Темны, какъ ночь, и, какъ Эребъ, черна Его нріязнь. Такому человѣку Не довѣряй.

(Переводъ Вейнберга).

Такъ волнамъ внѣшней и внутренней музыки отдаются они и не думаютъ о Шейлокѣ; идиллія равнодушна къ трагедіи. И они правы, какъ права всякая юность и всякая любовь. Въ спорѣ Шейлока и Джессики всѣ, кто за музыку, будутъ на сторонѣ дочери, а не отца.

Но къ Шейлоку предъявляется и другое, грозное обвиненіе:

передъ трибуналъ человъчества привелъ его Шекспиръ для того, чтобы оно разсудило его съ Антоніо, съ христіанствомъ вообще. Джессика не ушла бы отъ своего отца, если бы не было той почвы, на которой могъ зародиться этотъ кровавый конфликтъ между Антоніо и Шейлокомъ.

Какъ бы ни смотрѣлъ самъ великій авторъ на свою пьесу и ея замыселъ, читатели выносятъ такое впечатлѣніе, что она представляетъ собою апооеозъ не Антоніо, а Шейлока. Апооеозъ ростовщика? Да, но именно потому, что ростовщикъ преодолѣлъ самого себя и въ высшемъ, очистительномъ огнѣ «святой мести» и ненависти сжегъ свое ростовщичество. Шекспиръ безсознательно для себя совершилъ нѣчто великое: онъ освободилъ Шейлока отъ торгашества и въ мірѣ купцовъ, венеціанскихъ купцовъ, поставилъ его образъ на трагическій пьедесталъ.

Ростовщикъ—всякій, кто беретъ больше, чѣмъ даетъ. И потому Антоніо правъ, когда онъ отвергаетъ всяческую лихву и презираетъ ея спеціалистовъ.

Обыкновенья

Итьть у меня ни брать, ни одолжать, Чтобъ не платить и не взимать процентовъ.

Можеть быть, Аптоніо (которому, при всей незначительности и невыразительности его облика, Шекспиръ придалъ черты гамлетизма и меланхоліи) — можеть быть, Антоніо вообще думаеть, что каждый, требующій обратно долга и процентовъ, каждый ростовщикъ является уже убійцей: онъ посягаеть на кровь, на мясо, на сердце своего должника.

Но у Шейлока есть своя философія и своя поэзія роста: онъ ссылается на библейскій разсказъ о Іаковѣ, который хитростью помогъ самой природѣ создать побольше пестрыхъ овецъ, обѣщанныхъ ему изъ стада Лаванова. Для Шейлока прибыль — благословеніе неба; оттого Антоніо, самъ купецъ, но возстающій противъ торговли деньгами, отнимаетъ этимъ у Шейлока все его міровоззрѣніе, его религію и смыслъ его существованія, подканываетъ въ самомъ основаніи его физическій и моральный домъ: вѣдь міровая исторія для еврея Шейлока сложилась такимъ образомъ, что средства къ жизни стали для него цѣлью жизни, подмостки, на которыхъ надо только разънграть пьесу, сдѣлались невольно самою пьесой. Именно въ связи съ этимъ Шейлокъ не можетъ простить Антоніо, что онъ—расточитель, мотъ (это самыя бранныя слова въ устахъ скупого ли рыцаря, скупого ли ростовщика). Вотъ почему для венеціанскаго еврея уже то — большой праздникъ и

тріумфъ, что Антоніо, его принципальный и личный врагъ, вынужденъ отказаться отъ своего принципа и, для того чтобы выручить пріятеля, обращается за помощью къ ненавистной ему личности ростовщика—къ тому самому Шейлоку, котораго онъ ругаль исомъ, отступникомъ, злодѣемъ, на чей плевалъ кафтанъ жидовскій, которому давалъ нинки, какъ псу чужому. И оплеванный, униженный, избитый Шейлокъ саркастически говоритъ Антоніо:

Да развѣ же имѣетъ деньги песъ? Да развѣ же возможно, чтобъ собака Три тысячи червонцевъ вамъ дала?

Однимъ сарказмомъ Шейлокъ, однако, своей мести утолить не можеть, и въ этомъ-его величе. Отъ постоянной близости къ золоту онъ точно перенялъ не только его отрицательныя черты, но и его выразительность, его превосходство. Характерно, что Бассаніо, при выбор'в шкатулокъ Порціи, отвергаеть серебряную, такъ какъ «серебро — посредникъ пошлый, бледный между людей». Въ «Венеціанскомъ купців», пьесів, гдів такую важную роль играють металлы, интересно отмътить эту характеристику серебра: дъйствительно, оно «блъдно, пошло»; оно, бълесоватое, —только намекъ на драгоцънность, первая слабая степень и предварение драгоцънности, во всякомъ случав-не болве, чвмъ средина, то, что не очень дорого. Золото же, безспорное, безцівнюе, гордое, способствуєть дерзновеніямь духа и живеть на малодоступной высоть. Какъ разъ оно и воспитало Шейлока, какъ разъ оно и научило его требовать дорогого, знать во всемъ однѣ высокія цѣны и не признавать никакихъ уступокъ. Среди бладныхъ, среднихъ, незавершенныхъ онъ одинъ ярокъ, последователенъ и глубокъ. Онъ одинъ только уметть ненавидъть. Рыцарь ненависти, ея геній, онъ это чувство переживаетъ всей напряженностью своего существа, онъ знаетъ восторгъ ненависти и доводить ее до ея неизбъжнаго психологическаго конца-до убійства. Его презпрали,--на презрѣпіе мелкое онъ отвътилъ ненавистью; его называли собакой, — онъ сталъ волкомъ. Ничего половиннаго и умъреннаго онъ не хочетъ; огромные проценты, которые онъ береть за ссуды, онъ распространяеть и на самую жизнь и людей; онъ взыскиваеть съ нихъ безпощадно. Не всякій можеть сподобиться ненависти, — Шейлокъ достигъ ея жуткой вершины.

Какъ будто бы всѣ убиваютъ тѣхъ, Кого они не любятъ?

сердито спрашиваетъ его Бассаніо, а Шейлокъ справедливо отвѣчаетъ на это недоумѣніе теплой, ненапряженной, блѣдно окрашенной души, что кто пе убиваетъ, тотъ не ненавидитъ: А какъ будто Мы ненависть питать способны къ тѣмъ, Кого убить желанья не имѣемъ?

Ненависть обязываеть. «Чувствуйте до конца» какъ бы говорить Шейлокъ христіанамъ, и онъ имфетъ на это право, потому что самъ онъ ни предъ чъмъ не останавливается и ради своего чувства, ради своей ненависти, не остановился даже предъ самимъ собою, пошель противь собственной природы, заглушиль въ себъ свое ростовщическое ядро и пересталь быть венеціанскимь купцомь: смыслъ и радость его жизни были въ деньгахъ, — и деньги онъ отвергъ; кровь оцениль онъ выше золота, величайшей драгоценностью призналь онь фунть ненужнаго человъческаго мяса и, преодолъвая свою годами и въками воспитанную корысть, не захотъль промънять его на цёлыя груды червонцевъ, которыя ему предлагали. Покуда для Шейлока была еще открыта возможность выбора, только сердце Антоніо, только его кровь, только его смертная бліздность и тоска нужны и желанны были ему, и ко всемъ сокровищамъ міра, къ золоту и богатству, извлеченному изо всёхъ нёдръ земли, изо всёхъ розсыней Голконды, остался бы теперь презрительно - равнодушенъ этотъ жрецъ золотого тельца, этотъ богомолецъ денегъ, этотъ жадный жидъ. Можетъ ли быть побъда большая, чъмъ эта, можетъ ли осуществиться моноидеизмъ болбе властный, духовная сосредоточенность болье глубокая? Лишь когда увидьль Шейлокь, что жизни Антоніо ему не отдадутъ, лишь тогда, временно уступая ростовщическому элементу своей природы (или грубой авторской воль?), онъ попросиль въ уплату денегь, много денегь. Но это-деталь, не искажающая его истиннаго облика. Въ ореолъ своей требовательности, въ красотъ своей неумолимости, съ ножомъ въ рукъ, стоить передъ нами Шейлокъ, какъ ангелъ мщенія, какъ Въчный Жидъ, который остановился, наконецъ, и занесъ карающую десницу надъ виновниками своего безмфрнаго скитальчества, своихъ тысячелфтнихъ страданій и нечеловъческой усталости. Какъ же могутъ разжалобить Шейлока всв эти увъщанія христіанъ, всь эти приторные призывы къ гуманности и упреки вялыхъ сердецъ? Онъ не удостаиваетъ даже объяснять мотивы своего кровожаднаго желанія: онъ попросту въ уплату векселя хочеть не денегь, а крови, -- онь такъ хочеть, это его прихоть, его капризъ: It is my humour.

Ненависть Шейлока принимаеть еще болье грандіозныя очертанія потому, что она имьеть не только субъективный характерь венеціанскій купець ненавидить не за одного себя. Онь въ личности своей воплотиль цыльй народь, онь отожествиль себя со своей націей и въ себь концентрироваль ея историческую скорбь,

то, что можно назвать Judenschmerz. Онъ явилъ высокій образець такой индивидуальной жизни, которая въ то же время символизируетъ жизнь общую; Шейлокъ поднялся надъ обычной людскою частичностью и обособленностью. Народный мститель, старый трибунъ своего племени, еврей евреевъ, онъ съ новою силой повторилъ ихъ многовѣковый вопль, ихъ несмолкающій стонъ: «Да развѣ у жида нѣтъ глазъ? развѣ у жида нѣтъ рукъ, органовъ, членовъ, чувствъ, привязанностей, страстей?.. Когда вы насъ колете, развѣ изъ насъ не идетъ кровь? когда вы насъ щекочете, развѣ мы не смѣемся? когда вы насъ отравляете, развѣ мы не умираемъ, и когда вы насъ оскорбляете, то развѣ мы не мстимъ?»

Ни за себя, ни за свой народъ Шейлоку отомстить не суждено было. Адвокатской діалектикой ухищреній, презрѣнной ловкостью подъячаго его побѣдили. Ножъ выпалъ изъ его рукъ, и старый утомленный Агасееръ опять ушелъ въ свои безнадежныя и безцѣльныя скитанія, опять началась его страдальческая эпопея.

Позвольте мнъ уйти. Нехорошо Я чувствую себя,

просить Шейлокъ. Ему нехорошо, онъ заболель, —быть можетъ, и умретъ: ему больше нечего делать въ Венеціи, на свете вообще.

Но судомъ неправымъ, его банальностью, Шейлокъ побъжденъ только физически: нравственно же онъ можетъ считать себя побъдителемъ, такъ какъ онъ пріобрълъ себѣ право не только ненавидьть, но и презирать христіанъ. Антоніо, погружаясь въ самыя низины пошлости (опять пезамѣтно для Шекспира), требуетъ, чтобы Шейлокъ сейчасъ же крестился (he presently become a Christian), т.-е. показываетъ этимъ кощунствомъ, что самъ онъ не христіанинъ и что мертвыя формы выше для него, чѣмъ духъ живой. Жизнь и духъ на сторонѣ Шейлока, а не его гонителей. Они заслужили его ненависть и, что еще страшнѣе, его презрѣніе; и если христіанство, это—паеосъ и страданіе, это — возрожденіе и обращеніе Савла въ Павла, то Шейлокъ ближе къ смыслу христіанства, чѣмъ они, его жалкіе побѣдители, чѣмъ ихъ безцвѣтныя и мертвыя души...

Отелло.

Какъ и всѣ произведенія Шекспира, эта пьеса, изъ которой глядить на насъ своими «зелеными глазами» чудовище ревности, породила особую литературу; но и вся она, огромная, не могла рѣшить неразрѣшимой проблемы, которую поставили Шекспирь и Пушкинъ:

Зачёмъ арапа своего Младая любитъ Дездемона, Какъ мъсяцъ любитъ ночи мглу?

Нашъ поэтъ на собственный вопросъ свой ответилъ, что «сердцу дъвы нътъ закона», и вотъ это беззаконіе души, эту «беззаконную комету въ кругу расчисленномъ свътилъ», великій драматургъ написалъ со свойственной ему огненностью и въ такой исчерпывающей психологической разработкъ, которая изумляеть даже у него. Онъ сдёлаль Яго тонкимъ психологомъ, для того чтобы показать самое нарастаніе страсти, муку сомнінія, медленное отравленіе одной души другою. И такъ нарисована внутренняя необходимость ревности Отелло, что внёшніе моменты, на которыхъ зиждется драма, чудовищный характеръ Яго и злополучный платокъ, отходять на самый последній планъ и нисколько не заслоняють собою роковой неизбъжности душевныхъ событій. Этого результата Шекспиръ достигъ тъмъ, что мужское и женское онъ какъ бы нарочно взялъ въ ихъ предъльной потенціи. Онъ далъ картину, которая называется: черное и золотое. Мгла мужчины и лунное сіяніе женщины нашли себъ у него воплощение, соотвътственное этой внутренней полярности: у него мужчина -- мавръ, а женщина -- золотая венеціанка, съ волосами Береники. «Овечка бълая» тяготъеть къ «груди черной, какъ сажа». Отелло — «угль, пылающій огнемъ»: и вотъ, страстный, темный, сильный очарованъ бълокурой, нъжной, хрупкой. Для того чтобы весь этотъ контрастъ быль еще разительнъе, Отелло воинъ, т.-е. мужчина по преимуществу, а Дездемона предана своей женской стихіи-хозяйству, и разсказамъ Отелло не можетъ она внимать подолгу, отвлекаемая домашними заботами. Никогда еще на поприщъ страсти, во всъхъ романахъ вселенной, въ міровой исторіи любви, герой и героиня не были такъ противоположны другъ другу, и никогда еще не соединяло ихъ такое мощное влеченіе. Это не мечтательная тоска стверной сосны по прекрасной пальм' юга: это — дикое безуміе инстинкта, это — стихійная воля, которая сильнъе смерти и передъ смертью не побледнъетъ въ своемъ огневомъ стремленіи. Напрасно отецъ Дездемоны, Брабанціо, ея увлеченіе Отелло такъ настойчиво объясняль колдовствомъ: нътъ, чары влюбленнаго мавра были естественны, и произошла здъсь магія самой природы. Къ обаянію войны присоединилось для женщины волшебство разсказа. Отелло не только сражался, но онъ и разсказывалъ о своихъ сраженіяхъ. Есть чтото прекрасное во всякой разсказанной жизни. А здёсь, въ этихъ звукахъ мужского слова, - какая необыкновенная жизнь, какой водовороть опасностей и скитаній! Яркая сказка о были, фантасмагорія

дъйствительнаго міра, который весь лицомъ къ лицу видълъ и нерестрадалъ Отелло!

She lov'd me for the dangers I had pass'd, And I lov'd her that she did pity them.

Она меня за муки полюбила, А я ее—за состраданье къ нимъ.

(Переводъ Вейнберга.)

За муки мужчины, за трудный подвигъ войны и дальнихъ дорогъ женщина отдала свое состраданіе и любовь, увѣнчала воина и разсказчика,—прекрасная, ему на Кипрѣ представшая Кипридой. Его лицо увидѣла она въ его душѣ (I saw Othello's visage in his mind),— не то черное лицо, которое было явно для всѣхъ, а тотъ бѣлый и чистый, благородный и мужественный ликъ, который открылся ей одной въ благословенномъ ясновидѣніи любви. Величіе Дездемоны— въ томъ, что она въ свою красоту сумѣла претворить чужое уродство и этимъ поднялась надъ различеніями природы, которая на своей палитрѣ выбрала для мавра и венеціанки такія несходныя краски. Преодолѣніе безобразія, побѣда надъ чернотой, преображеніе человѣческое— въ этомъ вѣдь и заключается одна изъ самыхъ глубокомысленныхъ и геніальныхъ сторопъ шекснировской трагедіи.

Такъ съ разныхъ концовъ вселенной услышали и позвали другъ друга Отелло и Дездемона. Но для того чтобы откликнуться на зовъ любви, Дездемона должна была уйти отъ Брабанціо, какъ Джессика отъ Шейлока, какъ Марія отъ Кочубея, какъ всякая дочь отъ всякаго отца. Тамъ, гдѣ природа раздваивается (I do perceive here a divided duty—говоритъ Дездемона), гдѣ въ сердцѣ возникаетъ борьба между дочерью и любовницей, неизмѣнно побѣду одерживаетъ послѣдняя. И какъ мы уже сказали въ другомъ мѣстѣ, поэзія лишилась бы одного изъ своихъ идеальныхъ образовъ, и безъ покорной дочери, безъ Антигоны, въ гнетущей слѣпотѣ блуждалъ бы одинокій Эдинъ, если бы Антигона имѣла возлюбленнаго.

Измѣнить отцу естественно, но все же это чревато скорбью. И надъ невинной златокудрой головою Дездемоны склонилась тѣнь могилы и проклятія именно въ то мгновеніе, когда оскорбленный и обманутый отець зловѣще предостерегъ Отелло, что Дездемона обманетъ и его; недаромъ среди тѣхъ адскихъ петель, которыя надъ жизнью супруговъ неуклонно сплеталъ «честный» Яго, было и его напоминаніе Отелло, что Дездемона сумѣла вѣдь обмануть и своего отца, нисколько не подозрѣвавшаго о ея любви къ мавру. Не выдержалъ Брабанціо, что дочь его, бѣлая голубка, покоится на смуглой груди,

и умеръ онъ. Недолго послѣ этого жила и Дездемона; недолгую пѣсню спѣла она про иву, зеленую иву,—и скоро убилъ ее тотъ, кто ее любилъ.

Это—обычная трагедія, мотивъ такой извѣстный: мы убиваемъ то, что любимъ. Отелло сначала не хотѣлъ этого, и въ благородномъ самоотреченіи, мысленно обращаясь къ мнимой измѣнпицѣ, онъ говорилъ:

О, если я найду, что ты, мой соколъ, Сталъ дикъ, твои я путы разорву,— Хоть будь онъ изъ струнъ моихъ

сердечныхъ---

И Богъ съ тобой: лети куда захочешь!

Но онъ не отпустилъ сокола, а задушилъ его, потому что «чудовище съ зелеными глазами» питается только смертью, ничъмъ инымъ его голода не насытишь и потому что иначе поступить противоръчило бы натуръ мавра. Отелло хотълъ быть Гамлетомъ, но не могъ. Онъ размышлялъ, но его мыслъ потонула въ его страсти или сгоръла «подъ небомъ Африки моей». Когда, въ послъднемъ актъ, онъ стоитъ у ложа спящей Дездемоны и колеблется въ своей ръшимости, и говоритъ свой проникновенный монологъ, невольно возникаетъ иллюзія, что передъ нами—принцъ датскій. Гамлетъ размышлялъ о своей жизни и смерти, Отелло—о чужой: «быть или не быть?» спрашивалъ Гамлетъ; «убить или не убить?» сомнъвался Отелло. И больше Гамлету, чъмъ Отелло, принадлежатъ вотъ эти мысли и слова чернаго полководца:

Задуть свѣчу, а тамъ... Задуть свѣчу? Когда тебя, мой огненный прислужникъ, Я загашу, то, если въ томъ раскаюсь, Могу опять зажечь; но загасивъ Свѣтильникъ твой, чудесное созданье, Прекраснѣйшій природы образецъ, Найду ли гдѣ я пламя Прометея, Чтобъ вновь зажечь потухшій твой огонь? Я не могу, сорвавши розу, снова Ей возвратить растительность! она Должна увянуть.

И все-таки онъ погасилъ свъчу и сорвалъ розу, въ послъдній разъ упившись ея сладкимъ дыханьемъ; но прежде чъмъ убить Дездемону, онъ убилъ въ себъ Гамлета. Катастрофа была необходима. Въдь такъ недавно еще стоялъ онъ на самой высотъ гармоніи и счастья,—

могло ли не быть страшно для него и для другихъ паденіе оттуда? Въдь еще недавно Отелло даже умереть хотъль отъ полноты блаженства, такъ какъ его человъческое солнце достигло своего зенита,--и сразу, отравленный словеснымъ ядомъ Яго, съ этой солнечной вершины онъ былъ низвергнутъ въ неслыханную бездну. Онъ знадъ, онъ самъ говорилъ, что, когда перестанетъ любить Дездемону, въ его душт воцарится хаосъ. Былъ онъ раньше космосъ, шока въриль; быль онь закончень и прекрасень, и увънчань любовью. Яго вернуль его къ первобытному, до-міровому хаотическому состоянію, сделаль изъ него Калибана, — благородный полководець не только убиль, онь и удариль Дездемону. Отелло съузился: онь пересталь быть воиномъ, разсказчикомъ, человъкомъ, — передъ нами только оскорбленный и обезчещенный мужчина. Правда, отъ духовной уменьшенности его, какъ и другихъ героевъ Шекспира, то спасаеть, что моноидеизмъ его идетъ въ глубину и дышитъ патетически - напряженной силой, — но все же съ широкимъ міромъ, съ прежней полнотою переживаній Отелло прощается:

Простите вы, пернатыя войска
И гордыя сраженія, въ которыхъ
Считается за доблесть честолюбье,—
Все, все прости. Прости, мой ржущій конь,
И звукъ трубы, и грохотъ барабана,
И флейты свистъ, и царственное знамя,
Всѣ почести, вся слава, все величье
И бурныя тревоги славныхъ войнъ!

Міръ для Отелло сосредоточился на предательствъ Дездемоны, міръ сдѣлался для него не больше того рокового платка, который навѣки вошель въ память читающихъ людей, какъ мнимое вещественное доказательство измѣны, какъ трагическое реальное доказательство человъческой скорби и слѣпоты...

И уже хаосъ реальный, не только въ душѣ мавра, но и кругомъ него, наступилъ тогда, когда мавръ убилъ. Это понятно: всякое убійство—не что иное, какъ возвращеніе первобытнаго хаоса; опять перемѣшиваются стихіи, рычитъ Калибанъ, неистовствуетъ великій Безпорядокъ:

My wife! my wife! what wife?—I have no wife: O, insupportable! O heavy hour!

Моей женой, моей женой! Какой? Нътъ у меня жены. О, тяжело! О, страшный часъ! о, часъ невыносимый! Мить кажется, сейчасъ луна и солнце Затмятся совершенно, и земля Отъ ужаса подъ нами затрясется...

Пушкинъ сказалъ про Отелло, что онъ не ревнивъ, а довърчивъ. И дъйствительно, недаромъ Дездемона совсъмъ не считаетъ его ревнивымъ и думаетъ, что солнце его страны выжгло въ немъ всъ подобныя страсти. Убивая Дездемону, Отелло какъ бы заступается не за себя одного: громко звучитъ на всемъ протяженіи драмы тотъ мотивъ, что мавръ отомщаетъ не только свою поруганную въру, но и попранную общую правду. Дездемона была для него не только любовью, но и религіей: разочароваться въ ней и значило для него разочароваться въ Богъ, превратить свой космосъ въ хаосъ, увидъть адъ на мъстъ рая.

If she be false, O, then heaven mocks itself,—I'll not believe't.

...О, если лжива ты, Такъ надъ собой самимъ смѣется Небо! Нѣтъ, не хочу я върить этой мысли.

Если лжива Дездемона съ ея правдивыми, ясными глазами, то это значить, что Небо иронизируеть надъ самимъ собою, что вселенною управляеть такой Богъ, который скептически относится къ себв и своимъ тварямъ и не уважаеть самого себя.

Отелло объективенъ въ самой субъективности своей, въ самомъ горѣніи своего личнаго духа. Если онъ измѣнницу не убъетъ, она еще многихъ обманетъ. Она въ его глазахъ—дьяволъ; слезамъ ея онъ не вѣритъ;

Когда бъ земля беременъть могла Отъ женскихъ слезъ, то каждая слезинка

Рождала бы навърно крокодила.

Это звучить по-гамлетовски; это — «ничтожность, женщина, твое названье»; это — обобщеніе, такое обычное для того, чья поколеблена и нарушена вѣра въ природу и ея преимущественную воплотительницу — женщину. Отъ разочарованія и обиды, отъ разлуки съ природой Отелло плачеть. «О чемъ, скажи, ты плачешь? Ужели я причина этихъ слезъ?» — кротко спрашиваетъ его бѣдная Дездемона. «Ужасный день!» — восклицаетъ она: за этимъ днемъ наступитъ для нея еще болѣе ужасная ночь, ея послѣдняя и первая ночь (припомните, какое просила она постлать себѣ ложе)...

Да, Отелло не ревнивъ, а довърчивъ. Онъ только не довелъ своей довърчивости до конца; въ этомъ онъ и повиненъ передъ лицомъ поэтической справедливости. И мало замечають, что не онъ типичный ревнивецъ въ пьесъ, а другой: это-Яго. Шекспиръ написалъ его стущенными красками: онъ одарилъ его чрезмърной роскошью пороковъ и потому сделалъ его мене значительнымъ и страшнымъ. чёмь онь могь бы выйти. Даже оть элементарной корысти, оть жадности къ деньгамъ, не избавилъ авторъ своего героя и такъ грубо накопилъ побольше мотивовъ для его низости; между тъмъ слишкомъ достаточно было бы одного. Вѣдь Яго мститъ Отелло и Кассіо за то, что съ ними, по его предположенію, измѣняла ему его жена. И теперь онъ хочетъ только, чтобы Отелло испыталъ тв самыя терзанія, какія въ немъ, Яго, возбуждаеть мысль о неверности жены Эмиліи. Ядъ въ Отелло онъ перелилъ, оказывается, изъ самого себя. И нужно ему, чтобы мавръ разсчитался съ нимъ «женою за жену». Еще и то присоединяется къ побужденіямъ Яго, что онъ любитъ Дездемону, — правда, «не страстною любовника любовью»; значить, у него — усиленная, двойная ревность: къ Отелло ревнуетъ онъ и свою, и его жену. Итакъ, одно и то же чувство пустило разные ростки въ разныхъ сердцахъ: свътлая душа чернаго Отелло и черная душа свътлаго Яго, — каждая по-своему страдала и казнила (хотя замъчательно, что оба они сошлись въ одномъ: и тотъ, и другой убиль свою жену). Страшный и коварный Яго, «полудьяволь», это - объективированныя дурныя стороны Отелло, его отрицательное, его трагическая карикатура; это — змъиные ходы той самой ревности, которой простодушный мавръ, себъ на пагубу, далъ движенье прямое. Характерно, что въ третьемъ актъ Отелло, слова котораго все повторяеть Яго, восклицаеть: «онъ вторить мнь, кака эхо». И нъсколько дальше, когда сраженный полководецъ становится на колени, чтобы произнести свою клятву мести, то рядомъ съ нимъ становится на колени и Яго, - зловещая обезьяна, подражатель человъку, искаженный откликъ и двойникъ благородной души!..

Для всякаго Отелло предостереженіемъ служить Яго; не напрасно именно онъ шепнулъ мавру, что Дездемону надо задушить на ея постели; вообще, не такъ легко и просто, какъ это кажется, отдѣлить субстанцію Отелло отъ субстанціи Яго. И ужъ нехорошую тѣнь, подобіе Яго, бросаетъ на Отелло, на воинскую честь его и прямодушіе, то, что не самъ онъ убилъ Кассіо, а поручилъ это сдѣлать другому, хотѣлъ воспользоваться чужими услугами. Впрочемъ, здѣсь—объясненіе не только въ частомъ у Шекспира отсутствіи моральной тонкости, но и въ томъ, быть можетъ, что свою ненависть и обиду, и месть Отелло долженъ былъ сосредоточить на одномъ

существъ, разръшить свою страсть на одной и убить только одну, только ее, Дездемону. Онъ жилъ и умеръ для одной, какъ Дездемона жила и умерла для одного.

Для того я мавра полюбила, Чтобъ съ мавромъ жить,—

и она могла бы прибавить: чтобъ съ мавромъ умереть.

А ея мужъ и убійца, заколовшись, падаетъ на бездыханное твло Дездемоны и говорить свое последнее любовное слово:

Съ поцѣлуемъ Я убилъ тебя, и съ поцѣлуемъ Я смерть свою встрѣчаю близъ тебя!

Это—новое и послѣднее вѣнчаніе, посмертная свадьба Отелло и Дездемоны. Въ его власти было убить ее, но не разлюбить ее. Въ его власти было убить ее, но онъ не могъ сдѣлать такъ, чтобы она покинула его, своего вѣчнаго мавра. Неугасима свѣча любви. И обвѣнчанные смертью, пройдя таинство убійства и самоубійства, они, такіе близкіе, такіе родные, вошли теперь неразлучной четою въ тотъ міръ, гдѣ нѣтъ ревности, гдѣ нѣтъ низости, гдѣ нѣтъ Яго, — но гдѣ есть неизмѣнные Отелло и Дездемона. Они не могутъ умереть, они не могутъ разорвать своего союза, потому что мѣсяцъ будетъ вѣчно любить ночную мглу и ночная мгла будетъ вѣчно любить свой ясный мѣсяцъ. Не въ ревности, а въ этой нерасторжимости человѣческихъ вѣнчаній и заключается высшая идея той повѣсти, которую передалъ великій трагикъ о маврѣ и венеціанкѣ, о черномъ и золотомъ, что есть въ картинѣ міра и души.

Прежде чѣмъ закололъ себя Отелло, онъ, въ духѣ Шекспира, трогательно попросилъ окружающихъ, чтобы о немъ разсказали,— чтобы въ сенатъ Венеціи написали о немъ правду: Speak of me as I ат. Такъ и сдѣлалъ Шекспиръ: не увеличилъ и не уменьшилъ его вины, разсказалъ о немъ трагическую правду, и она свѣтлымъ ореоломъ осѣнила темнаго Отелло. А бѣлокурая Дездемона въ ореолѣ не нуждается.

Ромео и Джульетта.

Нерасторжимость человъческихъ вънчаній нашла себъ иллюстрацію и въ этой «наипревосходнъйшей и прежалостной трагедіи». Ромео и Джульетта своей любовью побъдили свою смерть. Юные супруги, не разведенные могилой, они больше, чъмъ всякая другая чета, рисуются какъ образъ исключительты о единства, какъ высшая цъльность и преодольніе двойственности. Нельзя мыслить Ромео

безъ Джульетты и Джульетту безъ Ромео. Неразрывной ассоціаціей вошли они въ сознаніе человѣчества, и въ нашемъ мірѣ, который есть ∂ea , трагическая двоица, они осуществили великое $o\partial no$, претворили глубокую разладицу и борьбу началъ въ торжество гармоніи, — подлинное «два во плоть едину» (incorporate two in one).

То, что въ остальныхъ союзахъ, въ иныхъ сунружествахъ, возникаетъ на отдёльныя мгновенія и потомъ разрѣшается разлукой, измѣной и отчужденіемъ сердецъ, они, молодые, недолговѣчные посѣтители земли, ея гости желанные, ея цвѣты мимолетные, воплотили навсегда; они провели короткую жизнь, они пережили только одну ночь, первую и послѣднюю, но именно поэтому ихъ браку суждено было идеальное безсмертіе. Двѣ человѣческія звѣзды, они мелькнули и закатились, какъ одна; до сихъ поръ не умираетъ о нихъ воспоминаніе, и поэтому до сихъ поръ издалека свѣтитъ ихъ дружное созвѣздіе, и общимъ сіяніемъ своимъ оно говорить людямъ объ этомъ соединеніи, объ этой побѣдѣ надъ рознью и множественностью, о совершившемся однажды возвращеніи двоихъ на лоно первоначальной Единицы.

То безиримфрное единство, которое создали Ромео и Джульетта, неизбъжно вытекало изъ самаго характера ихъ любви. Она тъмъ и внаменита въ летописяхъ міровой поэзіи, что ее отличала необыкновенная, совершенно поразительная сила индивидуализаціи. Все то общее, родовое, стихійное, что есть въ любовномъ чувствь, далеко отступило здёсь передъ побужденіями избирательными, передъ тяготъніемъ Ромео именно къ Джульетть и Джульетты именно къ Ромео. Они остановили свой выборъ только другь на другь, несмотря на то множество красоты и молодости, которое ихъ окружало, несмотря на то, что прекрасны были Розалина и Парисъ. Конечно, въ этой исключительности, въ этой капризной и настойчивой индивидуализаціи общаго инстинкта и заключается свойство каждаго отдъльнаго романа; но шекспировские герои довели субъективность и требовательность своего выбора до последней черты, до предёльнаго одушевленія, и кром'в того, они совершили это вопреки необычайно - упорному сопротивленію внішней среды: все ихъ разлучало, и все-таки они соединились; все ихъ дълало врагами, и все-таки они скрестили свои разныя дороги и превратили ихъ въ единый путь общей жизни и общей смерти. Въ мистическихъ предопредёленіяхъ судьбы даже и была эта смерть необходимой карой за то, что, обидъвъ общее, они спеціализировали свои сердца, отвернулись отъ природы, отъ ея целостности, отъ ея пантеистическаго гостепріимства, и во всемъ разнообразіи, во всей безпредъльной широтъ мірозданія, отмежевали себъ вполнъ опредъленный, единственный, слишкомъ частный уголокъ. Во имя одного человъка каждый изъ нихъ, веронскихъ любовниковъ, презрѣлъ все остальное человъчество.

There is no world without Verona walls: Да, міра нътъ за стънами Вероны,—

говорить Ромео: не отомстить ли мірь за эту гордыню и ограниченность? Они слишкомъ полюбили, они слишкомъ выбрали, Ромео и Джульетта, и оттого для нихъ не оказалось мѣста въ такой жизни, которая, осуществляя какія-то общія цѣли, не можетъ чрезмѣрно считаться съ личными и исключительными привязанностями отдѣльныхъ особей и со всею прихотливостью индивидуальнаго выбора.

По отношенію къ Ромео очень важно то, что его выборъ прошелъ черезъ нъкую предварительную стадію, опредълился не сразу и темъ большую пріобрель окончательность и страстность. Мы не видимъ Розалины, но узнаемъ въ началъ трагедіи, что именно въ нее влюбленъ Ромео. Изъ-за нея онъ предается уныпію, походитъ на Гамлета, изъ-за нея онъ сътуеть на тяжкій недугь и противоръчивость любви. Но все время чувствуется, что онъ какъ-то не принимаетъ своего увлеченія въ серьезъ, говорить о немъ слишкомъ охотно и даже оттёнокъ легкой ироніи вносить въ прославленіе своей неумолимой красавицы. Она, оказывается, «стръламъ Эрота вовсе недоступна, суровой чистоты броней ограждена и какъ сама Діана неприступна». Въ этомъ-источникъ неминуемаго разочарованія въ ней. Не то, чтобы она не любила Ромео: она не любитъ никого. А такую нельзя и любить. Ромео жалуется на нее, что она дала обътъ цъломудрія, что, богатая дивной красотою, она въ то же время и бъдна, такъ какъ съ ея смертью умретъ и безцънный кладъ никому не завъщанныхъ очарованій и обътомъ своимъ она лишаеть сокровища всю вселенную:

Измученная пыткою голодной Для міра сгинетъ красота безплодной И красоты лишитъ грядущіе въка.

(Переводъ Аполюна Григорьева).

Всякая дъвственность отнимаеть у будущаго красоту и дълаеть мірь бъднье и блъднье. Оттого Розалина, холодная носительница безплодной красоты, женщина безъ сердца, и не могла долго жить въ сердцъ чужомъ. Къ безлюбовной любовь не можеть быть трагической, и для Ромео лишь то значеніе имъла Розалина, что оттънила собою и подготовила ослъпительное появленіе его истинной избранницы и невъсты, Джульетты. Еще не видъль ея, четырнадцатильтней дъвочки, Ромео, по уже предчувствоваль, что въ ея домъ

надъ его судьбой, волею звъзды его, нависнеть нъчто роковое и неотвратимое, что въ бальной залъ Капулета, въ ночь веселья, произойдетъ событіе, которое въ своемъ продолженіи безвременно порветъ золотую нить его жизни. Юноша одинаково предчувствовалъ любовь и смерть.

Злосчастность его любви была совсёмъ не въ отсутствіи взаимности. Здёсь не произопло, какъ часто у Гамсуна, несовпаденія сердецъ. Напротивъ, едва взглянули они другъ на друга. Ромео и Джульетта, какъ они уже другъ другу принадлежали. Бълой голубкой въ став черныхъ вороновъ показалась юноше юная Джульетта; другія въ его глазахъ создавали для нея темный фонъ, и на лиць ночи сіяла ея красота «какъ дорогой алмазъ въ ушахъ эоіопки». И воть эта бълизна, эта красота, слишкомъ дорогая для земли, для обыденности (beauty too rich for use, for earth too dear), сразу отдалась ему, Ромео, и онъ сейчасъ же поцеловаль эти прекрасныя уста. Мгновеніе опредълило вічность. Была передъ нимъ не Розалина равнодушная, и полюбила его Джульетта. Весь трагизмъ ихъ судьбы обусловленъ именно этой взаимностью и глубиною ихъ загоравшагося чувства, которое, при данныхъ условіяхъ, было такъ неожиданно и неумъстно. Ибо печальная повъсть о Ромео и Джульетть тымь и печальна, что она говорить о существовании не одной міровой силы, а двухъ: она подтверждаеть ученіе Эмпедокла о двуначаліи космоса, о вічной борьбі между Любовью и Ненавистью.

Искони враждовали роды Монтекки и Капулета; и такъ должно было случиться, что полюбили другъ друга Ромео Монтекки и Джульетта Капулетъ. Единственная любовь Джульетты выросла изъ ея единственной ненависти (my only love sprung from my only hate); и, съ другой стороны, Ромео, продолжатель родовой мести, наслѣдникъ традиціонной вражды, уже изъ однихъ побужденій сыновняго чувства, долженъ былъ больше всѣхъ на свѣтѣ ненавидѣть Капулетовъ: такъ изъ любви и ненависти, изъ двухъ эмпедокловыхъ началъ, и соткалась горестная драма Ромео и Джульетты.

Философъ трагедіи, монахъ Лоренцо, должно быть, и самъ быль послѣдователемъ Эмпедокла, и это такъ подходить къ пьесѣ, на которую могъ бы сослаться, въ подтвержденіе своей правоты, греческій мыслитель. Въ Лоренцо есть мудрыя черты Гамлета, и когда онъ высказываетъ свою мысль, что хотя природа и побуждаетъ насъ плакать, по «природы слезы для разума—посмѣшище одно», то ужъ этимъ однимъ онъ намѣчаетъ то пониманіе великаго разлада между природой и разумомъ, между природой и культурой, которое составляеть одну изъ удивительныхъ особенностей Шек-

спира и которое вообще характерно для всякаго, кто проникнутъ сознаніемъ вселенской двойственности. Въ первомъ своемъ монологѣ,
иснолненномъ идей, монахъ такъ вдумчиво говоритъ о космической
двоицѣ. Земля—міровая мать и міровая могила (the earth that's
natures mother, is her tomb); изъ творческихъ нѣдръ своихъ, изъ своей
гробницы, она рождаетъ жизнь и смерть; млеко ея груди питаетъ
ея многообразныхъ дѣтей, и въ каждомъ изъ нихъ непремѣнно перемѣшиваются добрая и злая сила; всякій цвѣтокъ таитъ въ себѣ и
цѣлебное начало, и отраву; и въ человѣкѣ, и въ растеніи одинаково
борются между собою два противоположныхъ властелина: добро и
зло, любовь и ненависть (two such opposed kings encamp them still
in man as well as herbs,—grace, and rude will).

Эту міровую полярность хотѣли устранить отъ себя знаменитые любовники, граждане отнынѣ вѣчной Вероны. Въ ту лунную ночь, которой Джульетта, еще не видя Ромео, повѣдала свою любовь и которая, побѣдивъ своей непосредственной обаятельностью вычуры и краснорѣчивость Шекспира, одинаково принадлежитъ съ тѣхъ поръ и природѣ и поэзіи, міру и литературѣ,—въ эту ночь непреходящую Джульетта, счастливая и несчастная, сѣтовала на то, что Ромео зовется Ромео, что имя, ненавистное имя Монтекки, ввукъ пустой, разрушаетъ всю ея радость и жизнь; и пе зная, что слышитъ ее возлюбленный, она взывала къ нему, безпредѣльно-прекрасная въ своей женственной влюбленности:

Зовись же ты иначе!

О, сбрось ты имя, Ромео, и за имя, Которое—не часть же самого тебя, Возьми ты всю меня.

Romeo, doff thy name! And for thy name, which is no part of thee, Take all myself.

Ромео услышаль это:

Ловлю тебя на словъ... Ты милымъ назови меня своимъ— И я перекрещенъ, и я ужъ больше Не Ромео.

«Call me but love, and I'll be new baptiz'd». Всегда происходить великій анабантизмъ любви. Въ другое имя, въ свое настоящее имя, облекается тотъ, кто полюбитъ. Вотъ почему Ромео такъ радостно готовъ сбросить съ себя свое имя, чтобы получить взамѣнъ Джульетту.

Но здъсь кончается его власть и воля. Имя-наслъдство, и притомъ такое, котораго нельзя не принять. Если еще можно отбросить отъ себя Ромео, то ужъ навърное останется Монтекки, роковой даръ прошлаго, неизгладимая традиція предковъ. Ромео упустиль изъ виду, что онъ живетъ не только за себя, по и за своихъ родоначальниковъ и родичей, за все свое племя. Онъ забылъ, что онъ не одинъ, не самъ по себъ, не замкнутая монада. Какъ Джульетта отдавала ему всю себя, такъ и онъ отдавалъ ей себя всего. — имя и жизнь свою; то, что принадлежало ему, то, что было его, онъ беззаветно и безъ раздумья приносиль къ ногамъ Джульетты; но. имья право на самого себя, какъ на отдъльную личность, онъ не могъ распоряжаться своимъ родовымъ имуществомъ-собою, какъ членомъ рода Монтекки, какъ живымъ звеномъ нѣкоей семейственной цёпи, какъ частью большаго цёлаго. Онъ хотёлъ изолировать себя, выдёлить свою притязательную особь изъ некоторой общности, оторвать свою особую вътку отъ родного генеалогическаго дерева. Этимъ дерзостнымъ выдъленіемъ своей личности, этой индивидуализаціей себя самого, онъ только усилиль ту другую индивидуализацію, уже направленную на чужое существо, тотъ свой требовательный выборъ, въ силу котораго онъ пожелаль только Джульетты, именно Джульетты. Такое превознесение индивидуальности и должно было съ новою силой повлечь за собою фатальную развязку, ибо міръ нашъ гораздо болье разсчитанъ на общее, чымъ на личное.

Это относится и къ Джульеттъ. Она такъ откровенно и невинно призналась Ромео въ своемъ чувствъ къ нему, и чъмъ больше любви отдавала она Ромео, тъмъ больше этой любви еще оставалось у нея («the more I give to thee the more I have»); она была вся-ласка и нежность; целомудренная и страстная, упоительно-красивая лицомъ и душою, разсыпая серебряные звуки своего голоса въ тишину ночей, она была сама Любовь и являла собою венець красоты, то, выше чего уже нътъ на земль, «чистьйшей прелести чистьйшій образецъ». Передъ ея внъшней и внутренней граціозностью склонилась даже старая голова монаха Лоренцо: пусть для него любовьсуета, vanity; но когда вошла Джульетта въ его келью, онъ сказалъ, что «столь легкая нога отъ въка не ступала по помосту; любовники пройдутъ-не упадутъ по паутинкъ тонкой, что виситъ въ горячемъ лътнемъ воздухъ. Легка ты, суета суеть!» Это не суета, это-легкость Аріэля. Но горе этой легкой любви, что она обречена витать надъ землею, тяжкой обителью Калибана, гдв она встрвчаеть смерть, своего пожирателя - «вамнира»!.. Такъ воть, была легка и прекрасна Джульетта, но и въ ея любви гнъздилось такое начало, которое не могло не разразиться гибельной катастрофой.

О томъ, что началось дѣло вражды, о томъ, что Ромео убиль ея двоюроднаго брата Тибальта, Джульетта узнала въ свою брачную ночь, когда такъ нетерпѣливо ждала она юнаго мужа:

Приди же, о торжественная ночь,
Ты, величавая жена, вся въ черномъ...
...Приливъ нескромной крови
Закрой ты на щекахъ моихъ своей
Мантильей черною...
Придите, ночь и Ромео, ты, мой день въ ночи.

Но вмъсто Ромео пришла кормилица (образъ такой жизненный, полный юмора и красокъ и своей прозаичностью и практичностью. стихіей Санхо-Панса, оттвияющій поэзію юныхъ любовниковъ), пришла и разсказала о гибели Тибальта, объ изгнаніи Ромео. Тогда послѣ перваго, мимолетнаго и мнимаго, разочарованія въ недавнемъ супругь, Джульетта почувствовала глубокую радость, что убить не мужъ, а брать, тотъ самый брать, который хотель убить ея мужа. «Все это такъ, какъ надо» (All this is comfort). Почему же она плачеть? Потому что лишь одного не надо: изгнанія Ромео. Смерть брата можно перенести, но изгнаніе мужа? Зачьмъ два горя, зачвмъ именно второе горе? А если ужъ это обычно, что несчастье приходить не одно, то почему же вследь за вестью, что погибъ Тибальть, ненужный брать, не раздалась въсть, что скончался отецъ или мать, или оба вмъстъ: «обыкновенное все это бъ горе было»? Последнихъ словъ, взятыхъ въ кавычки, собственно, нетъ у Шекспира въ подлинникъ (Why follow'd not, when she said—Tibalt's dead, thy father, or thy mother, nay, or both, which modern lamentation might have mov'd); но Аполлонъ Григорьевъ, все-таки, не только не погрѣшилъ своимъ переводомъ противъ этого великаго подлинника, но и уловилъ самую сущность его-тоть мотивь, который намь уже такь хорошо извъстенъ: если женщинъ предстоитъ выборъ, то она избереть смерть отца или матери, или ихъ обоихъ; единственное, что для нея непереносимо, это — разлука съ мужемъ; вотъ — предълъ страданія. Кроткая Джульетта убиваеть; она мысленно хоронить своихъ родителей, лишь бы вернулся Ромео. Пусть надъ ними разразится какое угодно песчастье, лишь бы самая легкая тынь не легла на Ромео. Опять и опять: Джессика уйдеть отъ Шейлока, Дездемона-отъ Брабанціо, наша Марія-отъ Кочубея; Маргарита ради Фауста невольно отравить свою мать, и если Корделія сяблаеть попытку примирить въ своемъ сердив мужа и отца, то все равно, и отца она не спасеть, и сама погибнеть.

То, что въ помыслахъ своихъ убила Джульетта своихъ родителей, послѣдними чертами рисуетъ всю глубокую сосредоточенность и напряженность ея чувства: какъ и Ромео, она изолируетъ себя отъ общаго, отъ семьи, она утверждаетъ свою отдѣльную личность, чего бы это ни стоило окружающей собирательности, тому цѣлому, котораго она составляетъ лишь одну живую часть. И убійцу брата приняла она на свое брачное ложе.

Такъ скоро прошла для нея первая и последняя ночь. Джульетта убеждаетъ Ромео, что еще не пора ему уходить и спасать свою жизнь отъ преследованія, что еще не настало утро и поетъ не жаворонокъ утренній, а соловей, поэтъ сладострастной ночи. Ромео знаетъ, что это именно жаворонокъ, а не соловей, который умолкъ давно, какъ только минула его возлюбленная ночь, — онъ знаетъ это, но соглащается съ Джульеттой, соглащается умереть, лишь бы только еще немного побыть съ нею: да, правда, «еще не день». «То день, то день! Увы! бёги скоре!»—спохватилась Джульетта, обезпокоенная, теперь уже не любовница, жаждущая новой ласки, новой ночи, а заботливая жена. «Бёги... Все ярче, ярче разсвётаетъ»— «Все ярче? Наше горе все темнёй», отвечаетъ Ромео, («Моге light and light? more dark and dark our woes»).

Онъ ушелъ, ея Ромео, — навсегда. Недаромъ сверху онъ показался ей блѣднымъ, какъ мертвецъ во глубинѣ могилы. Они еще разъ встрѣтятся — во глубинѣ могилы, и Джульетта увидитъ Ромео уже мертвымъ и сама сейчасъ же пріобщится къ смерти, къ его смерти, и поцѣлуетъ его еще теплыя уста, чтобы выпить съ нихъ остатки яда, и пронзитъ себя его кинжаломъ.

Такъ много любви и красоты сошлось въ этомъ могильномъ склепѣ, что потеряла свою темноту печальная обитель смерти. Вѣдь не только Ромео пришелъ ко гробу своей Джульетты, но и Парисъ благородный, который тоже любилъ красавицу Вероны, любилъ ее живой и мертвой. Его не хотѣлъ убивать Ромео и съ гамлетовской глубиною просилъ его не вступать съ нимъ въ единоборство — здѣсь, на кладбищѣ, гдѣ и безъ того такъ много смерти («смотри ты, сколько и безъ тебя здѣсь мертвыхъ — устрашися»); но не послушался его безстрашный Парисъ и былъ убитъ и, умирая, попросилъ Ромео:

...Коль жалость есть въ тебъ, Открой гробницу, положи съ Джульеттой.

Безъ ревности исполнилъ Ромео просьбу несчастнаго юноши, а потомъ, какъ Отелло, поцѣловалъ Джульетту и въ честь ея, своей любви, провозгласилъ свой послѣдній тостъ и выпилъ свое послѣднее вино—мгновенный ядъ, который и повергъ его къ ногамъ жены.

попрана древняя вражда всёхъ. И такъ какъ она этого не предвидела, такъ какъ провозглашенію своей любви она предпочла кощунство притворной смерти, игру въ могилу, то для примиренія семей Монтекки и Капулета, для полнаго торжества любви, понадобилась действительная смерть любовниковъ. Но за любовь развъдорогой ценою является смерть?

Та исключительная индивидуализація чувства, которая, какъ мы уже видъли, характеризуеть романъ Ромео и Джульетты, сама по себъ не представляла бы пикакой вины противъ общности, если бы въ своемъ развитіи она до послідней поднялась. Свой путь къ общему кладеть любовь черезь обособленіе; выбирая одно, она достигаетъ всего; выдъляя изъ цълаго особь, она тъмъ самымъ утверждаеть пълое. Никто такъ не сопричастенъ къ космическому, никто такъ не приближается къ Пану, міровому всеединству, какъ влюбленный. Та единичная, та единственная, на которой онъ остановиль свои взоры, тоть микрокосмь, которому онь отдаль свое сердце, сливается для него съ макрокосмомъ. Нътъ измъны міру въ томъ, кто любитъ. Но Джульетта и Ромео скрыли отъ міра свою любовь, испугались за нее, и воть этимъ они не подняли своего чувства на пантеистическую высоту, не сочетали его съ великой общностью. Именно въ этомъ-высшій смыслъ трагедіи. Ея герои любили только за себя, но не за свои племена и роды. Они побъдили только двоицу, они выдълили себя изъ собирательнаго цълаго и слили въ единство только себя, между тъмъ какъ единства жаждало множество, — цэлые очаги коллективной вражды. Мало любить другъ друга индивидуумамъ, — надо, чтобы любили одна другую большія совокупности міровыхъ существъ. И надо такъ любить, чтобы своею частною любовью можно было искупить и погасить общую вражду, -- такъ любить, чтобы эмпедоклово двуначаліе превратилось въ благодатное самодержавіе единой Любви.

Макбетъ.

Мы уже сказали, что одной изъ характерныхъ чертъ Шекспира является совмѣщеніе глубочайшаго реализма съ такимъ же иллюзіонизмомъ. Онъ въ одно соединяетъ міры дѣйствительности и видѣній; можетъ быть, въ результатѣ этого все — только сонъ, только греза, но можетъ быть и то, что и самый сонъ, это — явь, и граница между ними исчезаетъ въ общности какого-то новаго и пока еще невѣдомаго царства, къ загадочнымъ вратамъ котораго насъ влекутъ наши предчувствія, догадки и страхи. Въ «Макбетѣ» именно сочетаніе реальности и фантастики дано въ очень яркомъ образцѣ;

психологическія силы, естественныя движенія души претворены во образы вёдьмъ, и можно ясно видёть, какъ здёшнее прячеть свои корни въ потустороннемъ. Передъ нами какъ будто конецъ исихологіи и отказъ отъ нея: герой не авторъ самого себя, не онъ вызвалъ свои наклонности, предопредълившія трагическую катастрофу, не самъ онъ властолюбивъ, а все это подсказали ему духи, и въ его внутренній міръ, до тъхъ поръ спокойный и прекрасный, вторглись чуждыя ему начала. Можно ли принять такую личность безъ почина, героя безъ иниціативы, и не оттого ли Макбетъ самъ сравниваеть міровую дійствительность сь иллюзіей, человівческую жизньсъ фигляромъ на подмосткахъ? Нетворческаго героя, существо пассивное мы, конечно, должны были бы отвергнуть; но Макбеть не таковъ, и такимъ онъ кажется только на первый взглядъ. Въдь именно шекспировскій синтезъ, органическое соединеніе факта и мечты не позволяють видеть въ Макбете простого выученика ведьмъ, покорнаго исполнителя посторонней воли: несомнённо, что вёдьмы только пошли навстръчу его собственнымъ желаніямъ, объективировали собою его затаенные помыслы. Онъ реальны какъ онъ самъ, и въ ихъ безобразіи онъ долженъ былъ узнать себя, тотъ свой хаосъ глубокій, который скрывался подъ его космичностью. Кинжаль, который ему грезился, быль осязателень не меньше кинжала реальнаго. Обыкновенно привидение видить лишь одинь и, напримъръ, тънь короля была зрима только Гамлету; между тъмъ въ данной пьесъ въдьмъ слышатъ и видять двое — Макбеть и Банко, и лишь послё того, какъ онё исчезли, въ послёднемъ зародился скептицизмъ (не пузыри ли это земли, не одуряющій ли это запахъ травъ?); и вотъ то, что онв присутствуютъ не для одного, служить порукой ихъ реальности, символизируеть ихъ психологическую наличность, делаеть ихъ воплощеніями живой и фактической натуры Макбета.

Вся его жизнь съ тъхъ поръ, съ этого появленія его страшной объективаціи въ отвратительномъ обликъ въдьмъ, стала протекать въ жуткомъ сплетеніи дъйствительности и призраковъ, перемежала сонъ и бодрствованіе, кошмаръ и дневную обыденность. Макбетъ началъ сниться самому себъ; не то реальный, не то мнимый, потерявъ сознаніе всякихъ различій, онъ смъшалъ галлюцинацію и факты и ужасающей спутанностью своихъ мыслей заразилъ самое природу, такъ что и она послала ему, въ его путаницу, неслыханныя чудеса и странности: двинулся лъсъ со своей извъчной стоянки, оказался на землъ человъкъ, не рожденный женщиной. Все это и облекаетъ шекспировскую драму таинственной дымкой, и точно дъйствіе ея происходитъ въ царствъ тъней, въ обители сна, на томъ

срединномъ пространствѣ сумерекъ, которое мглистыми волнами своими отдѣляетъ жизнь отъ смерти, полный день отъ полной ночи. И какъ у всѣхъ великихъ мастеровъ, мы и у Шекспира можемъ всей кажущейся фантастикѣ найти объясненіе позитивное и простое: и вѣдьмы, пузыри земли, и движеніе Бирнамскаго лѣса, и Макдуффъ, не рожденный отъ женщины, не являютъ, оказывается, никакого чуда; намъ самимъ предоставляется выборъ между загадочностью и естественностью, мы можемъ принять то или другое толкованіе, призвать одинаково мистику или механизмъ. Но какъ разъ эта свобода выбора и обусловлена тѣмъ сходствомъ, которое геніальный авторъ, властитель обоихъ міровъ, подмѣчаетъ между ними, тою близостью сверхчувственнаго къ чувственному, которое и допускаетъ незамѣтные переходы одного въ другое.

Объятый сверхчувственнымъ, предавшись міру видѣній, Макбетъ этимъ самымъ отдался только самому себѣ, своей мечтѣ о королевскомъ тронѣ и своей цареубійственной мысли. Онъ — предшественникъ ибсеновскихъ претендентовъ на престолъ; обычная, неимовѣрно возрастающая прогрессія властолюбія и неодолимое желаніе первенства не могли удовлетворить его званіемъ гламисскаго тана, званіемъ кавдорскаго тана, — ему нужна была царская корона.

Но руку за нею онъ рѣшилъ протянуть во тьмѣ (вся трагедія, какъ мы уже говорили, окутана полумракомъ, она кому-то снится, мы раздѣляемъ чей-то кошмаръ): пусть звѣзды спрячутъ свои огни, пусть не видятъ онѣ его сокровенныхъ и зловѣщихъ замысловъ, пусть его рука не промахнется во мракѣ. Онъ взываетъ къ темнотѣ не только потому, что она—богиня убійства, покровительница злодѣяній, по и потому, что, помимо Макбета, онъ еще и Гамлетъ. Онъ переживаетъ всю тревогу колебаній и раздвоенности; онъ много думаетъ, прежде чѣмъ дѣлаетъ, и онъ знаетъ, что «со словами исчезаетъ весь страсти пылъ» («words to the heat of deeds to cold breath gives»); это не обычная нерѣшительность начинающаго преступника, это не просто послѣдній вопль совѣсти, которая диктуетъ ему благородныя слова: «на все, что можетъ человѣкъ, готовъ я; кто смѣетъ больше, тотъ не человѣкъ, а звѣрь»: нѣтъ, у Макбета, какъ и у датскаго принца, такое же принципіальное разобщеніе думы и дѣла.

Воть почему онъ не одинь, воть почему дана ему въ спутницы леди Макбеть, его върная жена. Въдь женщина не можеть быть Гамлетомъ, — природа не рефлектируеть. Леди Макбеть — жена любящая и любимая. Рыцарски щадить ее Макбеть, не хочеть дълать ея соучастницей убійства Банко, не хочеть пугать ея воображенія. И она сама — не Марина пушкинская: ей нужно, чтобы Макбеть быль царемъ, но она любить въ немъ не только царя. Она по-

могаеть ему и какъ человеку, и какъ будущему королю. Леди хорошо изучила своего любимаго супруга: она боится его честности, млека его доброты (Jet do I fear thy nature: it is too full o'the milk of human kindness...). У него есть властолюбіе и жажда величія, но «нъту зла, ихъ спутника». Зло есть у нея. И она прямо смотрить въ глаза той истинъ, отъ которой отворачивается ея мужъ, -истинъ, что надо или убить, или отказаться отъ королевскаго вънца; а этимъ вънцомъ уже короновали Макбета судьба и метафизика (fate and metaphysical aid—«судьба и сонмъ духовъ», какъ переводитъ Кронебергъ). За убійство здісь-метафизика, но не физика, не природа. И злая женщина бросаеть вызовъ последней: скликая ангеловъ убійства, она молится, чтобы молоко въ ея груди обратилось въ желчь, —ей нужно противоестественное; она привътствуеть охрипшаго ворона, который своимъ жуткимъ карканьемъ встръчаетъ прівздъ короля Дункана. Но при всей ея решимости она тоже, какъ Макбетъ, манитъ къ себъ глухую ночь, чтобы кинжалъ не видълъ своего дела, кровавыхъ ранъ, которыя онъ будетъ наносить Дункану. Въ этомъ уже-предчувствие угрызений совъсти, будущия несмываемыя пятна на ея бълыхъ рукахъ.

Ибо жизни поставлены извъстные предълы: она въ своемъ развитіи не можеть отдаться свободному и самочинному буйству своихъ непосредственныхъ силъ, — она рано или поздно наталкивается на какія-то незыблемыя границы долга, совъсти, чести и вынуждена слушаться всяческихь заповъдей. Ея росту и разливу мъщаеть давно осуществленное познаніе добра и зла. Вторженіе этихъ категорій въ дикую стихійность открыло передъ нами новые и возвышенные горизонты, но въ то же время ограничило волю и дерзость человъка и связало его себялюбіе призывомъ къ жертвъ. Можно, правда, глубокимъ напряженіемъ своихъ желаній одольть исконную связанность и поставить страсть выше совъсти, --- но заклять человъкъ послъдней, и оттого, кто нарушить ея требованія, какъ Макбетъ и леди Макбетъ, тотъ не найдетъ себъ удовлетворенія: и стихійная жизнь не будеть ему дана, и совъсть не перестанеть у него больть. И даже еще вопросъ, дъйствительно ли нравственность вторичнаго происхожденія; еще вопросъ, не моральна ли сама стихія. Въдь, какъ мы еще увидимъ, часто она у Шекспира протестующе откликается на убійство. И во всякомъ случав, мы не властны безнаказанно уклоняться отъ той обще-міровой или ужъ, по меньшей мірь, всечеловъческой изначальности, того первоосновного факта и условія людского бытія, въ силу которыхъ мы не просто живемъ, а живемъ по извъстному закону и правилу, и мы не предоставлены вольному теченію жизненныхъ волнъ, а совершаемъ по нимъ предуказанные

пути, опредъляемые неизмънной стрълкой извъчнаго мірового компаса,—вельніями категорическаго императива.

ИПекспиръ, по своему обыкновенію, не позволяеть замыслу и дёлу зрёть долго: въ стремительномъ потокі времени совершаются у него событія, такъ что быстроту поступка должны объяснить и оправдать глубина и напряженность мотива, неодолимая страстность желанія, одержимость одной идеей. Оттого и Макбету нашъ драматургъ не даетъ времени одуматься; но только, помня, что въ Макбеті силенъ и Гамлетъ, онъ разрішаеть ему произнести эти гамлетовскія річи:

Ударъ! одинъ ударъ! Будь въ немъ все дѣло, Я не замедлилъ бы. Умчи съ собою Онъ всъ слъды, подай залогъ успъха, Будь онъ одинъ начало и конецъ— Хоть только здъсь, на отмели временъ— За въчность мнъ перелетъть не трудно. По судъ свершается надъ нами здъсь...

Такъ разсуждаетъ Макбетъ. Гамлетъ, онъ знаетъ, что все продолжается, что есть безсмертіе мысли, сознанія, совъсти, что ньтъ конца ничему. Дъло однозначно, но дума многозначна. Ударъ однократенъ, и если бы въ ударъ были начало и конецъ, кто не ръшался бы на него? Если бы минута исчерпывала самое себя и, родившись, черезъ минуту умирала, кто не нашелъ бы въ себъ воли для мгновеннаго свершенія? Но минута—въчность. Послъ дъла остается неизгладимый слъдъ думы, и однажды сотканная, никогда уже не распускается любая тканъ души. Макбетъ предвидитъ ужасающее продолженіе — и угрызенія совъсти, и посмертную славу Дункана, и свои душевныя муки. Ничего нельзя сдълать однажды навсегда, и человъкъ—во власти нескончаемаго.

Макбетъ въ своемъ предвидѣніи былъ слишкомъ правъ. Онъ ударъ, нанесенный Дункану, чувствовалъ всю свою жизнь. И не безслѣдно прошло для него то, что ударъ этотъ былъ нанесенъ спящему, — съ тѣхъ поръ самого убійцу мучила трагическая безсонициа.

Гламисъ зарѣзалъ сонъ: зато отнынѣ Не будетъ спать его убійца, Кавдоръ, Не будетъ спать его убійца, Макбетъ.

Гламисъ, Кавдоръ, Макбетъ — одно и то же лицо; въ одномъ естествъ своемъ оно заръзало сонъ, — зато не будетъ спать въ двухъ другихъ своихъ естествахъ. «Пойдемъ же спать», скажетъ

Макбетъ своей женъ въ отвътъ на ея слова: «ты сна лишенъ— отрады всъхъ существъ», того, безъ чего природа не природа (the season of all natures),—но онъ больше не заснетъ никогда.

Король Дунканъ былъ убить тогда, когда полміра и онъ самъ, среди послѣдняго, погрузились въ сонъ. Фантастическій характеръ всей трагедіи, ея принадлежность двумъ мірамъ, яви и призраку, отъ этого становится еще сосредоточеннѣе; слышенъ крикъ совы, и чувствуешь невидимое присутствіе вѣдьмъ. Во снѣ Дунканъ былъ похожъ на отца леди Макбетъ; оттого она и не рѣшилась убить его сама. Но почему это не удержало ея отъ убійства вообще, отъ подстрекательства къ нему? Какъ она не поняла тогда, что это сходство символично, что Дунканъ, ея король и гость, былъ ей дѣйствительно родной, что, убивая какого бы то ни было стараго и спящаго человѣка, она убиваетъ отца? Къ ложу Дункана, къ его довѣрчивому изголовью, она подослала мужа, который не могъ благоговѣйнымъ «аминь» закончить молитву тѣлохранителей короля и которому, послѣ убійства, послышался страшный вопль:

...не спите больше! Макбетъ заръзалъ сонъ, невинный сонъ, Заръзалъ искупителя заботъ, Бальзамъ цълебный для больной души, Великаго союзника природы, Хозяина на жизненномъ пиру.

Въ этомъ-центръ всей пьесы: важно не столько то, что Макбеть убиль короля, сколько то, что онъ убиль сонъ, -- сонъ, эту смерть каждаго дня (the death of each day's life) и жизнь каждаго человъка, цъленіе усталой души. Есть что-то кощунственное въ томъ, когда сонъ превращають въ смерть, когда преступно польвуются ихъ близостью и родствомъ. Именно потому, что они соприкасаются другь къ другу, спящій священень, и въ своей безоружности и безпомощности, въ своей пріобщенности къ тапиству смерти, къ элевзинской мистеріи конца, онъ больше бодрствующаго имбетъ право на жизнь, на безопасность отъ убійцы. Сонъ подготовляеть къ новой жизни, обусловливаеть ея возможность, не даеть оборваться человъческой нити, - какъ же можно посягать на него, благого обновителя, источникъ прекрасныхъ возрожденій? И все-таки «Макбеть заръзаль сонъ», --- какъ заслужиль онь поэтому свое въчное бодрствованіе! Дни и ночи, безъ перерыва, безъ промежутковъ, безъ отдыха, будеть онъ сознавать свое преступленіе. Если сознаніе вообще такъ тягостно, если етть спутника, болте удручающаго своимъ постылымъ постоянствомъ, то сознавать убійство, быть Гамлетомъ-убійцей,

это уже—предълъ человъческой муки, и оттого Макбетъ предпочелъ бы не сознавать самого себя (to know my deed, 'twere best not know myself) и безмятежно спать, какъ Дунканъ въ могилъ, и онъ отдалъ бы все за то, чтобы какой-нибудь стукъ, какой-нибудь шумъ неистово-бурной ночи могъ разбудить Дункана. Но этого не будетъ: не проснется Дунканъ, и не заснетъ Макбетъ, и «весь океанъ Нептуна», всъ міровыя воды не вымоють его окровавленныхъ рукъ. Макбетъ самъ ввергнуль себя въ безъисходную глубину пессимизма; такъ прекрасно воспроизводитъ Кронебергъ его слова:

Умри я часъ тому назадъ—не дальше, Я жилъ бы счастливо. Теперь вся смертность— Игрушка, вздоръ... Елей пролитъ, разбита чаша жизни, Намъ черепки презрънные остались— Для хвастовства!

Да, самая чаша разбита, но изъ черепковъ презрѣнныхъ, для квастовства, для тщеславія, будетъ еще пить Макбетъ. Убилъ онъ изъ тщеславія, а теперь оно, его цѣль, превратилось только въ черепки.

Ночь убійства была безумная, какъ ночь короля Лира; сама природа вышла изъ своихъ береговъ, земля тряслась, въ воздухъ носились вопли, крики филиновъ, чьи-то пугающіе голоса,—стихія не выдержала посягательства на сонъ, его превращенія въ смерть. Каждое убійство — нарушеніе стихійности, фактъ природы, дъло, прежде всего касающееся ея самой, и потому она реагируетъ на него такими необычными феноменами.

Эта ночь, оскорбленная тёмъ, что зарѣзали ея сонъ, ея даръ, посылаемый людямъ, можно сказать, больше не прекращалась, и ты чудеса, которыя сразили Макбета, корекились именно въ ней.

Продолженіе, котораго онъ такъ боялся, наступило не только въ смыслѣ внутрепнихъ терзаній, но и выразилось въ томъ, что убійство повлекло за собою убійство. Первый ударъ не былъ послѣднимъ, и обоимъ кинжаламъ Макбета, призрачному и реальному, было еще много дѣла. Кто разъ убьетъ, для того уже слишкомъ открыты соблазны новыхъ убійствъ. А Макбета влекло къ нимъ обычное нарастаніе властолюбія: мало самому быть королемъ, надо еще нродолжить свое королевское значеніе и званіе въ своемъ наслѣдникъ, сдѣлать свой скипетръ не безплоднымъ.

Жажда первенства не утоляется въ одномъ лицъ: свое первое мъсто каждый хочетъ закръпить для своихъ преемниковъ; каждый король хочетъ начать собою династію. Правда, Макбетъ бездътенъ

(объ этомъ такъ мрачно и многозначительно, съ такимъ сожалѣніемъ ненависти, вспоминаетъ Макдуффъ, у котораго Макбетъ убилъ дътей), — но для него во всякомъ случат важно, чтобы корона, добытая имъ ценою пролитой крови, не досталась чужому, и онъ ищеть себф родного продолжателя. Въ этомъ стремленіи къ продолженію останавливаль Макбета Банко, потомству котораго объщана корона; отсюда понятно, что Банко надо убить. И это-тьмъ болве, что, помимо общей династической потребности, Макбетукоролю, какъ и Борису Годунову, сынъ-королевичъ нуженъ въ особенности, — именно для того, чтобы въ немъ укрѣпить свое неправое стяжанье и въ немъ искупить свою вину. И Банко убитъ. Но и здъсь еще для убійцы нътъ успокоенія и конца. Не одни только угрызенія сов'єсти, но и общій его гамлетизмъ побуждають его все время думать о Банко, и, значить, Банко не убить. Является его тень, занимаеть свое место на пиру. Оттого Макбеть и высказываеть глубокія мысли о томъ, что въ мір'в становится невозможнымъ убійство. Когда-то «со смертью смертнаго кончалось все», и не воскресаль уже тоть, у кого выбивали мозгь изъ черепа; теперь же, для осложнившагося человъческаго сознанія, для Гамлета, хотя бы онъ и дерзнуль стать Макбетомъ, — теперь ничего не кончается. Убитые не умирають: они возвращаются. Какъ будто смерть неестественная, на чужую голову сведенная насильственно, не можеть быть настоящей; какъ будто мы не властны по собственному желанію осуществлять смерть, свою или чужую: все равно, убитый воскреснеть, и только мнимой будеть его предумышленная кончина. Создать жизнь, это-въ нашей воль, и силою любви жизнь рождается; но смерть, — она лежить за предвлами нашихъ возможностей и жестоко смется надъ нами, когда мы ею думаемъ искусственно разрубить какой-нибудь запутанный жизненный узелъ. Оттого, какъ бы далеко, все дальше и дальше, все впередъ и впередъ, ни плылъ Макбетъ по морю проливаемой имъ крови, на этомъ кораблѣ съ пурпуровыми парусами, онъ своей цѣли не достигнетъ, и на мъсть каждаго убитаго будеть подниматься тотъ же живой. «Воть что непостижимо, непостижимъй самаго убійства» (такъ переводить Кронебергъ; въ подлинникъ: «This is more strange than such a murther is»). Но кром'в этой страшной странности, мучить нынъ всякаго убійцу еще и то, что не только его жертву, но и его самого, не береть смерть, --- по крайней мірь, въ своей временной формѣ, т.-е. не беретъ братъ ея, желанный сонъ. Мы уже знаемъ, что это особенно примънимо къ Макбету, который убилъ именно сонъ. Не спять убитые, не спить убійца, и онъ страдальчески испытываеть все бремя такой жизни, которая ни на минуту не прерывается смертью. Для того чтобы жизнь была выносима и отрадна, она не должна быть сплошной. Ее должны отъ времени до времени нарушать промежутки смерти. Мы не могли бы переносить дня, если бы не было ночи. И въ ночи безсонныя мы ощущаемъ, какая это мука—никогда не умирать! Въдь безсонница, это и есть безсмертіе.

Убійца, не убивающій до конца, смертный, которому не дана смерть сна съ ея забвеніемъ, король, на которомъ царскій санъ висить какъ «панцырь ведикана на кардикъ», Макбетъ, пе настоящій, быстрыми шагами идеть къ своей погибели; но его упреждаеть его вдохновительница - жена. Если онъ не спить, то она, напротивъ, погружена въ глубочайшій сомнамбулизмъ, -- но только, объятая имъ, она бродить, какъ помъшанная, и въ этомъ снъ повторяется ея преступная явь. Леди Макбеть не знаеть покоя; соубійца того, кто заръзалъ сонъ, она въ видъ кары получила сонъ обманчивый, больной и тревожный. Руки ея пахнуть кровью, и она треть ихъ, треть, но «вст ароматы Аравіи не омоють этой маленькой руки». Прежде, когда она поощряла Макбета на убійство соннаго, она говорила, что спящій и мертвець не страшны, что они не болье какъ картина. Теперь же она поняла, какъ реаленъ мертвый, какъ живетъ убитый, какъ бодрствуетъ спящій, чей сонъ зарізаль ея мужъ. И скоро она сама превратилась въ картину, -- умерла.

Макбетъ, который былъ и Гамлеть, философски, спокойно приняль въсть объ ея кончинъ и по поводу нея предался размышленію о чредъ людскихъ вчера и завтра.

Да, завтра, завтра—и все то же завтра Скользить невидимо со дня на день И по складамъ отсчитываетъ время...

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, Creeps in this petty pace from day to day, To the last syllable of recorded time.

Книга жизни читается по складамъ. И медленными шагами одно завтра идетъ за другимъ, пока не останавливается у того предъла, за которымъ нътъ уже никакого времени. Жизнь, этотъ урокъ чтенія, не для всъхъ одинаково длительна; но всъмъ каждое завтра показываетъ, что каждое вчера только освъщало намъ, безумцамъ, дорогу къ той грудъ пыли (dusty death), которая называется могилой:

А всѣ вчера глупцамъ лишь озаряли Дорогу въ гробъ.

And all our yesterdays have lighted fools The way to dusty death.

И потому, когда приходить слухъ о чьей-нибудь смерти, можно отозваться на него только тъмъ, что сказаль бы каждый и о самомъ себъ, если бы онъ могъ услышать въсть о смерти собственной.

...Такъ догорай, огарокъ! (Out, out, brief candle!) Что жизнь? Тѣнь мимолетная, фигляръ, Неистово шумящій на подмосткахъ И черезъ часъ забытый всѣми; сказка Въ устахъ глупца, богатая словами И звономъ фразъ, но нищая значеньемъ!

Для того, кто прожиль годы, жизнь—огарокь: не все ли равно, когда онъ догорить? Не все ли равно, когда будеть досказана пустая, безсодержательная сказка?

Жизнь самого Макбета догоръда до того, что даже перестали его пугать ужасы: онъ потеряль способность испуга, - последняя степень мертвенности и равнодушія! Всв ужасы вошли въ него, и потому онъ больше не могь трепетать ни передъ чёмъ. Ему опротивълъ этотъ свътъ, ему наскучило солнце (I'gin to be a-weary of the sun): и онъ хотель бы только, чтобы оно погасло вмёстё съ нимъ. Онъ еще борется, наноситъ удары, не хочетъ, подобно «римскому глупцу», пасть на собственный мечь, пока есть живые враги, но въ глубинъ души онъ принимаетъ и ихъ, и движеніе Бирнамскаго лъса, и соперника, рожденнаго не отъ женщины. «Мнъ все равно». Такимъ признаніемъ закончиль жизнь человѣкъ, которому недавно въ этой жизни не только не было все равно, но который стремился къ опредвленной и очень высокой цвли, быль претендентомъ на престолъ и съ помощью убійства на него взошелъ. Но Макбетъ разочаровался не только въ реальности: житель двухъ міровъ, онъ прокляль ихъ оба и въ свою последнюю минуту съ негодованіемъ и ненавистью отрекся отъ в'ядьмъ, своихъ покровительницъ, отъ коварной помощи ада, который своими двусмысленными въщаніями только дурачить и обманываеть людей. Макбетъ ушелъ изъ міра безъ Бога и безъ дьявола, — онъ ушелъ, даже неувъренный въ томъ, что міръ и онъ самъ существовали. Когда Макдуффъ явился съ головою Макбета на коньъ, онъ, пообдитель, воскликнуль: «свободень мірь!» (the time is free). Но Макбетъ самъ, покуда онъ жилъ, былъ отъ міра не свободенъ: жизнь и жена искушали его, соблазнили и обманули; такъ много счастья и блеска сулило ему убійство, но въ дійствительности дало одли только презрѣнные черепки. И когда «желтыми листами опалъ его весны увядшій цвіть», онь, хотя и король, не увиділь кругомь себя ни славы, ни друзей, ни любви, - его объяла великая пустота

И преступникъ безъ истиннаго дерзновенія, убійца безъ увлеченія, Гамлетъ въ самыхъ свершеніяхъ своихъ, онъ тэнью прошель по жизни, и жизнь была тенью для него. Такъ нарисовалъ его Шекспиръ, что именно не какъ убійца возстаеть онъ передъ нами, а какъ одинъ изъ тъхъ, надъ къмъ безпощадно посмъялась реальность и фантастика, счастье и судьба. Мы не питаемъ къ нему отвращенія и ненависти, мы какъ-то вабываемъ о всей особенной низости его убійства, - мы не осуждаемъ его. Намъ важно не то, что онъ убилъ, а то, что его убили. Намъ важно не его преступленіе, а его наказаніе. Въ своеобразной и страшной формъ онъ только совершилъ обычный кругь человъческого разочарованія и паденія. И мы причисляемь его къ сонму техъ, въ комъ показалъ Шекспиръ значительныя душевныя глубины. Одинъ послушенъ, другой дерзаетъ; одинъ остается въ тени, другой, какъ Макбетъ, вступаетъ въ ярко освещенную полосу величія и королевской власти,— но всѣ кончаютъ макбетовскимъ пессимизмомъ. Убійца короля Дункана на своемъ ужасномъ и горькомъ опытъ явилъ для всъхъ насъ примъръ того, что и необычныя дороги приводять въ тоть же мертвый Римъ — въ ту же призрачность, тоску и миражъ, которые мы называемъ жизнью.

Но эта горькая истина не колеблеть и другого вывода, который можно и должно сдёлать изъ трагедіи Шекспира, изъ тёхъ мученій совёсти, какія пережили ея разочарованные герои: пусть Макбетъ зарёзаль сонь, убиль спящаго и самъ видёль и слышаль вёдьмъ, эти сны воплощенные, пусть онъ бредилъ и блуждающимъ лунатикомъ была его жена, пусть жизнь — сонъ; но, какъ учитъ насъ другое великое начертаніе этой же идеи, знаменитая драма Кальдерона, хотя бы жизнь и была сномъ, будемъ однако и въ этой грезё покорными данниками своей совёсти, будемъ вести себя такъ, чтобы и въ этомъ сновидёніи мы были правы.

Юлій Цезарь.

Въ торжественной процессіи величія и красоты, подвиговъ и преступленій, медлительно и важно проходять у Шекспира гером классической древности, всё эти знаменитые мужи,

Великіе въ бъдахъ и въ битвъ, и въ сенатъ, Великіе въ добръ, великіе въ развратъ,—

ж звучать на римскомъ форумѣ до сихъ поръ шумомъ исторіи не заглушенныя рѣчи.

Когда онъ былъ и трепеталъ земною жизнью, античный Римъ, конечно, не все происходило въ немъ такъ ведичественно и мощно,

какъ это намъ кажется теперь. Но съ тѣхъ поръ какъ «Рима вѣчный прахъ» почиваетъ «въ ночи лазурной», съ тѣхъ поръ какъ гордый городъ «на распутіи временъ стоитъ въ позорище племенъ, какъ пышный саркофагъ погибшихъ поколѣній», — съ тѣхъ поръ онъ красуется въ нашей фантазіи могучій и державный, и сквозь марево столѣтій фигуры его гражданъ выступаютъ передъ нами какъ необыкновенные, сверхчеловѣческіе образы. Большое даль вѣковъ отлила въ еще большіе размѣры. Въ пеудержимомъ потокѣ временъ проносятся народы и царства, и Римъ тоже не миноваль этой участи; но закатившаяся жизнь его была такъ прекрасна и глубока, что поэты, художники, историки—и его собственные, и чужіе —сохранили ее отъ забвенія и воплотили для насъ въ неумирающія созданія. И къ Риму подошелъ Шекспиръ. Великое соприкоснулось великому, и передъ нами—«Юлій Цезарь».

Шекспиръ никогда не уходилъ далеко отъ того историческаго факта, который онъ клалъ въ основу своихъ нроизведеній. Властно проникая въ духъ каждой эпохи, въ душу каждаго героя, онъ, помимо этой художественной правды, внушаемой инстинктомъ творчества, руководился еще и точными данными какой-нибудь добросовъстной льтописи, какого-нибудь скромнаго разсказчика. До него доносилось замирающее эхо исторіи: онъ воспринималь его чуткимъ слухомъ и развивалъ въ могучую пъснь, исполненную красоты и гармоніи. Въ «Юліи Цезарѣ» опъ строго воспроизвелъ Илутарха и отъ себя не создалъ ни одного событія, не выдумалъ ни одного лица. Онъ переписалъ яркую страницу римской исторіи и только вдохнуль въ нее свой пламенный духъ, свое постижение человъческаго сердца. Но именно этимъ онъ и не далъ уйти прошлому, воскресилъ старину, изъ временнаго сделалъ вечное. Его пьеса рисуетъ Римъ, но еще явственнъе говорить она о въчномъ столкновеніи личнаго и общественнаго началь и, въ связи съ этимъ, о безпредъльной скорбности людского бытія, о паденіи благородныхъ идеаловъ и ихъ самоотверженныхъ носителей. «Юлій Цезарь» — трагедія пессимизма, и это не только потому, что онъ изображаетъ великую и роковую неудачу, но и потому особенно, что въ немъ съ обычною шекспировскою силой показано, какъ мы обречены убивать все то, что любимъ.

Есть глубокій идеальный смысль въ томъ историческомъ преданіи, что Брутъ былъ Цезарю сынъ. И воть, сынъ пронзиль кинжаломъ своего отца; мало того: какъ мужъ, онъ заставилъ свою жену проглотить раскаленные угли; какъ римлянинъ, онъ фатально «на свой родимый Римъ спустилъ свиръпыхъ псовъ войны». Въ безсонныя ночи, которыя проводилъ Брутъ, прежде чъмъ онъ убилъ

Цезаря, онъ уже слышаль тѣ жгучія слова, которыя Цезарь произнесь въ свое послѣднее мгновеніе: «и ты тоже, Бруть!». И онъ самъ обрекъ себя на то, чтобы ихъ услышать въявь. И эти же слова звучали ему въ безсонныя ночи, которыя онъ проводилъ послѣ того, какъ убилъ: они сдѣлались мотивомъ всей его жизни. И, быть можетъ, ему казалось, что эту самую укоризну шепчетъ и Римъ, зажженный братоубійственной войною, и римскія матери надъ прахомъ своихъ дѣтей, и Порція съ горящимъ сердцемъ.

Но совъсть его была чиста и нетревожна, потому что онъ убилъ не ради себя, а ради Рима, потому что онъ убилъ того, кого любилъ, и вонзилъ кинжалъ въ собственную грудь. Съ невозмутимой стойкостью жреца принесъ онъ жертву на алтарь своего отечества, и этой жертвой оказался его отецъ. Душъ его были ненавистны кровь и всякое убійство, и все-таки судьба принудила его убить — и кого! Онъ былъ мягокъ и нъженъ, онъ охранялъ дремоту своего юноши-слуги, и въ его честныхъ устахъ, никогда не оскверняемыхъ фразой, такъ правдивы эти возвышенныя слова:

Скоръй готовъ я вычеканить сердце И въ драхмы превратить всю кровь свою, Чъмъ, обратившись къ средствамъ незаконнымъ, Крестьянина лишить послъднихъ крохъ.

(Переводъ П. Козлова).

Самъ духовный, онъ хотѣлъ бороться только съ духомъ, но этотъ духъ былъ одѣтъ въ тѣлесную оболочку друга,— и Брутъ, кроткій, человѣчный Брутъ, пролилъ человѣческую, дружескую кровь, явилъ собою одну изъ древнѣйшихъ иллюстрацій того типа, который называется: Авель убивающій. Онъ былъ честенъ и съ душою свѣтящейся, а, между тѣмъ, ему надо было скрываться подъ темную сѣнь заговора, искать ночей. Такова была трагическая иронія его судьбы.

Разладъ и двойственность, подъ тяжестью которыхъ онъ палъ, одновременная любовь и ненависть къ одному и тому же человѣку, были вызваны опасностью, грозившей со стороны этого человѣка великому Риму. Передъ Брутомъ и передъ Кассіемъ, который его собою дополнялъ, побѣждалъ его раздумье и, по своему выраженію, служилъ зеркаломъ для его затаенныхъ помысловъ, открылись печальныя перспективы будущаго Рима, не свободнаго, а Рима-раба. Они оба предвидѣли, что Цезарь погубитъ свободу. Ея поборники, они должны были заступиться за нее. Въ особенности рыцаремъ ея безкорыстнымъ, рыцаремъ безъ страха и упрека, былъ, конечно, Брутъ; оттого онъ и нуженъ былъ заговору, какъ его живая санкція, —Бруть освя-

щающій. Въ другой трагедіи, именно въ «Антоніи и Клеопатрів», Помпей говорить о Бруть и его сподвижникахъ, что они были «любовниками красавицы-свободы» (courtiers of beauteous freedom) и что они хотели одного, чтобы «человекь быль только человекомь» (they would have one man but a man). Въ полной мъръ это примънимо, впрочемъ, къ одному лишь Бруту. Кассій отличался иными оттьнками. Его душою руководила не столько чистая любовь къ свободь, сколько вражда къ самодержавію. Цезарь недаромъ обращаль внимание на его худобу и угрюмость, на то, что онъ слишкомъ много думаеть и читаеть, не любить музыки, редко улыбается; Цезарю больше нравились лиди тучные, упитанные, жизнерадостные (для всякаго деспотизма опасны читающіе и думающіе); и Касссій въ самомъ дъль упорно думалъ тяжелую думу-о нестерпимой оскорбительности самодержавія. Онъ воплощаль собою противодівствіе многихъ одному, протестъ людей противъ человіна. Поскольку онъ быль безкорыстенъ, онъ возмущался тъмъ, что одинъ человъкъ возводитъ себя въ санъ бога, прочіе же, но такіе самые, какъ онъ, остаются людьми. Недостойно подчиняться себъ подобному; невыносимо самозванство такой же личности, какъ мы сами; ужъ если вёрить въ бога, то въ бога такого, который быль бы достоинъ этой вёры. А въ глазахъ Кассія Цезарь не только ничёмъ не выше другихъ, но и вообще ничтоженъ. Кассій видълъ его на одръ боивани, и тогда Цезарь дрожаль: «да, этоть богь дрожаль», -- дрожащій богь!.. Кассій вмість съ Цезаремъ переплываль бурный Тибръ, и Цезарь чуть не утонулъ. Такой «тщедушный смертный» (какъ хорошо переводитъ П. Козловъ слова: <a man of such a feeble temper»), меньше другихъ смертныхъ, -и онъ достигаетъ неслыханнаго первенства!

У людей вообще, у Кассія въ особенности, есть какой-то horror majestatis, боязнь чужой высоты, чужого величія, и у всякаго короля оспаривають его престоль, его право на корону. Возникаеть обычный вопрось о превосходствь, сравнивають размъры человьческіе, — и Кассій спрашиваеть Брута, чьмъ Бруть хуже и меньше Цезаря:

Что жъ въ Цезаръ особеннаго есть?
Зачъмъ, ты объясни мнъ, это имя
Должны мы слышать чаще твоего?
Ихъ рядомъ напиши — они другъ другу
Въ красъ не уступаютъ; рядомъ ихъ
Произнеси — и оба благозвучны;
Коль взвъсишь ихъ — и оба полновъсны.

Можеть быть, Цезарь оттого и великъ, что въ своемъ величіи онъ никогда не сомнъвался, ни съ къмъ себя не сравнивалъ и не писаль своего имени рядомъ съ чужимъ. Не великъ тотъ, кто нзвъшиваетъ себя и хочеть себя доказать. Цезарь же не оправдывался, не спрашиваль, - Цезарь себя не доказываль. И если многіе представители шекспировской критики утверждають (одни съ похвадою, другіе съ укоризной), будто Шекспиръ изобразилъ его въ смъщномъ и жалкомъ видь, то это — глубокое недоразумъніе. На великомъ Юліи, человѣкѣ безпредѣльныхъ замысловъ и могучаго осуществленія, лежить у Шекспира печать действительной геніальности. И уже потому одному, что Бруть должень быль иметь врага, достойнаго себя, Цезарь не могь быть просто хилымъ старикомъ. Великій Бруть должень быль убить великаго Цезаря. Духъ послёдняго потомъ измельчалъ, и его громадный панцырь висълъ и висить на многихъ карликахъ; но первый носитель цезаризма былъ высокъ, какъ высока была его мечта -- осуществить божественность на земль. Властолюбіе Цезаря знаменуеть особую психологическую и историческую категорію; недаромъ его имя стало нарицательнымъ, и всь цари -- потомки этого имени. Цезарь глухъ, онъ мнителенъ, онъ падаетъ въ обморокъ, но все-таки онъ — вѣчный и мощный Цезарь, человъкъ, для котораго изо всъхъ міровыхъ чиселъ существуетъ только одно — первое. Пусть въ жару бользни онъ, «какъ дъвочка больная», просить у Титинія нить, но въ бользни всь малы, и все же онъ выше того, у кого онъ просить пить. Физически слабый, онъ пе боится смерти, и то, что другіе ея боятся, кажется ему величайшимъ изъ чудесъ. Онъ смерть, дъйствительно, попраль; онъ и после нея жиль, побъждаль своихъ враговъ, являлся въ ихъ стоянки грознымъ призракомъ. Когда онъ говорить про себя, что онъ непоколебимъ, какъ твердыня, когда онъ сравниваетъ себя съ Олимпомъ и съверной звъздой, — и черезъ минуту подъ кинжалами заговорщиковъ превращается въ «кровавый комъ земли», то Шекспиръ здъсь вовсе не издъвается надъ Цезаремъ и не пишетъ его карикатуры: это судьба смъется надъ бренностью человъческаго существа, надъ горделивостью человъческаго духа, это — библейскій Экклезіасть твердить свое горькое слово про суету суеть. Здёсь наша общая скорбь и общая слабость, здёсь жалки мы всё, а не Цезарь. Онъ и въ своемъ паденіи остался величествепъ и благороденъ, и можно сказать, что изъ нъсколькихъ кинжаловъ, которые «встрътились у него въ груди и тамъ другъ друга зубрили», его поразиль только одинъ кинжалъ — Брута. Цезарь быль, действительно, «опасности опасней», и не отъ нея онъ погибъ: онъ умеръ потому, что его убилъ сынъ, онъ умеръ потому, что его скосиль ударъ неожиданнаго разочарованія,— мечь неблагодарности. И если была необыкновенная ночь накануні мартовскихь идъ и сверхъестественныя явленія пугали римлянь, и Кассію казалось, что само небо указуеть на ужасное положеніе страны, то на самомъ ділі это были родовыя муки природы: она въ эту ночь рождала легенду Цезаря—его безсмертіе въ вікахъ, его царственную славу, которой посліднюю, завершающую черту придала его кровавая кончина.

Считая Цезаря малымъ, Кассій ошибался; вотъ почему Брутъ, который не столько возсталъ противъ самодержавности Цезаря, сколько ополчился за будущую свободу Рима, независимо отъ того, законнымъ или незаконнымъ претендентомъ на престолъ являлся Цезарь, — Брутъ видѣлъ предъ собою дорогу, казалось бы, прямую и безспорную. Совершенно чуждый зависти, которой Кассій былъ не чуждъ, онъ, республиканецъ, потомокъ великихъ предковъ (а предки обязываютъ), принесъ къ подножію отечества чужую жизнь, — но только потому, что сюда же принесъ бы онъ спокойно и жизнь собственную, если бы отечество возъимѣло въ ней нужду. Одинъ и тотъ же кинжалъ былъ у него для Цезаря и для себя.

Но не со всякой точки зрѣнія можеть быть оправданъ и убійца Юлія Цезаря. Ошибка Брута, та вина его, которую онъ и долженъ быль искупить передъ поэтической справедливостью, заключалась въ томъ, что онъ не понялъ исторіи и дерзнулъ пойти ей наперерѣзъ. Онъ не понялъ, что Юлій Цезарь не эпизодъ, а необходимость; что римской республикѣ пришелъ ея естественный конецъ; что въ самовластіи Цезаря проявляется лишь нѣкая объективная норма и законъ историческаго процесса. Онъ хотѣлъ повернуть вспять колесо міровыхъ движеній, удивительно ли, что безумный подвигъ ему не удался?

Бруту въ этомъ смыслѣ противоположенъ Антоній. Послѣдній оплакиваетъ въ Цезарѣ не только геніальную личность, предметъ своихъ удивленій и восторговъ, но и воплощеніе органической необходимости. Когда въ проникновенной вдохновенности своего отчаянія, передъ окровавленнымъ тѣломъ Цезаря, рыдая, проливая слезы, этотъ «жемчугъ скорби», онъ горестно восклицаетъ:

Вселенная! Ты этому оленю Служила л'всомъ, что собой онъ красилъ,— И вотъ, сраженный сборищемъ ловцовъ, Лежитъ онъ недвижимо,

то здѣсь сказывается не только безъисходная скорбь о другѣ, но и пониманіе того, чѣмъ былъ для нашей вселенной этотъ олень

прославленное имя Брута: все-таки онъ противъ личности выступилъ не во имя свое, но во имя свободы,—а передъ такой соперницей склоняется въ уваженіи сама индивидуальность, какъ и склонился передъ Брутомъ, другомъ свободы, Антоній, другъ Цезаря, другъ личности.

Жертвуя отечеству отцомъ и собою. Брутъ долженъ былъ иныстывать мучительную борьбу, внутреннее раздвоение между Цезаремъ и Римомъ. Но въ пьесъ Шекспира эта борьба въ своемъ динамизмъ показана неярко, выражена слабо (вообще, сравнительно съ великолъпной фигурою Антонія бліденть вышель образь Брута). Все, что онъ переживалъ, скрыто въ его душевную глубину; все это беззвучно и не претворено въ дъйствія-слова. Тъ неслышные монологи, которые онъ произносилъ въ своемъ сердцѣ, когда покидалъ ложе своей върной Порціи и томился въ безъисходномъ раздумьи, несомнънно, были выразительнъе, чъмъ тъ слова, которыя онъ, не щедрый на слова, говорилъ другимъ. Въ его молчаніи былъ цёлый міръ муки и мысли, и этоть міръ онъ держаль на своихъ плечахъ. бледный, теривливый, сосредоточенный. Онъ такъ похожъ на Гамлета; онъ тоже не сразу овладъвалъ своей ръшимостью и волей, ОНЪ ТОЖЕ ЗНАЛЪ, КАКЪ МУЧИТЕЛЕНЪ ПРОМЕЖУТОКЪ МЕЖДУ «СОВЕРШЕНЬЕМЪ тягостнаго дела и первымъ побужденіемъ къ нему», —и всегда ему сопутствовала книга: въ особенности замъняла она ему сонъ, -то, чего лишены изголовья Гамлетовъ. Но какъ civis romanus, какъ последній гражданинъ, онъ, въ противоположность виттенбергскому философу, въ самомъ себъ, безмолвно переживалъ и перерабатываль свои колебанія, и целомудренныя уста его раскрывались только для ръчей, уже сильныхъ и непреложныхъ. И у него была философія, по именно она позволяла ему одиноко таить свою боль, просить, чтобы не говорили съ нимъ о смерти его любимой Порціи, и лишь изръдка невольно изливался онъ въ трогательномъ вздохъ тоски и жалобы: «Кассій, у меня такъ много горя». Оттого для сцены фигура Брута никогда не будеть эффектной и благодарной. онъ слишкомъ простъ и честенъ, и онъ слишкомъ великъ для величавости. Между темъ Шекспиру важно, чтобы дело Брута, чтобы трагедія, разъигравшаяся у статуи Помпея, сділались достояніемь сцены, и потому вследь за убіеніемь Цезаря онь такъ неожиданно бросаеть въ даль прошедшихъ стольтій взглядъ писателя-актера, одною нитью связываеть разные времена и сроки, игру и действительность. жизнь и театръ, и въ уста Кассію и Бруту вкладываетъ это прекрасное, столько разъ уже оправданное, пророчество:

> How many ages hence Shall this our lofty scene be acted over, In states unborn, and accents yet unknown!

How many times shall Caesar bleed in sport That now on Pompey's basis lies along, No worthier than the dust!

...Въка пройдуть, и много-много разъ дъянье заговорщиковъ будетъ воспроизводиться на сценъ въ странахъ, которыя еще не возникли, на языкахъ, которые пока еще невъдомы... И сколько, сколько разъ въ театръ будетъ падать окровавленный Цезарь, который лежитъ теперь въ ногахъ у статуи Помпея, не болъе чъмъ жалкій прахъ!... Только въ этомъ представленіи, на этомъ театръ, самъ Брутъ пройдетъ скромной и задумчивой тънью, какимъ онъ былъ, въроятно, и въ своей реальной жизни, — человъкъ идеала и жертвоприношенія.

Но все, что онъ сдѣлалъ, было напрасно, и вся потрясающая жертва была принесена безплодно. Духъ Цезаря не погасъ, — онъ привидѣніемъ проникъ въ палатку Брута, онъ отомстилъ: исторія знаетъ, что онъ жилъ потомъ цѣлые вѣка, что и надъ Римомъ, и надъ міромъ воцарился «падменный произволъ». Все погибло: и Цезарь, и родина, и Порція, — прекрасная и нѣжная Порція, и Кассій оказался корыстнымъ, и народъ измѣнчивый и неблагодарный отвернулся, и въ собственное сердце надо было вонзить кинжалъ, пронзившій Цезаря, — а въ это время геній свободы навсегда улеталъ отъ порабощеннаго Рима. Брутъ преодолѣлъ свою кроткую природу, Брутъ убилъ все, что онъ любилъ, Брутъ пошелъ навстрѣчу всему, отъ чего душа его бѣжала, — и все-таки ничего не было достигнуто, и все погибло. Свершилась трагедія идеализма.

И оттого міровая литература не знасть образа болье прекраснаго, человька болье несчастнаго, чьмь этоть великій убійца. Онъ перешель въ выка молчаливый и серьезный, и вослыдь ему исторія все повторяєть знаменитыя слова Антонія:

Ilis life was gentle; and the elements So mix'd in him, that Nature might stand up And say to all the world, 'This was a man! Прекрасна была жизнь Брута; въ немъ стихіи Такъ соединились, что природа можетъ, Возставъ, сказать предъ цълымъ міромъ: это

Былъ человѣкъ.

Онъ былъ человъкъ по преимуществу, потому что онъ боролся и погибъ за самое человъческое на свътъ, — онъ боролся и погибъ за свободу. И если его судьба и крушеніе его завътныхъ идеаловъ говорять, что жизнь, какъ фактъ, насмъшлива и безпощадна, то онъ же показывають, что великъ и славенъ міръ, какъ настроеніе, какъ духъ, — тотъ міръ, который способенъ растить высокіе чувства и

помыслы Брута. Въ этомъ—примиряющее начало той скорбной драмы, которую написалъ Шекспиръ.

И недаромъ предсмертныя слова Бруту внушилъ онъ такія, которыя не звучатъ уныніемъ и апатіей: великій образъ неудачи, самъ Брутъ однако свою жизнь кончаетъ увъренно и спокойно. Это такъ знаменательно, что самоубійца, быть можетъ—единственный изъ самоубійцъ, говоритъ о своей счастливости:

Сограждане, я счастливъ
Что никогда на жизненномъ пути
Мнѣ не случалось встрътить человъка,
Чтобъ мнъ невъренъ былъ.

Правда, онъ побъжденъ, но кругомъ въетъ духъ благородства, классическаго благородства римлянъ, и люди радостно отдаютъ свою жизнь, чтобы сохранить свою честь. При такихъ условіяхъ что значитъ для Брута внъшняя побъда, одержанная надъ нимъ его врагами?

Я побъжденъ.

Онъ усталъ, Гамлетъ Рима, и онъ бросился на свой мечъ и умеръ съ именемъ Цезаря на устахъ,—съ именемъ того, кого онъ убилъ и любилъ.

Антоній и Клеопатра.

Въ «Юліи Цезарѣ», паносомъ котораго является гражданственность, женщина не только не мѣшаеть ей, но и выказываеть себя достойной женою гражданина-супруга. Пусть и Порціей, и Кальфурніей руководить не забота о государственномъ благѣ, а простая женская любовь,—во всякомъ случаѣ, это естественное чувство не врывается разпѣживающей теплотою въ суровый холодъ общественнаго дѣла, не зоветъ въ Капую: напротивъ, оно создаетъ новую поддержку для героя, идущаго на свой мужской подвигъ. Правда, въ роковой день мартовскихъ идъ Кальфурнія, томимая ужаснымъ предчувствіемъ, не пускала Цезаря въ сенатъ,—по вѣдь этимъ она, безсознательно для себя, хотѣла охранить не только мужа, но и его историческое служеніе; и если бы онъ послушался ея, то, по

крайней мѣрѣ, на время, былъ бы снасенъ не только Цезарь, но и цезаризмъ. А ужъ Порція, жена Брута и дочь Катона, всецѣло представляетъ собою высокій образецъ такой женщины, сердце которой бьется въ ладъ съ мужественнымъ сердцемъ гражданина. Ей мало дѣлить съ Брутомъ одну лишь трапезу и ложе,—она хочетъ знать всѣ его мысли и рѣшенія, быть соучастницей его опаснаго дѣла. Чтобы испытать себя, она нанесла себѣ рану въ бедро; она безмолвно вытерпѣла боль, и это послужило ей порукой, что она выдержитъ и всякую ей довѣренную тайну. Такъ и было: Порція оправдала довѣріе Брута, не стала на его исторической дорогѣ, и только потомъ, когда онъ совершилъ уже свое предназначеніе, она не вынесла одиночества, разлуки, ужасовъ и въ безнамятствѣ покончила самоубійствомъ. Женщина не помѣшала; романа не было.

Совсьмъ другая психологическая ситуація встрьчаетъ насъ въ «Антоніи и Клеопатрь». Здъсь тоже въ смерти своей женщина оказалась великой, но жизнь ея великому препятствовала. Здъсь Омфала побъдила Геркулеса, здъсь погибъ Одиссей въ гротъ Калипсо. Женскія чары отвлекли мужчину отъ его историческаго долга и обезславили его когда-то гордую голову. Воинъ покорно сложилъ свои доспъхи къ ногамъ цыганки. Со скрижалей исторіи никогда не сотрется, что Антоній въ самомъ разгаръ сраженія его покинулъ и кормило своего корабля направилъ вслъдъ за Клеопатрой; когда ни вспомнишь объ Антоніи, все продолжается его бъгство и его обоготвореніе женщины. Правда, она и была необыкновенна.

Царица египетскихъ ночей, смуглая Геката любви, она освящала страсть, была святой порока. Про нее говорять въ трагедіи, что и разврату ея даль бы жрець свое благословеніе (the holy priests bless her when she is riggish). Антоній называеть ее сварливой (wrangling queen),—но и сварливость была ей къ лицу. И гивъв, и слезы, и смъхъ—все это были только разныя формы ея сложной красоты. Энобарбъ видълъ, какъ она однажды на улицъ пробъжала до сорока шаговъ:

. . . когда же

Она остановилась, задыхаясь— Въ ней недостатокъ совершенствомъ сталъ: Едва дыша, красой она дышала.

(Переводъ Минскаго и Чюминой).

Можно ли противиться обаянію той, которая всю себя и всѣ матеріалы жизни превращаеть въ одно живое благообразіе? Не существуеть некрасиваго, покуда существуеть она.

Клеопатра разнообразна; «нильская змъйка», она безъ конца

мъняетъ переливы и окраску своей золотистой чешуи; каждый разъ все новыя и новыя освъщенія придаетъ ей щедрое солнце Египта. Ея сила въ томъ, что къ ней нельзя привыкнуть. She makes hungry where most she satisfies: она «чъмъ больше насыщаетъ человъка, тъмъ голодъ въ немъ сильнъе возбуждаетъ». Неизсякаемо творя самое себя, она въ одной своей личности совмъщаетъ всѣ возможные типы женской натуры. Не человъческая статуя какойнибудь одной, законченной красоты, она знаменуетъ собою прекрасное въ движеніи, динамику женственности. Годы на нее своей власти не распространили; она побъдила и время, этого врага земной красоты. Ея коснулось уже дыханіе женской осени, и она давно уже не та пятнадцатильтняя дъвушка, которая заставила Юлія Цезаря «забыть мечъ на ея ложъ». Но ея осень была по истинъ золотая, и только еще кръпче пьянило темное вино ея существа.

Она не представлена у Шекспира величественной и страшной, какъ въ «Египетскихъ ночахъ» у Пушкина. Въ ней много хитрости, женскихъ уловокъ, предательства; она играетъ Антоніемъ какъ львица, дразнить его, любить его, надъ нимъ издъвается; гибкая не только прекраснымъ тъломъ, но и душою, она чувствуетъ себя легко въ опасной стихіи противор'вчій и все время сплетаеть художественныя сти обмана и коварства. Притворяющаяся, она упрекаетъ въ притворствъ Антонія. Она хорошо изучила мужскую психологію и знаеть, какъ именно, какими настроеніями духа можно привязать къ себъ Цезаря или Помпея, или Антонія. Страстная и хитрая, никогда не спокойная, она жгучей змен обвивается вокругь каждаго сердца, которое имъло счастье и несчастье однажды прильнуть къ сердцу ея. Къ тому, чемъ наделила ее природа, она присоединила искусство: она въ себъ одинаково сосредоточила всъ эффекты какъ естественнаго, такъ и придуманнаго; для своей картины создавала она волшебную раму. Известенъ воспроизведенный Шекспиромъ разсказъ Плутарха о томъ, какъ она впервые явилась Антонію, на ръкъ Киднъ: сверкающій корабль съ золотой кормой и пурнурными парусами, которые были насыщены призывными ароматами; серебряныя весла, звуки флейть; подъ шатромъ изъ драгоценной ткани возлежала Клеопатра, прекрасие чъмъ Венера, потому что Венера была только природа, Клеопатра же, сверхъ того, была искусство. Краски, звуки и запахи — все привлекла она для того, чтобы усилить свое очарованіе, и съ того момента, какъ взглянулъ на нее Антоній, онъ уже навсегда сталъ ея рабомъ.

Ради нея онъ отказывается отъ міра, онъ вычеркиваеть себя изъ

исторіи,—онъ безсмертіе отдаєть за поцѣлуй. И если бы еще онъ отъ природы былъ склоненъ къ нѣгѣ и ласкѣ, если бы его искони пугало все трудное и суровое,—но нѣтъ: хотя и воспитанный въ роскопии, онъ легко переносилъ голодъ и холодъ, терпѣлъ невыразимыя лишенія, и тотъ, чья жизнь сдѣлалась теперь сплошною оргіей, вѣчной свадьбой, когда-то спокойно глодалъ древесную кору, пилъ желтую воду болотъ и не искалъ любви.

Въ своей праздности онъ задумывается иногда о Римѣ, о томъ, что лежить за кругомъ обаянья Клеопатры, онъ вспоминаеть, какъ много есть въ мірѣ и кромѣ нея; но отрѣшиться оть ея чаръ и то на время-онъ можетъ только вдали отъ ея желаннаго присутствія. Смертью своей жены Фульвіи отозванный изъ Египта, онъ легко принимаетъ рѣшаніе жениться на Октавіи, сестрѣ Цезаря младшаго. Шекспиръ-и это странно-не показываетъ въ немъ, при всей его влюбленности въ Клеопатру, никакихъ колебаній передъ такимъ шагомъ, не обнаруживаетъ въ немъ никакой борьбы: вообще. часты у великаго трагика подобные пробылы, психологически незаполненныя мъста; при всемъ своемъ психологизмъ, онъ нерѣдко слѣдить за одной лишь временной связью событій, недостаточно мотивпруеть ихъ и даеть одни факты тамъ, гдѣ была бы нужна более глубокая разработка внутреннихъ побужденій. Но въ данномъ случав можно и безъ дальнихъ словъ понять, что, освободившись отъ своей внутренней и внёшней Капуи. Антоній изъ соображеній политическихь и въ жаждь сердечнаго отдыха могь принять супружество съ Октавіей, тихой и кроткой, скромной и цьломудренной, такъ непохожей на Клеопатру. Однако этимъ бракомъ онъ купилъ только спокойствіе, радости же его—на Востокъ: I will to Egypt. Неотразимо влечеть его къ себъ египтянка. Пусть онъ женился на другой, но съ другою бракъ-только иллюзія; отъ Клеопатры, неотвратимой, неумолимой, уйти нельзя, и съ нею объятія нерасторжимы.

При этомъ замѣчательно, что Антоній вовсе не ослѣпленъ по отношенію къ ней: онъ знаеть ея прошлое, знаеть, какъ много предшественниковъ имѣлъ онъ въ ея опочивальнѣ. И раздраженный, онъ бросаеть ей въ лицо жестокіе упреки въ развращенности, оскорбляеть ея человѣческое и женское достоинство, но все это не уменьшаеть ни его, ни ея страсти: кто знаеть—можетъ быть, и усиливаеть ее?

Клеопатра хорошо понимаеть, въ какомъ неразрываемомъ плѣну находится у нея Антоній; но извѣстіе о томъ, что онъ женился на Октавін, все-таки глубоко поразило ее. Послѣ отъѣзда Антонія она нп на одну минуту не разставалась съ нимъ въ своей мысли, была

его духовной спутницей и подъ сердцемъ носила его ребенка (какъ потомъ оказалось—двухъ близнецовъ). И вдругъ, является гонецъ съ такою неожиданной и обидной въстью. Клеопатра не даетъ ему говорить, засыпаеть его словами, торопить его, но этимъ сама же мъщаетъ ему поскоръе сказать то, что онъ съ собою привезъ. Зачъмъ она это пѣлаетъ? Или здѣсь виноватъ Шекспиръ, который не разъ оставляеть такое впечатленіе, что, подпадая соблазну словь, онъ расточаетъ ихъ тогда, когда умъстнъе и красноръчивъе было бы одно молчаніе? Несомнівню, что слово у Шекспира избаловано и часто позволяеть себъ больше, чъмъ уполномочиваеть его психологія; но какъ разъ въ данной сценъ оно можетъ быть оправдано: потому не даетъ Клеопатра гонцу говорить, что она, умная, уже все знаетъ, она догадалась, она въ молчаньи гонца прочитала все. Не могла она не предчувствовать, что действие ея чаръ на Антонія тамъ, за предълами Египта, будетъ прервано. Въ изступленіи, давъ, наконецъ, гонцу сказать свою печальную въсть, она бъеть его, бросается на него съ кинжаломъ, гонитъ его отъ себя и потомъ возвращаеть, чтобы узнать о цвете волось Октавіи, о росте ея, чтобы женскимъ слухомъ своимъ выслушать завъдомо-невърное описание ея мнимаго безобразія...

«Однимъ кивкомъ» своей чарующей головы вернула къ себъ Клеопатра Антонія, и теперь уже съ нимъ все покончено: она его не отдастъ больше славъ, мужеству, исторіи. Она послъдуетъ за нимъ, «его Өетида», въ морскую битву при Акціи: тамъ и произошла эта единственная въ мір'в сцена, когда, близкій къ поб'єд'в, Антоній вдругь новернуль свой адмиральскій корабль во слёдь своей бёгущей Өетидь, которую обуяль внезапно обыкновенный женскій страхъ... Антоній въ отчаяніи. Онъ «покинуть самимь собою», онъ потеряль самое право на мёсто въ мірів, его больше нівть въ живыхъ. Но вотъ пришла къ нему Клеопатра. Онъ осыпаетъ ее горькими укорами: она въдь знала, что страстью обезсилень его мечъ и что одного ея мановенія достаточно, чтобы онъ нарушилъ волю самихъ боговъ. Онъ упрекаетъ ее, но Клеопатра проситъ прощенія и плачеть. Клеопатра плачущая тожеть ли быть существо болье непобъдимое? И Антоній умоляеть ее не плакать, -- одна ея слеза дороже всего, что можно выиграть или проиграть, и онъ просить ее объ одномъ, о томъ же, о въчномъ: «поцълуй меня!» give me a kiss! Ея поцелуй вознаградить его за все, за позоръ и униженіе, за ореоль стыда, въ которомъ перейдеть его имя въ исторію. Give me a kiss! Не правъ ли быль поэтому Скаръ, приближенный Антонія, говоря: we have kiss'd away kingdoms and provinces—«царства и области процъловали мы» (какъ переводятъ Минскій и Чюмина)? И не правъ ли военачальникъ Канидій, говоря объ Антоніи: «нашъ вождь ведомъ, и мы—подъ властью женщины мужчины» (so our leader's led, and we are woman's men)? И только ли на Антонія распространяется это драматическое сказаніе о ведомыхъ вождяхъ?..

Когда отъ побъдителя Цезаря явился къ Клеопатръ посолъ Тирей, она его такъ благосклонно выслушала и позволила ему поцъловать ея руку, ту самую руку, которую некогда осыпаль поцелуями Цезарь старшій, знаменитый Юлій. Это увидёль Антоній и вельть Тирея, посла неприкосновеннаго, высычь плетьми. За что? Ему казалось, что онъ наказалъ Тирея за дерзкую фамильярность, за то, что тотъ забылъ огромное разстояніе, отділяющее его отъ царственной Клеонатры, смертнаго отъ богини. Ему казалось и то, что египтянка, протягивая руку Тирею, цезареву послу, протягиваеть ее и самому Цезарю. Но больше всего, несомнино, владила Антоніемъ ревность-такая же глубокая, какъ и его любовь. Бълыя руки Клеопатры—кто смветь къ нимъ прикасаться, кромв Антонія, и какъ смћетъ Клеопатра протягивать ихъ чьимъ-нибудь другимъ устамъ, кромъ въчно влюбленныхъ устъ Антонія? (Только побъдителю Скару онъ самъ позволилъ, въ своемъ присутствіи, поцеловать руку царицы).

Отнын' трепещи, какъ въ лихорадк', При вид' б'влыхъ женскихъ рукъ,—

говорить онъ изсѣченному Тирею, а послѣ его ухода обрушивается на Клеопатру цѣлымъ потокомъ обидныхъ, презрительныхъ, унижающихъ словъ—тѣ же плети! Но, какъ всегда, побѣдительницей остается Клеопатра, вождь надъ вождемъ, и опять Антоній—съ нею и сулитъ ей новыя ласки. Иной разъ она помогаетъ ему надѣвать доспѣхи, и онъ цѣлуетъ ее, закованный въ сталь,—но жепщина не можетъ быть оруженосцемъ, и любовникъ убиваетъ воина.

Трепетать какъ въ лихорадкѣ при видѣ бѣлыхъ женскихъ рукъ едва ли не слѣдовало больше, чѣмъ Тирею, самому Антонію, потому что именно для него эти руки имѣли такое трагическое значеніе. Вслѣдъ за позоромъ онѣ привели его и къ смерти. Онъ уже себѣ самому казался призракомъ; онъ сравнивалъ себя съ какимъ-то человѣческимъ облакомъ, которое принимаетъ разныя, подчасъ красивыя и пышныя очертанія, но потомъ неизбѣжно таетъ, «становясь неразличимымъ какъ средь воды вода». Впрочемъ, у него остался, какъ онъ говоритъ, еще онъ самъ, и онъ рѣшилъ сдѣлать послѣднее вычитаніе— отнять себя у себя, броситься на мечъ.

Правда, Клеопатра обманула Антонія изв'ястіем в о своей смерти,

и такъ какъ читатели про ея обманъ знаютъ, то все патетическое, что подъ вліяніемъ этой ложной в'єсти говорить и д'єлаеть Антоній, даже его самоубійство, совершаемое съ цёлью «догнать» Клеопатру, не можетъ произвести на нихъ должнаго впечатленія: у нихъ петь той иллюзіи, во власти которой находится герой. И это способно передвинуть трагическое на границу комики. Здесь виновать, конечно, самъ Шекспиръ, нарушившій, въ извістной мірь, серьезность и торжественность ситуаціи. Но въ конці пьесы вы въ этомъ отношеніи примиряетесь съ авторомъ, такъ какъ въсть о кончинъ Клеопатры была только преждевременной и финалъ царицы былъ именно таковъ, какимъ она его измыслила. Выдумка совпала съ дъйствительностью: Клеопатра хотъла обмануть, но обманулась сама, и нѣсколько позднѣе она осуществила свой миоъ. Поэтому и самоубійство Антонія тоже было только преждевременнымъ, но по существу оно было всецело и глубоко мотивировано.

Итакъ, онъ хочетъ кончить съ жизнью всё свои сложные счеты. Но всегда двойственный, не цёльный, воинъ, порою измёняющій любви, любовникъ, часто измёняющій войнё, онъ и въ свои последніе часы обнаружиль то же отсутствіе законченности. Опъ долго не рёшался упасть на собственный мечъ и просилъ Эроса убить его. Благородный Эросъ не былъ въ силахъ это сдёлать, но еще меньше быль онъ въ силахъ вообще пережить смерть Антонія, и потому онъ своимъ мечомъ убилъ не Антонія, а себя.

Эросъ. Я вынулъ мечъ.

Антоній. Такъ пусть свершаетъ

То, для чего онъ вынутъ.

Эросъ.

Дорогой

Мой господинъ, мой вождь, мой повелитель! Предъ тъмъ, какъ нанести ударъ кровавый, Позволь сказать: прости!

Антоній.

Ты ужъ сказалъ.

Прости и ты.

Эросъ. Прости, великій вождь.

Теперь разить?

Антоній. Да, Эросъ.

Эросг.

Ну, такъ воть

(падаеть на свой мечь).

Избавленъ я отъ горя видѣть смерть Антонія.

(Умирастъ).

Великій примѣръ устыдилъ нерѣшительнаго полководца, изнѣженнаго женщиной, и онъ прибѣгъ, наконецъ, къ помощи меча. Но вездѣ поджидалъ его недостатокъ цѣльпости, была чужда ему нравственная сферичность, и оттого онъ только ранилъ себя. Шекспиръ не устрашился этой неэффектности, и потому Антоній не умеръ, а умираетъ.

Свои последнія минуты онъ, конечно, отдалъ Клеопатре:

Умираю,

Египтянка, но задержаль я смерть, Чтобъ на устахъ твоихъ запечатлёть Изъ многихъ тысячъ поцёлуевъ жалкій, Послёдній поцёлуй.

(Въ подлинникъ—сильнъе: I am dying, Egypt, dying, only I here importune death a while—«я ръшаюсь немного наскучить смерти», чтобы дать Клеопатръ свой нослъдній бъдный поцълуй: of many thousand kisses the poor last—послъдніе остатки когда-то роскошной трапезы, неслыханнаго празднества любви).

Въ присутствіи Клеопатры Антоній умеръ достойно; онъ чувствоваль себя челов'єкомъ и римляниномъ до посл'єдняго вздоха, онъ помниль свое великое прошлое, и духовная жизнь трепетала въ немъ до копца, душа не угасла раньше тѣла,—онъ жилъ до самой смерти. Такъ прекрасна, хотя и безвременна, хотя и ускорена Клеопатрой, была его кончина, что естественны въ устахъ египетской волшебницы ея жалобы на обезлюд'єніе міра: жилъ въ мір'є только одинъ, Антоній,—онъ умеръ, и остался міръ ненаселенный:

...the odds is gone, And there is nothing remarkable Beneath the visiting moon.

The odds is gone: исчезло всякое неравенство, т.-е. нѣтъ теперь лучшаго и худшаго, — все одинаково, все безразлично, все неинтересно. Жизнь потеряла свои качественныя различія, стала безкачественной. Подъ луною ничего не осталось достойнаго вниманья. Бѣгство съ битвы могло унизить Антонія въ глазахъ міра, но только возвысило его въ глазахъ Клеопатры, и она не сомнѣвалась, что покуда онъ жилъ, онъ былъ «вѣнецъ земли».

На землѣ неувѣнчанной Клеопатра не захотѣла жить. У нея, прежней законодательницы наслажденій, зародилось теперь глубокое презрѣніе къ жизни и землѣ, и она жаждетъ одного — уснуть, умереть, куда-нибудь подальше уйти. Еще не мертвая, она уже больше не живетъ. Ея собственная жизнь начинаетъ ей сниться.—

обычный шекспировскій мотивъ: жизнь—сонъ. Клеопатра сомнавается, было ли все то явью, что она помнитъ, дайствительно ли былъ Антоній: I dreamt there was an emperor Antony...

Мить снилось: жилъ Антоній императоръ. Ахъ, видёть бы еще разъ сонъ такой, Чтобъ встрётить вновь такого человівка.

Быть можеть, и золотой корабль на Киднъ, и пурпурные паруса, и самъ Антоній—только художественныя произведенія? Красота природы и красота искусства, Клеопатра не знаеть, кому отдать Антонія—природъ или искусству, и она высказываеть мысли, которыя потомъ своеобразно повторилъ соплеменникъ Шекспира Оскаръ Уайльдъ:

Въ созданьи дивныхъ формъ безсильна спорить Съ фантазіей природа...

Природа меньше искусства. Есть у природы то безсиліе, которому чуждо искусство.

...Но создавъ Антонія, природа превзошла Фантазію и въ тіни превратила Ея созданья.

Высшая хвала природѣ, это—сказать, что она уподобилась искусству или, тѣмъ болѣе, превзошла его.

Реальный или приснившійся, созданіе природы или мечта искусства, Антоній во всякомъ случав быль душою Клеопатры. Правда, парица прибвгаеть къ самоубійству не только изъ-за его смерти, но и потому, что она не хочеть быть участницей въ тріумфальномъ кортежв его побвдителя,—но все же оть жизни отозваль ее не побвдитель Цезарь, а побвжденный Антоній. И если когда-то великіе міра, мужественные полководцы, такъ занимали ее, какъ женщину и человвка, если она была близка къ Цезарю старшему, то теперь ко всёмъ она безпредвльно-равнодушна, и Цезарь младшій ея не интересуетъ. Быть украшеніемъ его тріумфа (твмъ болве что ей нужно было бы тогда стоять передъ своей соперницей Октавіей, которая бы ее «своимъ смиреннымъ взоромъ бичевала») она не хочетъ; украсить своей красотою Цезаря теперь она считаетъ для себя невмѣстнымъ.

Характерно и то (одинаково и для Клеопатры, и для актера Шекспира), что она боится неправильнаго и комическаго воспроизведенія своей жизни на сценъ. Когда ее приведуть въ Римъ

(предсказываеть она), комедіанты ловкіе будуть на подмосткахъ разъигрывать ее и Антонія—и въ какомъ видъ!

> Насъ выведутъ на сцену, представляя Пиры александрійскіе. Антоній Въ нихъ будетъ пьянымъ вынесенъ на сцену, А я увижу, какъ пискливый мальчикъ Придастъ мнѣ видъ и голосъ потаскухи И надъ моимъ величьемъ насмѣется.

Можно еще перенести дурную реальность,---но какъ видъть себя объектомъ дурного искусства? Оттого Клеопатра въ свои последнія минуты предпочитаеть разъиграть себя сама. Она жизнь закончить спектаклемъ, она умреть на сценъ, - великая актриса древняго театра. Вотъ ей принесутъ дарскіе наряды, ея лучшіе уборы, и пригрезятся ей опять Киднъ и золотой корабль, и она сама подъ шатромъ изъ драгоценной матеріи, и будеть она, въ облаке тончайшихъ благовоній, ударами серебряныхъ весель по очарованной и притихшей водь, какъ ослъпительное видъніе, приближаться къ Антонію. Въ корон'я и порфир'я, теперь уже достойная назваться супругой Антонія, потому что она сравнялась ему неженскимъ мужествомъ, она спѣшитъ къ возлюбленному супругу. «Я вся истосковалась по безсмертьи» (I have immortal longings in me)-по томъ безсмертіи, которое дается смертью. Въ устахъ той, которая недавно была упоенной царицей жизни, такъ знаменательно звучатъ слова о вивжизненномъ безсмертіи. Клеопатра какъ бы сбросила съ себя земную тяжесть, все бремя своей чувственности: она стала такою одухотворенной и тонкой, она побъдила свое прежнее естество, произопла канонизація Клеопатры.

I am fire and air; my other elements I give to baser life.

«Я—огонь и воздухъ; мои другія стихіи я отдаю низшей жизни». Отъ Клеопатры остались только свѣтлѣйшіе элементы: эвиръ и очистительный огонь, эта душа всякихъ жертвоприношеній; то же, что было въ ней тлѣннаго и низменнаго, разсѣялось по міровымъ пространствамъ, ушло въ низшія формы бытія. Землѣ—земное, но духъ и огонь свой надо отдать вѣчности. Такъ и сдѣлала Клеопатра, и стала она вѣчной въ огнѣ и эвирѣ искусства, въ дивномъ разсказѣ Шекспира...

Но нѣтъ, не хочется еще разставаться съ нею и съ нимъ, этимъ разсказомъ, —хочется еще дочитать самыя послѣднія строки ея порочной и прекрасной жизни.

Воплощеніе любви, царица вызывала къ себѣ любовь и женщинъ. Оттого не могли пережить ея Харміана и Ира, ея прислужницы, ен наперсницы. Прежде чѣмъ Клеопатра, сама «нильская змѣйка», приложила къ своей груди змѣю, «смертоносную шалунью», она поцѣловала ихъ, Иру и Харміану: «придите же, примите вы устъ моихъ послѣднее тепло», — послѣдній, чистый поцѣлуй такъ много цѣловавшей Клеопатры!. Едва принявъ лобзанье своей владычицы, зашаталась Ира и упала мертвая. «Неужели въ моихъ устахъ ехидны скрыто жало?» спрашиваетъ Клеопатра и, обращаясь къ своей мертвой служанкѣ, которая мгновеніе назадъ жила, она произноситъ эти поразительныя, эти безотрадныя слова, проникнутыя всѣмъ пессимизмомъ шекспировской философіи:

Ты ль такъ лежишь недвижно? Исчезнувъ такъ, ты будто говоришь, Что міръ не стоитъ, чтобъ мы съ нимъ прощались.

Не въ нашей власти не привътствовать міра при первой встръчъ съ нимъ; но въ нашей власти съ нимъ не проститься. И отказывая ему въ прощальномъ привътъ, не удостаивая обернуться на него въ послъднюю минуту въчной разлуки, мы этимъ въдомо или невъдомо для себя выносимъ ему смертный приговоръ, приговоръ презрънія,—и можно ли лучше отомстить ему, ярче проявить свою несломленную имъ человъческую гордость и достоинство?..

Клеопатра не хотѣла, чтобы Ира раньше ея встрѣтила за гробомъ Антонія и, быть можетъ, получила отъ него первую ласку: она поспѣшно приложила къ своему сердцу змѣю, которая сразу должна была и спутанный узелъ жизни развязать своимъ укусомъ, и насмѣяться надъ Цезаремъ, ожидавшимъ Клеопатры не мертвой, а живой. Какъ ребенка держала царица змѣйку у своей груди (ту baby at my breast), и нѣжно, сладко, жгуче, какъ поцѣлуй Антонія, было прикосновеніе живого яда. «Въ опустѣломъ этомъ мірѣ» не котѣла медлить Клеопатра, и еще другой змѣи приняла она смертоносный поцѣлуй и умерла, а вслѣдъ за нею, поправивъ корону на головѣ своей царицы, умерла отъ той же змѣи Харміана, и когда пришелъ Цезарь, онъ засталъ одну только смерть.

Но и мертвая была прекрасна египетская царица Клеопатра. Не умираетъ красота. Восхищенно смотрѣлъ на египтянку Цезарь, и ему казалось, будто она спитъ притворнымъ сномъ и въ сѣти своей невиданной прелести хочетъ увлечь новаго Антонія. Въ одной гробницѣ съ Антоніемъ и велѣлъ похоронить ее Цезарь. И вѣрный разсказчику Шекспиру, онъ послѣднія свои слова произнесъ о томъ, что въ разсказѣ повторится жизнь Клеопатры и Антонія, — вторая и луч-

шая жизнь. И это преданіе, эта исторія, their story, будеть вызывать жалость и сочувствіе людей.

Бальзамъ поэтическаго сказанія сохраниль нетлѣнными Антонія и Клеопатру. Трагедія о нихъ рисуеть образь женщины, которая преодольла свою дурную стихію, коварство и цыганство своей лживой натуры, свои измъннические инстинкты, и доставила побъду другой, свётлой стихіи своей, неисчерпаемой любовности своего сердца, — образъ женщины, которая была непревзойденной царицей любви, но сама невольно стала ея рабыней и отдала ей свою жизнь. Трагедія о нихъ рисуеть образь мужчины, который къ ногамъ женщины принесъ высшее достояніе — свой мужской героизмъ, ради любви не устрашился позора и уже не юношей, а тогда, когда, по его собственному упоминанію, черныя кудри на его головѣ перемежались съ съдыми, купилъ поцълуй цъною Рима, — образъ мужчины, страсть котораго была такъ патетична и глубока, и сосредоточенна, что даже нъгу жизни сумъла она претворить въ нъчто серьезное и трагическое и сама сдълалась новымъ героизмомъ: именно въ томъ и надо видъть величіе Антонія, что хотя онъ сознательно и рѣшилъ подавить въ себѣ героя, но органически онъ этого не могъ и героемъ остался.

И шекспировская драма ставить передъ нами трудный и трагическій вопрось: совм'єстимы ли въ пред'єлахъ жизни подвигь и любовь, дъло и страсть, или же надо либо умереть, либо произвести между ними выборъ? Гдъ женщина не мъщаетъ, гдъ свътитъ она кроткимъ сіяніемъ Порціи или Октавіи, тамъ любовь показываеть себя не въ своей конечной потенціи, не на своей последней высоть: тамъ она принимаетъ обликъ дружбы, тихой привязанности, мирнаго общенія. Но тамъ, гдв любовь тушить всв остальные огни, чтобы темъ ярче горель ея единственный зловещий факель. который держить въ своей неотразимой рукв царица Клеопатра, смуглая Геката страсти; тамъ, гдъ она претворяетъ душу въ одно сосредоточенное пламя, которое способно испепелить не только героизмъ храбраго, долгъ и отвату римскаго гражданина, но и самую жизнь вообще, и въ жалкія руины превратить цёлые міры, возстановить державу древняго Хаоса, -- тамъ остаются ли еще какія-нибудь другія возможности, есть ли еще мъсто для чего-нибудь иного? Или истинная любовь ни съ чемъ не делится? Или истинная любовь, въ своей самодержавности, такъ безусловна и такъ требовательна, что не только Антонію нельзя было одновременно быть и гражданиномъ, и любовникомъ, но и никому живому не даетъ она сочетать въ одно мирное цълое Рима и Египта, дъла и страсти, подвига и поцелуя?..

Коріоланъ.

Претвореніе біографіи въ дѣйствіе, Плутарха въ трагедію составляеть одну изъ характерныхъ и привлекательныхъ чертъ Шекспира. Спокойный разсказъ, кристаллизація жизни всегда пробуждали его динамизмъ, и у него была неодолимая потребность матерьялъ, завѣщанный исторіей, приводить въ движеніе, ярко драматизировать его. При этомъ естественно, что драматургъ-психологъ углублялъ преданіе, раздвигалъ перспективы единичнаго факта и все частное, временное, ограниченное показывалъ въ его философской сущности и вѣчномъ смыслѣ. Исторія подъ его рукою не только оживала, не только начинались опять, казалось бы, давно законченныя представленія міра, и на сцену выходили герои, уже поблѣднѣвшіе въ памяти человѣчества, но и дышало все это мудростью великихъ поученій, творило двойное безсмертіе — дѣла и думы, міра и міровоззрѣнія. Лѣтопись превращалась у него въ книгу бытія.

Но нельзя сказать, чтобы именно въ «Коріолань» Шекспиръ довель до конца это пресуществление факта въ категорію, случая въ необходимость. Онъ не воспользовался своею властью, счастливой властью поэта, возводить эмпирическое на высоту всеобщей разумности и въ этомъ смыслѣ поправлять исторію. Онъ здѣсь не облагородилъ и не умудрилъ ея; напротивъ, даже тъмъ, что далъ ему Плутархъ, онъ до нъкоторой степени пренебрегъ-на пагубу себ'в и своему герою. Коріоланъ у него — изм'єнникъ, предатель Рима. Правда, такъ это и у Плутарха; но знаменитый біографъ, какъ извъстно, пытается хоть объяснить, психологически мотивировать измёну римлянина и разсказываеть, что изгнанный и оскорбленный вождь, въ тоскъ своего одиночества, отъ кипучаго гнъва перешель къ холодной мстительности и злобъ, которыя и довели его постепенно до соединенія съ врагами родины (ср. статью о «Коріолані» В. Спасовича въ IV-мъ т. перевода сочиненій Шекспира, изд. Брокгауза и Ефрона, стр. 143). Шекспиръ же какъ будто и не задумался передъ той душевной катастрофой, которая сделала Коріолана изъ патріота предателемъ, не увидель здесь никакой проблемы и неожиданности, обощель самый тонкій и самый важный моменть всего событія. Это оскорбляеть своею грубостью и лишній разъ показываеть, что Шекспиръ нередко бываль ниже самого себя.

Въ данномъ случат это особенно жалко потому, что авторъ нарушилъ красоту и цъльность такого образа, который иначе могъ бы послужить удивительной иллюстраціей не только античнаго духа,

но и психологіи, намъ современной. Вѣдь безспорно, что въ «Коріоланѣ» художественно намѣчены темы о демократизмѣ, о взаимномъ отношеніи особи и общества, о границахъ индивидуальности; вѣдь несомнѣнно, что натура героя всею мощью личнаго начала противится давленію собирательнаго цѣлаго. Это—протестъ единственнаго числа противъ множественнаго, человѣка противъ человѣчества. Коріоланъ—живое воплощеніе аристократизма; онъ больше, чѣмъ кто-либо, знатенъ, и Ницше, который могъ бы видѣть въ немъ своего предтечу и любимца, долженъ бы его считать и называть vornehm.

Въ Коріоланъ замътны двъ грани: онъ самъ-необыкновенная, ярко окрашенная личность, и въ то же время онъ-представитель всьхъ яркихъ (въ теоріи) и выдающихся личностей, всьхъ, кто образуетъ верхи государства. Онъ-первый, и въ то же время онъ блюдеть первенство своего класса; онь-аристократь за всёхъ аристократовъ. Его общественные принцины совпадають съ его личными настроеніями; знатный и гордый, онъ хотьль бы, чтобы государство было организованной знатностью и гордостью, чтобы оно было расширенной, грандіозной индивидуальностью и само представляло собою нъкую аристократическую личность. «Государство, это-Коріоланъ»: такъ можно было бы формулировать его гражданское испов'єданіе. Но именно поэтому естественно, что личность, предъявляющая къ государству такія требованія, въ государств' не нуждается. Если въ человъкъ живетъ коріолановское пониманіе общественности, то въ немъ надъ общественностью легко возобладаеть индивидуализмъ, и никакой Римъ, никакой міръ не удержитъ его въ своихъ предълахъ, никакая община не привяжетъ его связями прочными, и ему будеть все равно, числиться ли въ той или въ другой государственной организаціи. У него не будеть своей общественной родины, и онъ станетъ переходитъ изъ страны въ страну. Онъ вездъ будетъ жить только у самого себя, и для него одинаково будеть чужбиной свой ли край или чужой: кто дома повсюду, тотъ не дома нигдъ.

Такъ, можетъ быть, Коріоланъ и палъ жертвой этой антиноміи, этой невозможности для мощнаго индивидуума, для крайняго аристократа въ душѣ, чувствовать родину и хранить съ нею неразрываемыя связи? Можетъ быть, Коріоланъ переросъ Римъ, и въ этомъ заключается психологическое объясненіе, даже оправданіе его предательства, его похода на родныя стѣны?

Но нѣтъ: Шекспиръ въ такомъ случаѣ изобразилъ бы его космополитомъ,—на самомъ же дѣлѣ, подъ его перомъ, Коріоланъ—истинный римлянинъ и однимъ изъ главныхъ лозунговъ своей не-

нависти къ плебеямъ, къ ихъ многоголовой и «многоголосной» гидрѣ, провозглашаетъ славу и благо Рима, единство верховной власти, цѣльность непобѣдимаго государства. Нѣтъ, Коріоланъ не космополитъ, а патріотъ, — и тѣмъ непонятнѣе его измѣна. Кромѣ того, въ нѣдрахъ человѣческой души индивидуализмъ и патріотизмъ вполнѣ соединимы, и какъ бы ни была самобытна личность, измѣнѣ мѣшаетъ въ ней не только этика, но и простая психологія, — стихійное и непобѣдимое чувство родины.

Върно лишь то, что Шекспиръ, дъйствительно, показалъ внутреннюю независимость Коріолана, его самочинность, —ту черту, которая, при иныхъ условіяхъ, но не въ Римъ, въ иномъ человъкъ, но не въ римлянинъ, можетъ привести къ отказу отъ родины, къ замкнутой исключительности. Въ гордынъ своей богатой и самостоятельной души Коріолань, человъкъ великаго презрънія, гнушается всякой чернью. Онъ не признаетъ равенства, и смѣшаться съ толпою, быть однимъ изъ многихъ, согнуться подъ иго уравнительнаго принципа было бы для него невыносимо. Не то, однако, чтобы онъ былъ высокомфрень и честолюбивь за себя лично: здёсь онъ чувствуеть себя носителемъ патриціанской идеи, онъ заступается за высоту вообще. Ему, какъ сказалъ бы тотъ же Ницше, его призванный истолкователь, въ необычайной степени свойственъ «паоосъ разстоянія». Коріоланъ большими пространствами отдёляеть людей отъ людей, и въ томъ для него заключается условіе прогресса, чтобы эти дистанціи только возрастали. Если историческій Кай Марцій Коріоланъ быль надмененъ и непріятенъ, то въ этомъ нѣтъ внутренней обязательности: онъ могъ бы въ обращени быть и привътливъ, и ласковъ, — и тогда еще обиднъе была бы его душевная отчужденность отъ меньшей братіи, его презрѣніе къ народу. И если бы онъ отзывался на его нужду, на его голодъ и не былъ противникомъ безплатной раздачи хлъба, то для демократовъ еще ненавистнъе быль бы этотъ патрицій съ головы до ногь, этоть убъжденный аристократъ крови и души. Опъ способенъ возбуждать пегодованіе, онъ возмущаетъ своимъ исповъданіемъ неравенства, и такъ понятно, что римскій плебсь едва не убиль своего отрицателя. На меньшее отвѣчаютъ большимъ, и кто презираетъ, того ненавидятъ. Коріолана провозгласили врагомъ народа: хуже всего то, что это невърно; хуже всего то, что онъ не удостаиваетъ быть народу врагомъ. Со стороны сильнаго вражда должна заключать въ себъ извъстный элементь уваженія и равенства, — его же совершенно отрицаетъ Кай Марцій. Какъ выразился про него одинъ изъ служителей Капитолія: «ему все равно, любить его чернь или ненавидить». Онъ не ищетъ популярности, онъ не ищетъ, конечно, и ненависти, хотя

его рёзкая откровенность какъ будто и заставляетъ думать послёднее. Презирать плебеевъ и вообще сознавать разницу между собою и другими онъ научился въ пылу сраженій: питомець войны, самъ онъ отваженъ какъ Марсъ, а его солдаты неръдко и, не успъвъ окончить битвы, хватались за жалкую добычу, тащили «кто подушку, кто ложку оловянную, кто тряпки». Безкорыстно воюють одни патриціи. А безкорыстіе самого Марція такъ велико, что онъ отказывается даже отъ похвалъ: это не манерность. онъ совершенно искренне не можетъ выслушивать себъ папегириковъ. Ему не нужно разсказчика или певца. Гордый, самодовлеющій, человъкъ внутренней самооцънки, онъ не нуждается въ чужомъ одобреніи. Онъ стыдится славы, онъ не помнить о своихъ побъдахъ. не разсказываеть о нихъ, — онъ только ихъ одерживаеть. Онъ сдълаль и уже о своемь дълъ забыль. Подвигамь своимь не ведеть онъ счета и, совершивъ одинъ изъ нихъ, идетъ къ другому, ---идетъ дальше. Впоследствій онъ будеть ограждать себя и отъ моленій жены и матери именно этимъ сознаніемъ своей духовной независимости: онъ захочетъ порвать всв естественныя привязанности, бросить вызовъ природъ и держать себя непреклонно, какъ «если бы человъкъ былъ самъ своимъ творцомъ и не имълъ никого родныхъ» (as if a man were author of himself and knew no other kin — «мужъ безъ родни и родины»). Отказавъ себъ самому въ памяти, всегда правственно налегкъ, собою не обремененный, онъ потому и можетъ двигаться такъ увъренно и дерзновенно. Его именно въ томъ и упрекають, что опъ хочеть «самъ быть всёмь» Это человёкь, который не дълится. Оттого онъ и противъ дълежа власти. Онъ такъ одаренъ и преисполненъ собою, что можетъ не выходить изъ своего одиночества; и если, напримъръ, въ трагедіи слишкомъ часто говорять о его ранахъ (это непріятно дійствуеть на читателя), то меньше всего упоминаеть про нихъ самъ раненый. Этотъ аристократь въ сущности необыкновенно простъ; не изнъженный, не утонченный, онъ много собою не занимается, онъ не умфеть льстить не только другимъ, но и самому себъ. Скромный при всей своей грубости, честный и закаленный, онъ, по характеристикъ его соперника Авфидія, «храбрѣе дьявола, но не хитрѣе» (bolder but not so subtle).

Такому человѣку, олицетворенію патриціанской идеи, надо было плыть противъ историческаго теченія. Оно выдвинуло права плебеевъ, оно создало необходимость въ народныхъ трибунахъ и ослабило значеніе аристократическаго сената. Для Кая Марція существовала только знать, между тѣмъ она какъ разъ должна была потѣспиться для другого класса. Борьбы съ исторіей не выдержалъ Коріоланъ, какъ не выдержить ея никто.

Побъда исторіи сказалась уже въ томъ, что Коріоланъ, по природѣ вовсе не склонный къ фактическому властвованію, хотя и сюзеренъ душой, согласился принять званіе консула, предложенное ему сенатомъ, и вынужденъ былъ, наперекоръ самому себъ, просить народъ объ избраніи, наноминать ему о своихъ ранахъ, которыя онъ обыкновенно, въ гордой стыдливости, пряталъ отъ празднаго удивленія и почтенія толиы. Самый принципъ выборовъ долженъ быль ему претить: что для него «крикливое большинство», ариометика голосовъ? Онъ какъ бы предвосхитилъ современное изреченіе, что голоса надо не подсчитывать, а взвъщивать, и ужъ если быль онъ сторонникомъ какой-нибудь собирательности, то именно меньшинства. «Родъ и санъ, и мудрость» — вотъ тѣ благородныя начала, которымъ однимъ, по его воззрвнію, подобаетъ власть. И все-таки онъ уступиль. Онъ подчинился обычаю, но высказаль при этомъ совсемь не консервативную, не коріолановскую мысль, что если бы мы во всемъ признавали власть обычая, то

..... никто не смѣлъ бы
Пыль старины сметать, а правдѣ—вѣкъ
Сидѣть бы за горами заблужденій
(Пересодъ Дружинина).

Итакъ, въ одеждѣ смиренной рѣшился Коріоланъ выпрашивать чужое и чуждое ему признаніе. Но по истинѣ смиреніе это было паче гордости, и такъ онъ просилъ, что самыя просьбы его скорѣе походили на оскорбленіе. Онъ иронизировалъ надъ своими избирателями, надъ ихъ сладкими и достойными голосами» (most sweet voices... worthy voices), которые были ему даны.

Оттого «тритонамъ снѣтковъ и мелкихъ рыбокъ», Бруту и Сицинію, народнымъ трибунамъ, на которыхъ Шекспиръ посмотрѣлъ глазами Коріолана и которыхъ показалъ въ жалкомъ освѣщеніи пошлости и ничтожества,—Бруту и Сицинію легко было сейчасъ же настроить свой народъ, какъ всегда у Шекспира, измѣнчивый и неблагодарный,—совсѣмъ на другой ладъ. Не успѣлъ Кай Марцій сбросить съ себя такъ неподходящія къ нему смиренныя одежды и опять узнать себя (или «сдѣлаться опять самимъ собою» — knowing myself again), какъ народъ отнялъ уже у него свое довѣріе и только что подаренные голоса. Еще болѣе убѣдился Коріоланъ, что нѣтъ болѣе ненадежнаго дарителя, чѣмъ плебсъ, и еще новый поводъ нашелъ онъ для своего презрѣнія къ нему. И, какъ всегда, побѣдивъ инстинктъ самосохраненія, онъ въ горячей рѣчи, ревнивый къ сенату и благородной знати, обрушился на «лысыхъ трибуновъ» и вообще па представителей народа и вла-

сти. Онъ обнажилъ мечъ противъ эдиловъ, совершилъ политическое преступленіе. Ему грозила за это смертная казнь,— но она его нисколько не испугала, и для ея предотвращенія онъ не сталъ бы льстить никому, такъ какъ нѣтъ у него разлада между устами и душой, и такъ вѣрно и такъ прекрасно говоритъ о немъ Мененій Агриппа:

> His nature is too noble for the world: He would not flatter Neptune for his trident, Or Jove for his power to thunder. His heart's his mouth.....

Онъ слишкомъ чистъ и прямъ душой для міра: Онъ не польститъ Нептуну за трезубецъ, Юпитеру—за право громъ метать! Его душа на языкъ: онъ смъло Всѣмъ говоритъ, что въ сердцѣ родилось, А въ гнѣвѣ забываетъ, что слышалъ Когда-то слово: смерть.

Если же онъ все-таки согласился было извиниться передъ народомъ, сдълать передъ людьми то, чего онъ и «передъ лицомъ боговъ свершить не въ силахъ», то лишь потому, что иначе опасности со стороны плебса подвергся бы не онъ одинъ, и еще потому, что его просила объ этомъ въ самой просъбъ своей гордая Волумнія, его мать, Юнона среди женщинъ, та великая душа, въ которой матрону побъдила мать и которая все-таки осталась великой и величественной.

Воинъ, который льстить, аристократъ, который угождаетъ черпи, индивидуалисть, который кланяется толпь, - въ этомъ есть непобедимое противоречіе, и меньше всего разрешить его можеть одинокій изъ одинокихъ, знатный изъ знатныхъ, Коріоланъ. Онъ искренне ръшился разъиграть роль, надъть на себя личину, но такъ выразительно было его лицо и такъ ярокъ былъ его внутренній подлинникъ, что притворство оказалось ему не подъ силу. Коріоланъ не могъ пе быть Коріоланомъ. Этотъ поб'єдитель только одной поб'єды, къ счастью, не въ состояніи быль одержать, -- надъ самимъ собою. Такъ склонялъ его къ умъренности Мененій Агриппа (изумительно - жизненный образъ благодушнаго житейскаго мудреца, практика и примирителя, умфющаго трезвой и хитрой мыслью обуздывать чужое пылкое чувство), — и Коріоланъ объщалъ Мепенію, что будеть отвъчать народнымъ трибунамъ «кротко» (well, mildly be it then; mildly); но лишь только Сициній, представитель ничтожества, назвалъ его врагомъ народа, изменникомъ, вся

«кротость» Коріолапа разсыпалась въ прахъ, и гивнымъ судьямъ своимъ, въ виду грозившей ему Тарпейской скалы, онъ, болве высокій, чемъ она, бросилъ въ лицо проклятіе и презрвніе. Тогда они вынесли ему приговоръ—изгнаніе. Коріоланъ ответилъ имъ: «я изгоняю васъ».

До сихъ поръ онъ цѣленъ въ своемъ благородствѣ, и пи одна тѣнь не ложится на его мужественный обликъ. Его аристократизмъ не мелокъ и оттого не имѣетъ въ себѣ пичего отрицательнаго: это лишь—проявление его натуры и способъ его патріотизма, это лишь—своеобразное выражение того типа, который называется civis romanus.

Но когда Шекспиръ заставляетъ Коріолана произнести эти не-римскія слова:

Я презираю васъ и городъ вашъ! Я прочь иду-есть міръ и кромѣ Рима

(второй стихъ сильнее въ переводе Дружинина, чемъ въ оригиналь-there is a world elsewhere, между тымь какы первый стихы поанлгійски грубъе и потому лучте—despising, for you, the city, thus turn my back), — то здѣсь кончается у Шекспира великое, и возникаетъ мелкое, исчезаетъ внутренняя правдоподобность героическаго образа, и Коріоланъ становится непохожъ па самого себя. Неужто онъ, въ противоръчіе себъ же самому, не понималь, что трибуны съ ихъ чернью---это еще не Римъ? Неужели въ Римъ не чувствовалъ онъ особой категоріи, особой мистической стихіи, которая поднимается и падъ борьбою классовъ, и надъ преходящими властелинами, и надъ сменою отдельныхъ римскихъ поколеній? Разве онъ не зналь, что это и буквально, и по существу невърно, будто есть міръ и кром'в Рима? Для Коріолана именно и не было міра, кромѣ Рима, и на этотъ вѣчный Римъ, на этотъ городъ-міръ не могъ онъ перенести своей обиды и горечи, своего презрѣнія къ плебеямъ. Отожествить Римъ съ плебсомъ-втдь это и значило бы для Коріолана отказаться отъ самого себя, опровергнуть все значеніе и смыслъ своей личности, не дать Шекспиру повода для трагедіи. Сдёлавъ Коріолана измённикомъ, Шекспиръ измёнилъ Коріолану и себъ. Если факты за него, то «тьмъ хуже для фактовъ», и драматургъ вовсе не обязанъ былъ повиноваться ихъ неразумной воль. Онъ ихъ послушался, и въ результать выходить, что были правы плебеи, а не патриціи, права та пошлость, которая вёдь и провозгласила Коріолана изм'єнникомъ. Восторжествовала пошлость; ей не далъ урока нашъ великій поэтъ, не научилъ ея, что презирать большинство, это не значить презирать родину, что ненависть къ черни

и ея правительству еще далеко не создаетъ предателя, что пусть презрѣнны римляне, но священенъ Римъ. Шекспиръ отнялъ у Коріолана благородство, -- какой же можеть быть посл'є этого въ трагедія о Коріолан'я интересъ? Не гордымъ изгнанникомъ, нравственно изгоняющимъ своихъ судей, является въ дальнъйшемъ развитіи сюжета шекспировскій полководець; вопреки своему объщанію, прежній Марцій не остался такимъ же, какъ и встарь, — онъ изміниль отечеству и отдалъ врагамъ родины свою отвагу, свой талантъ. свою безпримърную доблесть. Оттого онъ потерялъ право на читателя: после третьяго действія шекспировскій Коріоланъ попросту не интересенъ. Ужъ на него нельзя смотреть такъ, какъ смотрять на него авторъ и другіе персонажи трагедіи. Правда, когда онъ говорить: «я самь и утомлень, и жизнію скучаю», возникаеть симпатія къ его разочарованности и горькой судьб'є; но говорить онъ эти слова Авфидію, вождю вольсковъ, предлагая ему вмёсть идти на Рпмъ, и Авфидій называеть его «мой благородный Марцій» именно тогда, когда Марцій пересталь быть благороднымь. И пусть трогательно то, какъ умоляеть его мать о пощадъ Рима, и какъ стоитъ передъ нимъ каріатидой печали его жена, и протягиваетъ свои руки ребенокъ, - все это не примиряеть съ Шекспиромъ, потому что нътъ внутренней необходимости и нътъ никакой красоты въ томъ, чтобы мать просила римлянина не быть измѣнникомъ. Да и могъ ли онъ раньше не помнить, что у него есть и мать, и жена, и сынъ? И пусть навсегда поучительно то, что, изм'єнивъ родин'є, Коріоланъ не быль признанъ и на чужбин'є, оказался далекъ для всъхъ и былъ второй разъ отвергнутъ, даже убить, -- теперь уже не римлянами, а вольсками, не своими, а чужими: все это уже ни къ чему, съ настоящимъ Коріоланомъ читатели разстались давно, и они дочитывають знаменитую трагедію съ чувствомъ глубокой неудовлетворенности и печальнымъ сознаніемъ того, что по несчастной вол'в Шекспира Коріоланъ своего благородства не довелъ до конца и не остался на всю свою жизнь vornehm, натурой самодовлёющей и самолюбивой. Но въ этомъ виноватъ не онъ, а именно Шекспиръ.

Такъ онъ прошли опять передъ нами, эти въчныя трагедіи Шекспира. Въ пихъ много недостатковъ, и не только техническихъ, но и внутреннихъ. Но что передъ этимъ та живущая въ нихъ и не убывающая отъ времени сила, благодаря которой частныя и давнишнія событія отдъльныхъ людей онъ навъки обобщили въ типичные образцы, въ какія-то платоновы идеи человъчества? То, что

было до Шекспира, и то, что есть, и то, чего можно ожидать,—все это двигалось и движется какъ разъ по тёмъ колеямъ, которыя онъ воспроизвель и предуказаль. Недаромъ онъ такъ опирался на исторію: онъ взяль у прошлаго, чтобы дать будущему. Изъ всего многообразнаго, что въ мірѣ уже произошло, онъ выбраль именно то, что еще будетъ происходить. Въ игрѣ страстей, въ своеволіи жизненныхъ сочетаній онъ усмотрѣль нѣкоторыя общія и постоянныя категоріи, назваль ихъ безцѣнпыми словами и далъ конкретные примѣры для всего, чѣмъ живутъ и дышатъ глубокія дупи людей. Иллюстраторъ вселенной, онъ сдѣлалъ такъ, что къ заглавіямъ его произведеній можно свести все ея человѣческое содержаніе. На вѣщій голосъ дѣйствительности далъ онъ отклики искусства. Если міръ—книга, то его трагедіи— картины къ ней. У него и у жизни—однѣ и тѣ же темы. Онъ совпаль съ жизнью; оттого и не писана ему на роду смерть.

И кромѣ того, какъ это и подобаетъ всякому трагику, онъ взялъ человѣка въ его превосходной степени, онъ имѣетъ дѣло съ предѣльностью; потенціальную энергію людей превратилъ онъ въ кинетическую и геніально изобразилъ ту крайнюю высоту и напряженность, до которой можетъ въ своемъ пареніи достигнуть свободная душа, какъ изобразилъ онъ и ту крайнюю низину, безформенное царство Калибана, до которой можетъ въ своемъ паденіи спуститься эта же измѣнчивая и безудержная душа. У Шекспира—высшій павосъ и послѣднее испытаніе, какое только можетъ быть предложено конечнымъ существамъ въ границахъ временнаго бытія; у него—надъ трепещущими сердцами Страшный Судъ на землѣ; у него виднѣется конецъ міра, и если сдѣлать еще одинъ шагъ дальше, то будетъ уже хаосъ и свѣтопреставленіе.

Доведя земную душу до самыхъ предъловъ ея, черезъ всѣ круги существованія, ея спутникъ, Вергилій Человьческой комедіп, человьческой трагедіи, онъ показаль всѣ тяжелыя мытарства и муки, на какія мы обречены въ обителяхъ природы. Она поселила въ человькъ такія желанія и чувства, которыя неизбѣжно вырастаютъ въ пламенным страсти; а гдѣ страсть, тамъ смерть. Ея тѣнь необходимо сопровождаетъ шекспировскія драмы. Пусть нерѣдко на своей черной скрипкъ беретъ она примирительные аккорды и успокаиваетъ волненія сердець, но именно ею, только ею разрѣшается великое напряженіе духа. Изъ жизни нѣтъ исхода. Принцъ датскій не видѣлъ его даже въ смерти. Все безъисходно. И оттого трагизмъ представляетъ собою не случайность и поправимое нестроеніе живой реальности, а самое зерно послѣдней, вѣчное основаніе вещей. Отдаться ли непосредственному дѣлу и беззавѣтно плыть по теченію дней, отдаться

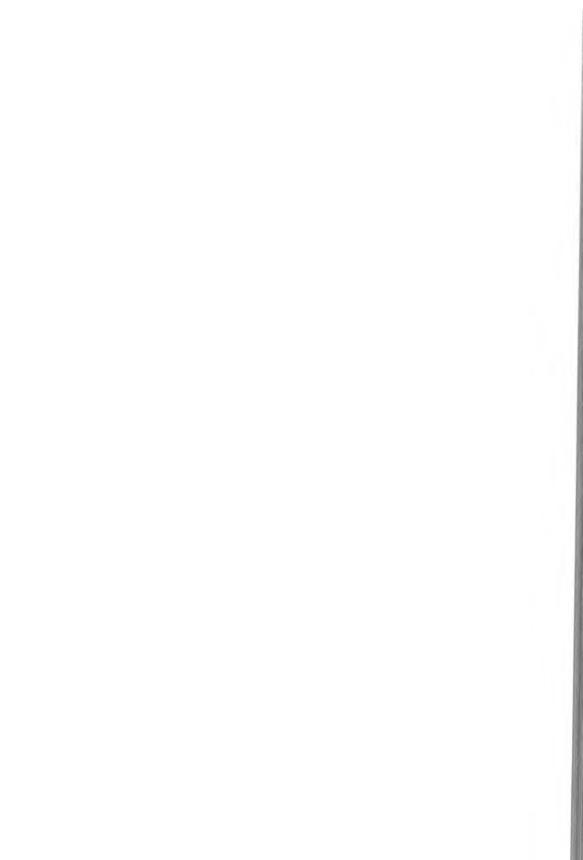
ли дум'в и въ медлительномъ размышленіи искать отв'єта на жгучіе вопросы бытія, въ св'єтлыхъ ли одеждахъ Дездемоны или въ темномъ плащ'в мыслителя Гамлета,—все равно, везд'в и повсюду неразр'єшимы челов'єческія задачи, нигд'є и никому нельзя миновать роковой безъисходности. Тотъ Художникъ, который создалъ міръ, задумалъ его какъ трагедію. Можно ли бороться съ этимъ изначальнымъ замысломъ и удивительно ли, что лучшіе изъ художниковъ-людей повторили его въ своихъ несовершенныхъ спискахъ съ мірового подлинника? Покуда есть природа и въ условія матерьяльности ввергнуто наше духовное начало, покуда не преодол'єнь законъ земного тягот'єнія, этотъ Калибанъ естества, и не наступило легкое царство Аріэля, покуда въ отверженіи вещественности м'єшаеть челов'єку то, что челов'єкъ есть вещь,— до т'єхъ поръ надъ этой ненужной природой и заключеннымъ въ нее пребываніемъ не разс'єтся господство трагической безсмыслицы и безнадежности.

Въ этомъ — оправданіе шекспировскаго пессимизма. Но когда пессимистомъ является поэтъ, то нѣтъ ли здѣсь внутренняго противорѣчія, и не опровергаетъ ли онъ самого себя? Счастье развѣ не тамъ, гдѣ красота? Самый фактъ Шекспира, его существованія, не есть ли уже преодолѣніе скорби, укрощеніе Калибана и одинъ наъ живыхъ источниковъ той вѣры, которая принимаетъ и благословляетъ міръ и надъ его темнотою зажигаетъ свои немеркнушіе огни?..



ГЕНРИКЪ ИБСЕНЪ.









I was a small of posterita and their times and the state of the the second of the second of the second second of the and the the out out the appropriate and the IN THE REPORT OF THE PARTY OF T removed in a respectation continue. Having the removes - попорати задочи. Оталетенное и попричин исthe average of reparations with the management of то не выполнять принавания и жимо правтом на пред Да око внображение и ат свое проти туч ставляющий, запъ бто раздоления, нь от породаto the factor of a party numerically and the factor of the with part two, many on parcont money consent too дали булит провинивилять и влутренной излечен- на з ререшетиться на кистючно специально плоthe cross or nongre, He determ menting or comment and arrows to appear to page 10 and 11 page 10the second of the tropic populars of the location Man-

The state of the s



Писатель безъ граціи, неприв'ятливый и негостепріимный, какъ природа его земли, суровый старикъ полуночи, тяжелой поступью прошель Ибсень по пивъ художественнаго творчества. Угловаты и жестки его типичныя пьесы, медленно и трудно раскрываются въ нихъ чужіе внутренніе міры, и не живая игра страстей пылаетъ и трепещетъ передъ нами, не яркая непосредственность эмоцій показываеть свои разпообразныя краски, а сосредоточенно дефилирують человъческія идеи, совершается процессъ міросозерцанія. И, можеть быть, въ томъ отношени напоминаетъ чеховскаго чернаго монаха этотъ монахъ седой, что, где бы онъ ни проходилъ, какой бы стороны существованія опъ ни касался, вездь разстилалась пугающая тьнь и міръ вставаль передъ нами какъ неумолимая проблема, звучалъ для насъ голосомъ взыскательной совъсти. Ничто въ глазахъ Ибсена такъ не интересно и не важно, какъ сознательное ръшеніе опредбленной жизненной задачи. Отвлеченное и конкретное не нашли себъ у него должной гармонизаціи; онъ съ напряженіемъ оріентируется между общими принципами и живою практикой; онъ жертвуеть правдоподобіемь и неуб'йдительно переводить идеи въ реальные характеры людей. Въ свое изображение и въ свои образы онъ вносить духъ ограниченности, такъ что раздичаешь въ его герояхъ концы и рамки, и не только онъ часто описываетъ маленькій городъ, но и собственный геній его, даже на высоть своихъ философскихъ запросовъ, не остался чуждъ провинціализма и внутренней стісненности. И порою надо перемъститься на какую-то спеціальную плоскость психологіи, чтобы его понять. Не можеть всецьло привлекать его въ свой очарованный кругъ шиллеровская игра. Самую эстетику свою покрывшій тінями своего сумрачнаго и неокрыленнаго духа, онъ не въ состояніи безнечно отдаваться вольнымъ грезамъ свободной и свътлой красоты. Ибсенъ слишкомъ дорого достается самому себь, онъ слишкомъ труденъ для самого себя, чтобы всей своей принужденной душою понять прелесть наивнаго, чтобы дать Норф доиграть свою жизнь до конца, чтобы принять челов ка Божьей мило-

стью, -- такое существо, которое не имъетъ никакого призванія, никакой заслуги, ничьмъ себя не заработало, не задумывается о своемъ правъ на жизнь, а просто живетъ и дышитъ, взысканное щедротами природы, живетъ на счетъ солнца. Ибо самъ онъ-пасынокъ солнца. И, въ драмахъ его, эта верховная красота, не различающая между добромъ и зломъ, первичный и благословенный фактъ, всеобщій подарокъ міра, великое и безплатное солнце восходить не на радость людямъ. Въ «Привиденіяхъ» оно освещаеть две конченныя жизни и не отражается въ молодыхъ глазахъ, потушенныхъ безуміемъ. Или молился Діонису, «царю-солнцу», Юліанъ Отступникъ, и флотъ свой, бълый, сверкающій парусами, радостно пускаль онъ плавать въ солнечномъ сіяніи-переносить легкокрылыя въсти между землей и небомъ; онъ хотълъ жизни въ красотъ, онъ возлагалъ на себя вѣнокъ изъ виноградныхъ листьевъ, онъ окружаль себя вакхантами и вакханками, --- но все это богослуженіе св'ту было иллюзорно, разочаровало его самого, и въ свои последнія минуты онъ съ такою горечью воскликнуль: «О, солнце. солице-зачьмъ ты меня обмануло?»

Совъсти подчиняетъ Ибсенъ страсть, зажженную солнцемъ, и не любить давать последней свободнаго и самочиннаго развитія. Онъ отвергаетъ автономію страстей и рано или поздно разбиваетъ ихъ о мысль или мораль. И если въ его драмахъ отсутствують легкость и воздушные просторы, если у него царять трудныя, долгія, волочащіяся чувства, то этому виною не только самыя свойства его литературнаго дарованія: вёдь онъ умість создавать и пряное, різкое, таковы страницы его геніальнаго «Перъ Гюнта»; въдь онъ умфеть сплетать, какъ, напримфръ, въ «Комедіи любви», діалогъ непринужденный и гибкій, и онъ способенъ къ юмору и острой шуткъ, и къ уничтожающей сатиръ, — нътъ, общая тяжеловъсность его коренится глубже и, можеть быть, находится въ органической связи съ тъмъ существеннымъ для него признакомъ, что, какъ писатель, онъ не синтезироваль въ себъ двухъ основныхъ моментовъ, характеризующихъ его произведенія, - своей эстетики и своей этики, Юліана Отступника и Христа. Съ одной стороны, міръ для него, это-огромный Росмерсхольмъ, древній замокъ, грузный, мрачный, съ фоліантами и генеалогическими таблицами, которыя символизирують собою дорогу къ прошлому, ветхій слідъ традиціи, старое дерево исторіи; и обитатель этого замка живеть въ атмосферѣ работы и книгъ, и Канта, подчиняется категорическому императиву и сознаніе исполненнаго долга, тяжелый кресть и чистую сов'єсть считаетъ высшимъ благомъ и радостью на землѣ. Съ другой стороны, Ибсенъ неуклонно выдвигаетъ эстетическое начало цъльности

и стильности,—тотъ свой излюбленный принципъ, въ силу котораго личность должна быть своимъ собственнымъ зодчимъ, должна построить самое себя и въ энергіи своей ничѣмъ не ограниченной воли сотворить изъ себя что-нибудь одно, но только непремѣнно законченное и цѣлостное. Что-нибудь одно... Но что же именно—хорошее или дурное? Или это все равно, и кантовская этика имѣетъ лишь формальный характеръ? Устами Бранда, исповѣдующаго девизъ все или пичего, Ибсенъ поучаетъ насъ:

Будь

Чѣмъ хочешь ты, но будь вполнѣ; будь цѣльнымъ, Не половинчатымъ, не раздробленнымъ! Вакхантъ, Силенъ—понятный, цѣльный образъ, По пьяница—карикатура лишь.

Итакъ, все равно, будешь ли ты хорошимъ или дурнымъ: будь только чемъ-нибудь до конца, будь самимъ собою вполив, бети средины. Но этотъ критерій, поднимающійся надъ моральной противоположностью добра и зла, не покориль себъ самого автора, и не цельнымъ оказался Ибсенъ. Онъ не скрылъ, что трезваго предпочитаетъ пьяному, добраго злому, честнаго обманщику, и не удовольствовался одною только формой дерзновенной и могучей воли: этотъ художественный сосудъ онъ хотълъ заполнить именно моральнымъ содержаніемъ. Отсюда и получилась его двойственность, отсюда и возникла непримиренность его этики и эстетики. Мораль связываеть ему руки. И если многіе его герои страдають гипертрофіей честности, если они, какъ Грегерсъ Верле изъ «Дикой утки», приходять въ какую-нибудь семью, чтобы водворить тамъ правду, и водворяють несчастье, то этимъ недугомъ они заразились отъ своего духовнаго творца. Вотъ чёмъ, въ последнемъ счете, если не обусловлена, то усилена неповоротливость его характерныхъ драмъ; вотъ гді одинъ изъ интимныхъ источниковъ той психологической аляповатости, которая отличаеть большинство его персонажей.

Отклоненіе отъ чисто-эстетическаго принципа можно видѣть у Ибсена еше и на другихъ примѣрахъ. Вотъ онъ показалъ, что даже кесарь не властенъ надъ красотою, даромъ солнца, не можетъ ея воскресить, если она не живетъ въ его собственномъ сердцѣ,—а для того, чтобы она тамъ жила, на ряду съ нею, проникая собою ее и въ себя воспринявъ ее, въ такой органической нераздѣленности, должна пребывать идея нравственная. Ибсеновскій Юліанъ изображенъ не такъ глубоко и психологично, чтобы мы имѣли право называть его Отступникомъ, трагическимъ разрушителемъ этой нераздѣленности: въ немъ Христосъ, какъ внутрен-

няя категорія, не явлень, и недостаточно видна у него борьба двойственности, разладь настроеній, колебаніе между полюсами эллина и іудея. Но эта эстетическая ошибка автора, невѣдомо для него самого, только поддерживаеть его преобладающую мысль о недостаточности одной красоты и одного послѣдовательнаго стремленія къ ней: Юліань, эстетикь на тронѣ, только эстетикь, не выдержаль требовательности галилейскаго плотника, оттолкнуль оть себя христіанство за его безусловность,—оттого и не удался ему подвигь его жизни, подвигь чистаго эстетизма, и, побѣжденный, Юліань ушель въ ничто, оставивь исторіи въ наслѣдство свой знаменитый кликъ: «Ты побѣдиль, Галилеянинь!»

Въ тъсныхъ предълахъ буржуазности эстетическій престолъ хотъла воздвигнуть себъ и Гедда Габлеръ, выродившійся потомокъ отважной Иордись («Воители на Гельгеландв»). Она тоже мечтала, что ея герой Левборгъ, какъ Юліанъ Отступникъ, увънчанъ виноградной листвою, живеть и умираеть красиво, осуществляеть свободную и смълую волю. Но она заблуждалась: ни жизнь, ни смерть Левборга совсимъ не была запечатийна красотой, и, какъ у того же Юліана, были не поэтичны, а низменны его оргіи, находившія себ'я финаль въ полицейскомъ участкъ, и сколько ни убъгала Гедда Габлеръ отъ пошлаго и смъшного, пошлое и смъшное настигало ее, и она должна была искать отъ него убъжища въ самоубійствъ. Отчего потерпъла она такую роковую неудачу? Для Ибсена это, несомненно, объясняется темь, что искательница красоты не имела ея въ самой себъ и была внутренне-безобразна отсутствіемъ моральной стихіи. Гедда была жестока и невеликодушна, боялась материнства, изъ ревности къ кудрявой соперницъ сожгла вдохновленную Теей рукопись Левборга, ихъ духовное дитя, и вообще въ своемъ эстетизмъ она не проявляла никакого благородства, не возвышалась надъ уровнемъ свётской дамы. Простодушная Теа въ золотомъ ореолѣ своихъ кудрей, возрождающая изъ пепла по черновымъ отрывкамъ сожженную книгу героя и этимъ возобновляющая утерянную было связь между прошлымъ и будущимъ, —не только более нравственное, чемъ Гедда, но и более эстетическое явленіе, — если только повърить Ибсену, что такая элементарная женщина, какъ Теа, действительно могла вдохновить такую сложную и нервную натуру, какъ Левборгъ, и если, добавимъ, простить автору то обычное для него уклоненіе отъ внѣшняго правдоподобія и сообразности, въ силу котораго женщина, узнавъ о смерти своего возлюбленнаго, реагировала на это извёстіе тёмъ, что сейчасъ же и тутъ же, на мъстъ, не выходя изъ дома, изъ чужого дома, принялась возстановлять его испепеленную рукопись по черновымъ наброскамъ, счастливо оказавшимся въ ея карманъ... Такъ моральное не заставляетъ себя ждать у Ибсена.

Но все равно, осуществляють ли ибсеновские герои свою волю просто какъ такую, независимо отъ того, на что направляетъ она свои лучи, или же они идуть къ возвышенной моральной цели, и то, и другое зрълище настраиваетъ читателя на исключительносерьезный ладъ. И общая, лишь изредка прерываемая угрюмость Ибсена приводить къ тому, что долго быть съ нимъ-жутко и неуютно. Ибо, во всякомъ случав, ставить ли онъ во главу угла личность или нравственность, -- онъ не художникъ мирной человъческой долины. Поэтъ высоты, пъвецъ подвига, строитель башни, онъ къ намъ не сойдетъ; мы можемъ только подняться къ нему, если не боимся этой головокружительной стремнины, всёхъ этихъ льдинъ и лавинъ, подъ которыми часто гибнутъ его отважные путники. Въ собокупномъ текстъ его пьесъ легко прочитать, что опъ испытываеть равподушіе къ счастью. Даже утонченный эвдемонизмъ не восходитъ своимъ теплымъ вѣяпіемъ на тѣ горныя вершины съ разрѣженнымъ воздухомъ, на тѣ крутизны труднаго дѣла, гдѣ только и чувствуетъ себя привольно нашъ съверный богатырь. Магнитъ счастья для него, желъзнаго, теряетъ свое притяжение. И въ этомъ смыслъ Ибсенъ возвышается надъ противоположностью пессимизма и оптимизма. Въ его подавляющемъ Росмерсхольмъ дъти никогда не кричатъ, а когда подрастутъ, не смъются. Одна женщина, проникшая туда изъ другого міра, рішилась было выступить противъ морали во имя счастья. Но когда счастье пришло къ Ревеккъ и Росмеръ предложиль ей стать его женой, она отъ этого отказалась: она почувствовала, что къ счастью уже не способна, что Росмерсхольмъ сокрушилъ н сломилъ ее, подръзалъ крылья у ея осмълившейся воли, что Росмерсхольмъ даетъ благородство, но отнимаетъ счастье. Холодными лучами освътило ее полуночное солнце, и на съверъ морали погасла ея страсть. Раньше искавшая жертвы себъ, она теперь приносить себя въ жертву и бросается въ ту самую воду, гдъ когда-то утопилась доведенная ею до самоубійства ея соперница Беата. Правда, и самого Росмера коснулось дуновенье счастья и страсти, внесенное Ревеккой въ его строгій домъ. Жить для жертвы, жить безъ жизни, -- это теперь показалось постыло и ему; до свъжаго и молодого, къ которому онъ стремился, онъ не дошель, а старое уже потеряло надь нимь свою прежнюю власть. и онъ бросился въ воду вмъстъ съ Ревеккой. Онъ ли пошелъ за нею, она ли за нимъ? «Этого намъ никогда не ръшить»; во всякомъ случав обоимъ героямъ Ибсена счастье оказалось не подъ силу. Оно и не занимаетъ автора.

Свою тяжкую думу онъ упорно думаеть о другомъ. Онъ знаеть, что каждаго изъ насъ замыслида природа какъ особое, неповторяемое, единственное существо -- быть можеть, какъ художественное произведение: и вотъ, воплотить, завершить этотъ верховный замысель, потому OTP именно отъ насъ ожидаеть онъ «какъ мраморъ, единой жизни творческой черты». Для того чтобы изъ матерьяловъ индивидуальности создалась наша статуя, мы, скульнторы самихъ себя, должны последніе и завершающіе штрихи провести живымъ резцомъ своей воли. Каждый Александръ долженъ основать Александрію. Ибсенъ и следить за темъ, какъ на всехъ дорогахъ міра, въ бореніяхъ внутренняго творчества, разнообразно ищеть и выявляеть личность самое себя, какъ исполняетъ она свое призвание и приходить на свою высоту — или падаеть съ нея. Онъ показываеть. что человъкъ въ поискахъ своей дъйствительной сущности, своего подлиннаго я, хочеть стать самимь собою, увидьть въ себь живой монолить и воздвигнуть себя какъ зданіе одного, несм'єшаннаго и строгаго стиля. Но въ движени къ этой цели мы уклоняемся отъ прямого пути; насъ влечетъ и манитъ Великая Кривая, та мистическая сила, которая заставляеть нась кривить душою, обходить препятствія сторонкой и отъ нашего имени, уполномоченная нами, заключаеть всякія сдёлки съ сов'єстью и честью. Обезсиленная Кривою, блёднёеть наша воля, и въ насъ проникають злые гномы, тролли маленькихъ и дурныхъ мыслей, эти геніи компромисса и податливости. Священную формулу будь собою они подмѣпяютъ житейскимъ правиломъ будь доволень собою; затянувъ наши омертвълыя души въ стоячую воду самодовольства, они искажають наши лица, меняють наши глаза, делають ихъ косыми и близорукими, такъ что все получаетъ для насъ извращенныя и неправильныя очертанія. Все дальше и дальше уходимъ мы отъ самихъ себя; себъ чужіе, съ собою незнакомые, неудавшіяся воплощенія глубокихъ замысловъ, макулатура природы, мы блуждаемъ кривыми дорогами и закоулками жизни, пока, наконець, на одномъ изъ перекрестковъ, въ Судный день, не встрътить насъ, какъ Перъ Гюнта, странная фигура Пуговочника съ большою плавильной ложкой въ рукъ. Это-Смерть. Она переливаеть нась въ своей ложкъ какъ испорченную форму, какъ негодный хламъ, какъ пуговицу безъ ушка, -- она отнимаеть у насъ нашу отдъльность, наше атомное существование. Въдь все равно мы этой отдъльностью при жизни не воспользовались: у насъ была возможность сдълаться особью, войти въ міровое цълое не безразличной и безъименной долей, а именитымъ и необходимымъ элементомъ, — но этой возможностью мы пренебрегли; что же намъ сътовать на смерть? Для того, кто не быль собою, кто не быль индивидуальностью, смерть ничьмъ не отличается отъ жизни, и въ общей плавильной ложкъ бытія незамѣтно растаеть его неосуществившаяся потенція. Смерть страшна для личности, но не для безличности. На что послъдней жизнь? И даже геенны огненной не сподобится безличный, потому что и ея надо заслужить. И на могиль того, кто не жиль, кто не быль самимъ собою, будеть написана самая страшная изъ человѣческихъ эпитафій: «Здѣсь погребенъ Никто», или, какъ по-русски лучше и глубже сказать: «Здѣсь не погребенъ Никто», — отрицая подлежащее, отрицаешь и сказуемое, и нечего сказать о томъ, чего не было, о томъ, кого не было. Полное отрицаніе, безусловная пустота воцаряется на мѣстѣ тѣхъ, кто не нашелъ себя.

При этомъ задача самоосуществленія, которую предлагаеть Ибсень людямъ, такъ серьезна и требовательна, что мы, оказывается, отвѣчаемъ не только за содѣянное нами, но и за то, чего мы не усиѣли сдѣлать. Мы виноваты и въ томъ, чего не было. Оттого въ жизненномъ лѣсу Перъ Гюнтъ, въ концѣ своихъ многообразныхъ дорогъ, слышитъ похоронную симфонію такихъ голосовъ, которымъ онъ въ теченіе своей жизни не давалъ звучать. Подъ ноги катятся ему какіе-то клубки, и, прислушиваясь къ ихъ дѣтскому иѣнію-плачу, онъ узнаетъ, что это — его мысли, которыхъ онъ до конца не трудился продумать:

Жизнь не вдохнуль въ насъ и въ свётъ не пустилъ,— Вотъ и свились мы клубками!

Не окрыленныя волей, онв и влачатся теперь въ пыли, мертворожденныя и непужныя, — драгоциности, потерянныя для міра! Гонимые вътрами сухіе листья поють Гюнту свою жалобу на него: это-лозунги, которые онъ долженъ былъ провозгласить и которые онъ далъ источить равнодушному червю своей душевной лѣни. Воздухъ шелестить надъ нимъ: это — пѣсни, которыхъ онъ не спълъ, которыя тщетно рвались на волю, тщетно просились къ нему на уста и которыя онъ безжалостно заглушиль; а теперь онъ беззвучны и безсловесны, и только для Перъ Гюнта внятенъ ихъ шелесть и лепеть, - для него, забывшаго о томъ, что всякій человъкъ долженъ быть если не викингомъ, то скальдомъ, слагателемъ пъсенъ, и что каждый долженъ имъть для нихъ гостепримный досугъ. Съ вътвей падаютъ капли росы — капли слезъ, которыя могли бы растопить ледяную кору сердца; но не выплакаль ихъ Гюнтъ, и въ этой дорогой влагь человъческихъ глазъ больше уже нать прежней прительной силы: своевременны должны быть

императоромъ, мало быть императоромъ— надо быть богомъ. Удовлетворяетъ только абсолютное,—меньше, чѣмъ все, не годится для человѣка. И тамъ, гдѣ собрано много людей, неизмѣнно раздается этотъ вѣчный вопросъ: кто выше, кто первый, кто король? Впрочемъ, кто спрашиваетъ, тотъ никогда и не достигнетъ престола: королемъ дѣлается безтрепетный, осѣненный счастьемъ и вѣрой въ самого себя.

Но здъсь мы опять встръчаемъ у Ибсена присущее ему раздвоеніе идей: смёлый и счастливый имветь и внутреннее, нравственное право на престолъ, -- одной воли и дерзновенія недостаточно. Высшая санкція — моральная, и только въ ореоль нравственпой мощи выступаетъ истинный король. Гоконъ именно потому законно возседаеть на своемь престоле, что онь одержимь великой идеей: Норвегію, которая до сихъ поръ была только государствомъ, онъ хочеть сдёлать народомъ, и его царственный замысель, этослить ея враждующія племена въ одно могучее цълое. А Скуле, его соперникъ, всю жизнь добивавшійся престола и нетерпітиво ожидавній смерти королей, остался въ цыли, во прахі (онъ хранилъ, правда, королевскую печать, онъ быль вторымъ, но быть вторымъ, это все равно, что быть последнимь). Скуле не достигь своей цели потому, что за нимъ не стояло не только счастье, но и нравственное величіе: онъ по духу своему быль не король, а карликъ. Гоконъ съ презръпіемъ говориль ему, честолюбивому и недостойному соискателю престола: «Что такъ сильно привлекаетъ васъ? Королевская коропа, пурпуровая мантія, право сидіть на пиру тремя ступеньками выше другихъ? Какія глупости! какая мелочь! Если бы это значило быть королемъ, я давно бы бросилъ королевскую власть въ вашу шляпу, какъ бросаю нищему копъйку». И самъ Скуле, которому не чуждо было душевное благородство, — Скуле поняль, уже увънчанный самозванной и мимолетной короной, что можно присвоить себь королевскую мантію, но не королевскую мысль. Онъ еще надъялся на сына, который самымъ фактомъ своего существованія, какъ наследника, бодрилъ его и поддерживаль въ немъ чувство правоты, — но и это было напраспо: для того чтобы завъщать, надо имъть. И униженный, растоптанный гордой поступью действительнаго короля, но свои неправедныя притязанія въ последпюю минуту своей жизни искупившій самоножертвованіемъ, Скуле ушелъ изъ міра, и трагически - своеобразная мантія короля, «пурпуровая мантія крови», широко окутала его плечи, а вмёстё съ нимъ покрыла и его сына, когда оба они пали подъ ударами побъдителей.

Такь образы могучихь вождей, въ борьбъ обрътающихъ право

противоположность аморалисту Ницше, онъ не поставиль на предвльную человъческую высоту, решительно и прямо, влеченія къ власти. Онъ выше всего цениль совесть, по и техъ осуждаль (хотя бы устами Гильды изъ «Строителя Сольнеса»), у кого на крутой вершине аморализма «кружится» слабая и робкая, «черезчуръ пежная» совесть.

Ближе всего къ Богу желапіе такого престола, который самъ находится, говоря словами Пушкина, «въ сосъдствъ Бога», — такого престола, на который притязаетъ священникъ Брандъ; и очень исказательно для Ибсена, что этотъ знаменитый герой, этотъ мученикъ возвышенной мысли — вмъстъ съ тъмъ и необычайно яркая личность, пеобычайно сильная воля; онъ не только пасторъ, но и викингъ. Брандъ является претендентомъ на королевскую корону не въ томъ смыслъ, конечно, чтобы имъ руководило честолюбіе и онъ хотълъ господствовать надъ остальными людьми: нътъ, престолъ ему нуженъ какъ абсолютное, какъ послъдняя высота; только это доминирующее стремленіе къ безусловности и причисляетъ его къ сонму ибсеновскихъ борцовъ за первенство и власть.

Скандинавскому писателю вообще дороги, какъ мы уже знаемъ, тъ люди, которые превращаютъ свои дни въ одинъ цъльный подвигъ, въ одно сплошное и однородное служение. Оттого, напримъръ, возрождающийся Фалькъ изъ «Комедіи любви», въ порывъ и восторгъ своей эпергіи, высказываетъ красивую мысль и страстное желаніе:

Рабочій планъ Твой я переверну, Творець: Шесть дней пропали у меня задаромъ, Пустымъ еще лежитъ мой міровой дворець,— Но завтра, въ день седьмой, возьмусь за дѣло съ жаромъ! (Переводъ А. и П. Ганзенъ).

Пусть отдыхаеть Богь, — человьку не до того. Самый праздникь свой онъ долженъ отдать своему дѣлу. Мы много времени потеряли зря, мы себя не осуществляли, — теперь необходимо наверстать потерянное, и уже настала пора слить праздники и будни въ одну безпрерывную жизнь. Брандъ и хотѣлъ быть священникомъ до конца, какъ новый Лиръ — съ головы до ногъ священникомъ, и онъ жаждалъ претворить свою жизнь въ одно сплошное богослуженіе. Онъ былъ монотеистъ изъ монотеистовъ. Какъ нишущему эти строки приходилось уже говорить въ другомъ мѣстѣ, единобожіе — фактъ не внѣшній, а психологическій. Вѣдь сущность его заключается не въ томъ, что съ какого-пибудь, всегда невысокаго, Олимпа сгоняютъ многихъ боговъ и замѣняють ихъ богомъ однимъ, олигархію превращаютъ въ міровую монархію и предоставляють

самодержавную власть надъ космическимъ цѣлымъ одной десницѣ. Истинный монотеизмъ живетъ въ самой душѣ, — въ такой душѣ, которая себя собрала и павѣки поклонилась чему-нибудь одному, нашла своего единаго бога, свой единственный алтарь, исключающій всѣ другіе и все другое. Многое должно быть въ единомъ. Идоловъ—много, идеалъ — одинъ. Мѣняются кумиры, неизмѣненъ Богъ. Многообразіе и многобожіе язычества являются порожденіями такого внутренняго міра, который не достигъ еще подлинной серьезности и не позналъ себя. Недаромъ тотъ древній мыслитель, который именно самопознаніе провозгласилъ единственной человѣческой задачей, — недаромъ Сократъ былъ убѣжденный монотеистъ; и не понятый въ своей мудрой сосредоточенности, чуждый людямъ разсѣянія, онъ отъ поверхностныхъ и неусердныхъ богомольцевъ многаго принялъ смерть за свое великое одно. Ибо людямъ всегда многое легче одного, и нѣтъ ничего труднѣе сосредоточенія.

И, съ другой стороны, если на Христа вѣнецъ терновый возложили тъ, которые считали себя, и только себя, монотеистами, а его расияли за мнимое отступничество отъ Бога единаго, за мнимо-самозванное, воистину родственное приближение къ Тому. кто долженъ пребывать въ самодовлеющемъ единстве, какъ монада всёхъ монадъ, то здёсь совершилось трагическое заблужденіе, потому что дъйствительное единобожіе отличало какъ разъ Христа, а не его гонителей. Ибо такъ страстно былъ онъ проникнутъ правдою монотеизма, такъ горълъ его огнемъ, что всего себя и все человъческое отдавалъ онъ только Богу и только въ Богь понималъ отцовство и сыновство, и всякую любовь, и все, чёмъ живуть и дышать люди. Его снъдала ревность о Богь, и въ него возводиль онъ все сущее. Онъ сознаваль, что не только нътъ Бога, кромъ Бога, но и что, кромъ Бога, нътъ ничего. Онъ всею душой исповёдоваль, что человёку можно и достойно быть сыномь только Бога и что сынъ человъческій и сынъ Божій, это — то же самое. Вотъ предёлъ внутренняго монотеизма, вотъ полное раствореніе человъческого въ божескомъ, -- гдъ же остается мъсто для кумировъ, гдъ же совершеннъе можетъ быть побъда одного надъ многимъ?

И по этимъ стопамъ пошелъ ибсеновскій Брандъ, послідовательный священникъ. Онъ вірилъ только въ Бога, но зато принималь его всего и заполнилъ имъ всю свою собранную душу, такъ что въ ней уже не было и не могло быть ни одной пяди ни для чего иного. Что не Богъ, то кумиръ. И для Бранда, какъ и для того философа Киркегора, чьихъ идей является онъ художественнымъ носителемъ, христіанство, это — мученичество: это — скорбь человіка о своей роковой отдаленности отъ Бога. Ибо между религіей и жизнью

есть роковая несовпадаемость: Богъ и человъкъ несовиъстимы. Бездну между ними церковь, по Киркегору и Бранду, засыпать не можетъ. Между тѣмъ христіанство безусловно и требуетъ всего. Кто религіозенъ, тотъ долженъ быть только религіозенъ; иначе если мы, какъ это обыкновенно бываетъ, приспособляемъ религію къ себъ, дълаемъ изъ нея нъчто эпизодическое, удобное и пріятное и отдаемъ ей одно только воскресное утро своей рабочей недъли. то мы становимся повинны въ тягчайшемъ изъ идолопоклонствъ. Наша обычная религія — кощунство. Она стала однимъ изъ механическихъ пріемовъ жизненной обрядности. Мы весело зажгли рождественскую елку и окружили ее развымъ хороводомъ датей; мы послали въ церковь своихъ причастницъ, одътыхъ въ бълыя платья, и, какъ бълокурой Гретхенъ, дали имъ въ руки изящные молитвенники съ золотымъ обрѣзомъ; Бога мы представляемъ себѣ въ видъ мірового дъдушки съ длинной серебряной бородою, -- т.-е. не онъ насъ, а мы его создали по образу и подобію своему. Такъ возникла наша красивая и культурная въра, такъ вынули мы изъ религіи всю ея трагическую сущность. Безъ чувства общаго, отръшенные отъ сознанія міровой совокупности, мы къ Богу обращаемъ эгоистическія молитвы и просимъ его, чтобы онъ занимался только нами, -- какъ въ нерадующей наивности восклицаеть Перь Гюнть:

> Внемли! Оставь пока дёла другія! Міръ обойдется какъ-нибудь и самъ...

И, подобно дѣвочкѣ Гедвигъ изъ «Дикой утки», если ужъ мы молимся Богу, то лишь по вечерамъ, когда страшно; при дневномъ же свѣтѣ мы его забываемъ. А грѣхи свои мы возложили на плечи Христа, и безъ того измученныя; мы внушили себѣ, что онъ однажды навсегда спасъ грѣховный міръ, и на этомъ успокоились. Намъ довольно его Голгооы, и мы не хотимъ собственной.

Среди такой мнимой и половинчатой религіозности томился Брандъ. Его цѣльная душа изнывала въ кругу обрывковъ душъ, страдала отъ человѣческой безстильности, отъ людей, похожихъ на дроби, — такія дроби, которыя въ концѣ-концовъ убиваютъ цѣлое. Въ своемъ абсолютизмѣ, въ религіозномъ подвижничествѣ своего духа, подъ знаменемъ, на которомъ было написано «все или ничего», онъ долженъ былъ выдержать двойную борьбу — съ Богомъ и съ людьми.

Одно изъ его первыхъ и труднѣйшихъ дѣлъ состояло въ томъ, что, священникъ, опъ похоронилъ давнишняго Бога, прочелъ ему отходную. Молодой и сильный, онъ нонялъ, что Богъ толиы

веніе, такъ какъ предметомъ его было самое высокое въ міръ-

Государство, мелкое въ своей пошлой правотъ, не могло примириться съ въчной торжественностью настроенія, присущей Бранду, и ждало отъ него, чтобы онъ придалъ своему религіозному служенію характеръ будничный и общедоступный, чтобы онъ изъ покорной паствы сделаль послушныхь граждань. Чиновники, одинаково какъ въ рясахъ, такъ и въ мундирахъ, убъждали его не превращать въ воскресенье всёхъ трудовыхъ дней серой недели, не поднимать ежедневно флаговъ и не ожидать «Господа къ себъ съ каждою лодкой». Сами они Господа не ждали, и если бы къ нимъ, христіанамъ, пришелъ Христосъ, они встрътили бы его съ недоуменіемь и враждою, такъ какъ они были новыя, измельчавшія разновидности Великаго Инквизитора. Государству религія нужна только въ мъру, и христіанство, понятое серьезно, ему не по росту. Знаменательно, что около распятаго Христа были распятые разбойники: государство, эта организованная пошлость, казнить одинаково и праведника, и преступника; воплощенная срединность, оно отвергаетъ все, что ниже, и все, что выше его. Соплеменники Бранда, почитатели средины, во имя Христа, безсознательно оскорбляя его, строили свои «коммунальные замки», -- эти языческія пагоды многобожія, эти духовные склады, гдѣ всего было по немпогу, гдѣ объединялись тюрьма и богадъльня, зала для избирательныхъ собраній и домъ сумасшедшихъ. То, отъ чего много страдалъ священникъ Брандъ, это былъ крестъ опошленный.

Но если бы Брандъ и могъ одолѣть человѣчество внѣшнее, если бы онъ покорилъ то сплоченное большинство, которое становится на дорогѣ великому одинокому, онъ все-таки въ этомъ еще не нашелъ бы покоя и побѣды. Ибо человѣчество со своими грѣхами и страданіями проникло внутрь его, сдѣлалось имъ самимъ, и оттого онъ не могъ его избыть и искупить всецѣло.

Здёсь открывается передъ нами одна изъ самыхъ дорогихъ и завътныхъ для Ибсена идей: человъкъ отвъчаетъ за человъчество. Ибсенъ-Брандъ глубоко ощущаетъ свое неискоренимое родство съ духомъ земли, который даже сильныхъ и бодрыхъ тянетъ долу. Пускай самъ Брандъ чувствуетъ въ себъ внутреннія крылья, но тяжкими гирями повисло на нихъ чужое, повисло прошлое, которое непремънно вторгается и въ настоящее. Онъ говоритъ о страшной горъ долговъ, которую каждый изъ насъ получаетъ отъ предковъ; мы прежде всего — наслъдпики, и тъ, кто сзади насъ, это — преступники. Отъ длишнаго ряда неправедныхъ покольній мы получили въ наслъдство моральные долги, — примемъ ли мы ихъ? Брандъ

принялъ. Онъ отказался отъ богатства матери, но долги ея взялъ на себя. А она много должпа была Богу, потому что на своемъ жизненномъ поприщѣ она растратила всю человѣчность, какая дана была ей для земного обихода. Цѣпкими дряхлыми пальцами держалась она за золото, и когда эти пальцы уже костенѣли отъ надвигавшейся смерти, она все-таки не хотѣла его выпускать, она только частью его готова была поступиться для церкви; но часть не меньше цѣлаго, «малый обломокъ золотого тельца—все тотъ же идолъ»,—и священникъ Брандъ не далъ причащенія родной матери. Она—изъ тѣхъ, кто видитъ въ своемъ сынѣ только душеприказчика, или, говоря словами самого Ибсена, просто приказчика, которому можно, умирая, сдать на руки всю эту скопленнуо рухлядь. Она—изъ тѣхъ, у кого является большая мысль о вѣчности, но въ такой извращенной формѣ:

О вѣчности у васъ мелькаетъ мысль, И думаете вы ея достигнуть, Наслѣдство связывая съ родомъ крѣпко И съ жизнью—смерть; ряды слагая жизней Преемственныхъ, въ итогѣ получить Безсмертіе надѣетесь.

Сумма жизней еще не есть безсмертіе, еще не есть побіда надъ смертью. Оттого Брандъ, въ лиці котораго мать нарочно воспитала себі священника, разрішителя своихъ гріховъ, только взяль ихъ на себя, но ей не отпустиль ихъ и не призналь ея достойной вічности.

Легко замѣтить, что эта старая женщина, совершившая великую растрату, на землѣ растерявшая небесное, приходится матерью не только Бранду, но и всѣмъ намъ. Въ ея символической фигурѣ Ибсепъ олицетворилъ все прошлое, отжившее, но продолжающее жить въ своихъ потомкахъ, въ каждомъ представителѣ новаго поколѣнія. Воплощенное старое, грузъ исторіи, древняя вина, мать мѣшаетъ сыну, потому что онъ связанъ съ нею, потому что къ ея преступленію онъ призпаетъ себя причастнымъ и непремѣнпо хочетъ и долженъ возмѣстить ея растрату, замолить ея грѣхъ, омыть его хотя бы кровью своею, «виномъ искупленія», священнымъ человѣческимъ виномъ...

Образъ матери часто и выразительно является у Ибсена, потому что нашъ писатель такъ много вниманія отдаетъ прошлому, а мать, это для каждаго изъ насъ—живое прошлое, это—наше непосредственное начало. И глядя по тому, каковы мы, его продолженія,—такъ или иначе связывается настоящее съ прошлымъ, такъ

или иначе опредъляются наши отношенія къ воплотительницѣ послѣдняго. Брандъ, герой абсолютизма, не хотѣлъ прійти къ смертному одру своей матери; но Перъ Гюнтъ, въ продолженіе всей своей жизни такой относительный и неопредѣленный, свою мать проводилъ до самыхъ дверей смерти, до райскаго дворца, у вратъ котораго находится Петръ съ ключами, и, въ противоположность Бранду, потребовалъ отъ самого Хозяина, чтобы ее поскорѣе впустили туда:

Гостей не являлося въ ваши селенья Достойнъе, чъмъ моя старая мать.

И такъ прекрасна и трогательна та сцена, когда Гюнтъ садится въ ногахъ у своей старушки-матери и играетъ съ нею въ «дорогу», въ ту самую игру, которой она когда-то забавляла его, своего мальчика: стулъ, на которомъ лежитъ кошка, превращается въ лихого коня Вороного, и накинулъ на него вожжи Перъ Гюнтъ и хворостиной погоняетъ его, и щелкаетъ ею въ воздухъ, и сказкой убаюкиваетъ мать, и ъдутъ-ъдутъ во всю прыть, скачутъ къ вол-шебному дворцу сынъ съ умирающей матерью, пока, наконецъ, не пріъхала она, не испустила послъдняго дыханія. Склонился надънею сынъ, закрыль ей глаза, поцъловаль ея губы:

...Прівхала ты куда надо, И можеть теперь отдохнуть Вороной. Спасибо за все—и за брань и за ласку, За все, чёмъ ты въ жизни была для меня. И мнѣ поцълуй въ благодарность за сказку Ты дай... за тяду и лихого коня.

Возницей матери не быль Брандъ, онъ не захотѣль отвезти ея къ Богу,—но то, что онъ пріобщилъ къ себѣ ея грѣхи, было большимъ подвигомъ, чѣмъ сыновняя услуга Гюнта.

Круговая порука человъчества, общая связь и связанность людей сказываются не только въ этой власти матери надъ сыномъ, прошлаго надъ настоящимъ, въ этой печати, которую налагаютъ на всякаго гръхи отцовъ и матерей: нътъ, и то, что—настоящее, что насъ теперь окружаетъ, тоже является нашей виною. Вотъ въ насторское жилище Бранда, къ его очагу, пришла цыганка съ обнаженнымъ, замерзающимъ ребенкомъ на рукахъ,—и съ нею пришло въ домъ все бездомное человъчество, вся міровая нищета, вся соціальная неправда и обида. И слышитъ Брандъ мученическія и озлобленныя слова цыганки:

Наши враги—вы: на гибель Вами съ рожденья мой сынъ обреченъ. Онъ родился въ придорожной Грязной канавъ, подъ пънье и гамъ, Гиганье, крики разгула! Въ лужъ крещенъ былъ, помазанъ золой, Водки глотнулъ изъ бутылки, Раньше, чъмъ грудь мою началъ сосать. Рядомъ шелъ споръ и галдънье... Это — отецъ... нътъ, прости меня Богъ, — Это отцы его грызлись...

Брандъ, осъдлый, слушаетъ эти вопли бродячей женщины, и онъ чувствуетъ, онъ сознаетъ, что въ ея черное горе влилъ и онъ немало тяжелыхъ капель. Какъ священникъ, онъ еще больше другихъ виноватъ въ томъ, что есть этотъ голодъ, этотъ холодъ, это отчаяніе. Мы легко забываемъ о невзгодъ, которая разстилается за порогомъ нашего дома; но слъдуетъ номнить, что со всъхъ насъ взыщется за нее. Ибо нътъ нравыхъ въ нашемъ виноватомъ міръ, и человъкъ отвъчаетъ за человъчество.

Глубокое значеніе пиветь и то, что кочующая цыганка— Бранду не чужая. Въ сложную ткань жизни Ибсенъ и здъсь вплелъ одну изъ своихъ оригинальныхъ нитей. Дъло въ томъ, что мать Бранда, все та же виноватая мать, когда она была молодой и красивой дъвушкой, по настоянію отца вышла замужъ не за бъднаго, который ее любилъ и къ которому лежало ея сердце, а за стараго и неказистаго богача; и тогда, отвергнутый юноша, обездоленный и почти обезумъвшій, сошелся съ цыганкой,—отсюда и пошло, какъ выражается фогть, это цыганское «бродячее породье, погрязшее вь порокахъ»,—эта цыганка, вбъжавшая въ домъ къ Бранду, и эта безумная скиталица горъ, дъвочка Гердъ, которая своимъ язычествомъ смущаетъ совъсть христіанскаго священника Бранда. Такъ всъ мы, родня цыганамъ,—неосъдлые и несчастные, въчные переселенцы, Божья богема...

Вину прошлаго, скорбь и язычество ближнихъ искупаетъ раньше всѣхъ даже не самъ Брандъ, не сынъ виноватой матери, а ея внукъ, безвинный агнецъ—маленькій сынъ Бранда. Онъ умеръ, и мать его Агнесъ осталась въ рождественскій сочельпикъ безъ ребенка, и не для кого было ей зажигать свою елку; именно здѣсь—та страница пьесы, которая разрываетъ жалостью всякое сердце, умѣющее сочувствовать пронзенному сердцу Mater Dolorosa. И въ глубокомъ раздумьи говоритъ потрясенный Брандъ:

Конца грѣха и искупленью нѣтъ! Какъ спутались десятки тысячъ нитей Судебъ людскихъ, какъ грѣхъ съ илодомъ грѣха Переплелись, другъ друга заражая.

Мое дитя, безвинный агнецъ мой, За бабки гръхъ ты палъ!..

Такт служать Господу плоды гръха Къ возстановленью въ мір'в равнов'всья И справедливости; такт Онъ на внуковъ За д'ядовъ гръхъ взысканье налагаетъ.

Но не только вина человъчества тяготъла на Брандъ, — онъ и самъ не удержался на своей высотв. Его идея оказалась больше, чъмъ онъ самъ. Вообще, какъ въ основъ своей ни титанична воля Бранда, она тоже имбетъ свои приливы—и свои отливы. Ему часто другіе напоминають о его ділів, о его долгів, его поощряють и зовуть; онъ колеблется, и нередко приходится ему начинать съизнова, сворачивать на истинный путь съ путей окольныхъ; онъ вовсе не представляеть чего-либо несокрушимаго, -- онъ постоянно делаеть себя. И несмотря на всё свои безмёрныя жертвоприношенія, онъ не преодольть разстоянія отъ человька къ Богу, онъ не остался въренъ своему же принцину все или ничего и даже, вопреки себъ, построиль на материнскія деньги ограниченную церковь вещественную, между темъ какъ, по его собственному возаренію, человека и Бога достоинъ одинъ только космическій храмъ-вся природа со звъзднымъ куполомъ неба, и надо слушать только ея извъчные хоралы (интересно отмътить, что такой же храмъ, въ пьесъ «Олафъ Лиліскрансъ», воздвигаеть языческая душа, Альфгильдъ: поль голубого неба и звъзды, естественныя лампады мірозданія). Правда, Брандъ отрекся потомъ отъ своей относительной церкви, но подъ ея сводами, среди филистимлянского язычества, какъ Самсонъ, похоронилъ и самого себя. Въ концъ своего недолгаго поприща онъ увидълъ себя одинокимъ, -- онъ былъ покинутъ и Богомъ, и людьми. Да, и Богомъ... Когда, извиваясь подъ лавиной, Брандъ молить божьяго отвъта, божьей оценки своего служенія, и раздается чей-то голосъ: «Богъ, онъ—dous caritatis», то это возглашаеть не Богъ, а злой духъ, -- міровая пронія. Впрочемъ, не всѣ комментаторы именно такъ понимаютъ финалъ ибсеновской пьесы, и многіе за чистую монету, за Божій голось считають ея посліднія латинскія слова. Но уже одно то, что они-латинскія, что они риемують съ такими же словами Бранда «воли людской quantum satis», —одно это не позволяетъ принимать ихъ въ прямомъ смысль. Они представляютъ собою повтореніе того, что раньше сказаль добрый докторь, который находиль въ Брандѣ воли quantum satis, но зато признаваль чистымъ его пасторскій conto caritatis; въ минуту своей мученической смерти герой опять слышить эти слегка насмѣшливыя выраженія. Латинская цитата въ Божьихь устахъ была бы несомнѣпнымъ диссонансомъ, эстетической ошибкой; но все дѣло въ томъ, что это—уста другія, въ чемъ и заключается истинная трагедія священника Бранда. Опъ, такъ много отдавшій Богу, отъ Бога нпчего не получилъ. Самъ и Прометей, и коршунъ Прометея, онъ приковалъ себя къ скалѣ «закона» и выклевалъ собственное сердце; онъ предоставилъ мертвымъ хоронить своихъ мертвыхъ и покинулъ все земное, все родное,—и за это не былъ увѣпчанъ пикакимъ вѣнцомъ, кромѣ терноваго. Брандъ исполнилъ великій завѣтъ безкорыстія.

Надо сказать еще и то, что Ибсенъ вообще не отличается большою почтительностью къ теистической идев, и потому, если даже считать, что последнія слова «Бранда» принадлежать Богу, то это—такой, ибсеновскій Богъ, который вовсе пе столь чуждъ своему антиподу... И когда Перъ Гюнтъ восклицаеть после встречи съ носланникомъ Льявола:

Такъ неужели всюду пустота? Ни въ бездив, ни на небъ никого?—

о, можеть, быть не Ибсень сталь бы ему возражать. Во всякомь случать, онь не можеть простить Богу его πάντα καλά λίαν и устами того же Гюпта иронизируеть, что нашь бъдный мірь, «какъ всегда свое издѣлье, творцу такимъ прекраснымъ показался»...

Наконець, это такъ характеризуетъ Ибсена, что для него безкорыстіе есть и безнадежность. Нашему автору пе впервые отнимать у подвига награду и приписывать героизму самодовлѣющій
характерь. Въ трагедіи «Воители па Гельгеландѣ» Йордисъ для
того, чтобы даже не здѣсь, не въ этой жизпи, а въ обители норнъ,
возсѣсть на небесномъ престолѣ рядомъ со своимъ возлюбленнымъ
Сигурдомъ, совершила неслыханно-дерзновенные подвиги, но этимъ
только загубила свою душу, ввергла себя въ небытіе и была жестоко обманута: въ минуту смерти не соединилась, а разлучилась
она съ Сигурдомъ, и онъ ушелъ къ «бѣлому Богу» христіанскому,
она же осталась одна и въ морской пучинѣ похоронила свое безнадежное одиночество.

Если Богъ покидаетъ героя, то ужъ тѣмъ меньше послѣдуютъ за нимъ люди. На мгновенье Брандъ увлекъ было ихъ своимъ горячимъ словомъ, но они убоялись вершины, не захотѣли жертвы, и когда имъ обманно посулили богатый уловъ сельдей, они сейчасъ

же вернулись подъ низкія кровли своихъ домовъ, къ своимъ пошлымъ пастырямъ, въ безпросвѣтныя будни своего духа. Ловцы сельдей оказались сильнѣе Бранда, ловца человѣковъ. Люди забросали его каменьями; эти камни окровавили его, но брошенные пигмеями, можетъ быть, они были такъ же малы, какъ и тѣ, которыми забросали жилище доктора Стокмана, и всѣ гонители, къ новой обидѣ и горечи гонимыхъ, еще такъ ничтожны и трусливы, и жалки?..

Брандъ остался одинъ. Только безумная Гердъ, дитя стихій, пожалѣвшая и полюбившая его, перерожденная имъ, стояла около него въ его послѣднія минуты; зато она же, дикая, плодъ виноватой матери Бранда, была и внѣшней виновницей его смерти, — и не значитъ ли это, что христіанство не выполнило своей миссіонерской роли передъ язычествомъ? Или все-таки дикое лучше, чѣмъ плоское?..

Брандъ—одинъ. Недавно его одиночество среди людей, обычное сиротство геніальной личности, скрашивали жена и ребенокъ, и отрадно ему было, что жена его смотрѣла, какъ въ зеркало, въ душу его дитяти, свѣтлую, ясную, точно озеро на солнцѣ,—а тенерь у Бранда нѣтъ никого, и не въ кого ему смотрѣться, и передънимъ, одинокимъ, единственнымъ, міръ лежитъ неотраженный, безъ живыхъ человѣческихъ зеркалъ.

Покинутый Богомъ и людьми, отдавшій все и взамінь не получившій ничего, кром'т каменьевъ съ земли и насм'тшки съ неба, Брандъ судьбою своею поучаетъ насъ, что и Богъ, какъ и король Гоконъ, какъ и всякій истинный король, никому не уступаеть своей абсолютности, ни съ къмъ другимъ не дълится своимъ престоломъ. Опъ оставляетъ жизнь коснъть въ ея частичности. Брандъ, мученикъ правственнаго максимализма, не хотълъ согласиться съ тімъ, что жизнь только приблизительна и ограниченна, онъ устремился къ безусловному. Конечно, онъ его не достигъ и быль побъждень всегдашней побъдительницей -- относительностью. Изъ альтернативы: все или ничего ему досталось послъднее. Служеніе единому Богу привело его къ гибели—въ такомъ міръ, гдъ владычествуютъ многіе боги. Кто на землѣ увидитъ Бога, тотъ съ земли долженъ уйти. «Умретъ Іегову узрѣвшій». И все-таки, по Ибсену, человѣкъ, если онъ осуществляетъ свое назначеніе, невольно стремится къ лицезрънію Іеговы. Но только Ибсенъ не об'вщаетъ намъ, что жаждущій Бога непрем'вино увидить его. Напротивъ, по словамъ его фру Ингеръ, «горе каждому, на комъ лежитъ великое призваніе»; и авторъ говорить намъ, что послі потрясающихъ жертвъ и нечеловъческаго хотенія, посль того какъ вырвешь изъ своей груди трепещущее и теплое сердце и бросишь его «коршуну закона», — послѣ этого ты все-таки остапешься одинъ, безъ луча солнца, безъ какого бы то ни было подобія награды. Не надѣйтесь на жизнь: «то лишь, что умерло—вѣчно твое». Не обольщайте себя иллюзіями, не ждите счастья, перенесите Голгооу—умрите безъ чаянья воскресенія: вотъ какое бремя возлагаетъ Ибсенъ, самый требовательный изъ писателей, на утомленное человѣчество. Снесемъ ли мы эту тяжесть, можемъ ли мы принять такое неумолимое безкорыстіе, такое міросозерцаніе безъ падежды и безъ счастья? Хотимъ ли мы страданія?

Умеръ Ибсенъ, но не закатилась полярная звѣзда его духовной личности, и вопросъ, который онъ въ «Брандѣ» поставилъ передъ нами, когорый онъ, какъ въ извѣстномъ стихотвореніи Гейне, не бренными человѣческими буквами довѣрилъ песчаной отмели моря, а написалъ на своемъ сѣверномъ небѣ погруженной въ кратеръ Этны гигантской сосною изъ норвежскихъ лѣсовъ,—этотъ вопросъ горитъ огненными чертами, и Ибсенъ ждетъ отвѣта...

Скуле и Гоконъ искали престола въ буквальномъ смыслѣ этого манящаго слова, Брандъ стремился къ престолу неба, — есть у Ибсена драма, гдв въ престолъ и поэзію обращена буржуазность, гдв королевская мечта вырастаеть на самой прозаической и обыденной почвъ. Это — «Джонъ Габріэль Боркманъ», какъ его называють зимняя пьеса автора; въ ней онъ хоронитъ и оплакиваетъ всй человъческія иллюзіи, — особенно цезаризмъ, все тоть же неисцілимый бредъ величія и первенства. И поскольку его драма воплощаеть этотъ элегическій замысель, она производить очень сильное впечатлівніе, тъмъ болье что иные изъ штриховъ и деталей ея внъшней обстановки, почти неуловимые, сами по себ' создають печальное в'яніе жизненнаго эпилога. Символична эта зима: «недвижны сосны въ своей нахмуренной крась, отягчены ихъ вытви всь клоками сныга», и по снъжному лъсу идутъ, съ трудомъ переступая утомленными ногами, два разбитые жизнью странника, мужчина и женщина,идуть къ физической и нравственной смерти. Холодно, холодно... А раньше, серебряными колокольчиками здёсь же прозвенёль нарядный возокъ: это уфхало молодое отъ старыхъ, сынъ отъ матери, дочь отъ отца, и этого стараго отца возокъ въ своей неудержимости перебхаль; колесниць юности некогда останавливаться, она спѣшитъ и рвется, безпощадная въ своемъ неодолимомъ стремленіи къ счастью. И каждаго изъ насъ, какъ говоритъ Боркманъ, когданибудь да перевхали; но не всв могли послв этого подняться и оправиться: иные такъ и лежать въ своей неподвижной искальченности, какъ подстреденныя дикія утки; другіе, хотя и встали, но встали уже не прежними, -- медленно, бользненно, съ изувъченными ногами плетутся они по глубокому снёгу, пока не дойдуть до той роковой скамейки въ жизненномъ лъсу, гдъ они отдохнутъ и лягуть на въчный покой. Скамейка эта, наше ложе послъднее, стоить у обрыва, и если оттуда посмотръть вдаль, то передъ усталымъ путникомъ раскинется его родимая страна, полная шума и движенія: «пароходы приходять и отходять, связывають, братають между собою племена и земли всего міра, разносять свёть и тепло въ сердца человъческихъ семей». Но отъ странника съ коченъющимъ сердцемъ уже далека эта бодрая и кипучая жизнь, какъ далека и другая страна, обитель его молодыхъ грезъ: она погребена подъ снъгомъ, и засохло старое дерево, когда-то цвътущее, съ сънью гостепримной и отрадной. Теперь же сыплеть и сыплеть неумолимый снътъ, и подъ его пеленою человъческія фигуры обращаются въ бѣлые памятники самихъ себя; сыплетъ и сыплетъ снѣгъ, и отъ пего прекрасные волосы Эллы Рентгеймъ обращаются въ сѣдину, --- эти локоны, которые разсыпались когда-то по ея плечамъ и которые Боркманъ любилъ навивать на пальцы...

Такъ проходить передъ нами зимній пейзажь и природы, и души. На его грустномъ фонъ показываетъ Ибсенъ всю горечь и тоску разочарованія. Героп этой пьесы, именно тѣ изъ нихъ, которые уже не молоды, всв потерпъли крушеніе, — черезъпихъ перевхали. Побъдная, а затъмъ позорная колесница Джона Габріэля Боркмана разбила сердце его жены и сердце ея сестры Эллы Рентгеймъ, любовь которой онъ отвергъ ради почета и власти. Но и самого Боркмана, этого гордаго человъка, котораго словно короля всв называли просто по имени, — самого Джона Габріэля перевхала жизнь. Ослышленный желтымь блескомь золота, не изъ корысти, а именно изъ властолюбія, совершиль онъ преступленіе и быль выброшенъ за бортъ жизненнаго корабля. Ему кажется теперь, что онъ поднялся, что его гордость не сломлена, и какъ Прометей, морально прикованный къ своей тюрьмѣ и потомъ къ одинокой залѣ своего дома, онъ ждетъ для себя новой побъды и восторженныхъ данниковъ своего генія. Опъ сравниваетъ себя съ Наполеономъ, котораго искальчили въ первой же битвъ; и какъ Наполеонъ въ извѣстной балладѣ, «топнувъ о землю ногою, сердито онъ взадъ и впередъ по тихому берегу ходитъ, соратниковъ громко онъ кличетъ, и снова онъ громко зоветъ: зоветъ онъ любезнаго сына, опору въ превратной судьбъ». Онъ ходить, ходить по затихшему для него берегу жизни (ея море уже недостижимо для него), онъ шагаеть по своей угрюмой заль, одътый въ парадное платье, -онъ готовъ, онъ ждетъ... Но одпажды разбитая жизнь уже не возстанавливается. И рѣдко стучатся въ его двери, и входять не тѣ, кого онъ ноджидаетъ, не соратники и не данники: входитъ прошлое со своей укоризной и живая душа, которую онъ убилъ. А сынъ и вовсе не отзывается: онъ веселится у его врага и не хочетъ сопутствовать отцу по дорогѣ возрожденія. У Наполеоновъ пе бываетъ наслѣдника, и это особенно горько тѣмъ изъ нихъ, чей собственный престолъ былъ недолговѣченъ и рухнулъ въ океанъ. На одномъ островѣ рождаются и на другомъ островѣ умираютъ Наполеоны, и самое существованіе ихъ, оторванное отъ предковъ и потомковъ, одинокое и отдѣльное, напоминаетъ собою какой-то правственный островъ. Для ибсеновскихъ персонажей, Наполеоновъ неудачныхъ, такъ характерны эти поиски сына, эта жгучая тоска по наслѣдникѣ престола.

Джонъ Габріэль искалъ всего и не нашелъ ничего. Въ результатъ жизни, полной смълыхъ замысловъ, — безславная смерть и надъ мертвымъ склонившіяся двъ тьни, тьни двухъ женщипъ-сестеръ, которыя помирились только надъ прахомъ того, кого онъ объ любили и кого онь объ своей любовью спасти не могли. Это онъ сдълалъ ихъ тънями, вынулъ изъ нихъ душу. Жена отвернулась отъ него, потому что ее сломила его преступность: онъ обманулъ, онъ разориль, онъ присвоиль себъ довъренныя сокровища и сдълался виновникомъ чужихъ несчастій, - этого ея честная натура перенести не могла. Ея сестру, ту, которую Джонъ Габріэль любилъраньше своей женитьбы, онъ отвергъ, потому что онъ и собственное сердце обледенилъ и вынулъ, для того чтобы оно своимъ жаромъ и живостью не помѣшало его царственной идеѣ въ сферѣ индустріп. его побъдоносному въъзду въ мрачное царство рудныхъ жилъ, которыя протягивали къ нему свои безобразныя, вътвистыя, узловатыя руки. А другія манившія руки, прекрасныя руки женщины, онъ оттолкнулъ.

Ибсеновскіе претенденты на престоль всегда отсылають оть себя любимую женщину. Король должень быть одинь. «Въ одну телѣгу впрячь не можно коня и трепетную лань». Гоконь больше всего на свѣтѣ любиль Кангу и свою мать; и потому что онъ ихъ любиль, онъ съ ними разстался, удалиль ихъ отъ себя и своего престола. Въ «Росмерсхольмѣ» Брендель убѣждаетъ женщину посторониться, не мѣшать герою, отрубить себѣ, ради пего, и ухо, и палецъ,—и самую жизнь? И въ этомъ изгнаніи любящей и любимой заключается, по Ибсену, великая ошибка и непростительный грѣхъ борцовъ за корону. Ибо «всѣмъ можеть поступиться человѣкъ ради друга своего, только не любимой женщиной» — говорить Сигурду Йордисъ; ибо «самый великій, неискупаемый грѣхъ,

это — умерщвленіе живой души въ человѣкѣ, души способной любить» — говорить Боркману Элла Рентгеймъ, и за это разрушеніе женскаго сердца, а не за банковскія дѣла, она и называетъ его преступникомъ. Здѣсь, у любящаго сердца любимой женщины, — предѣлъ индивидуализму; здѣсь — непереступимая грань не только для средняго, но и для великаго человѣка; здѣсь именно должно остановиться стремленіе къ мощи и власти, къ одинокой высотѣ орла.

Боркманъ не остановился; онъ не поняль, что всякаго Наполеона выше любимая женщина, такъ какъ она—голосъ самой стихіи, она пришла изъ самой природы и отъ всякихъ суетныхъ престоловъ и мнимыхъ высотъ зоветъ на соединеніе съ общей державой космоса. Боркманъ пе остановился, и за это—одиночная тюрьма и зала (насмѣшливый символъ того одиночества, котораго онъ хотѣлъ, возомнивъ себя избранникомъ, отринувъ отъ себя спутницу); и за это нѣтъ и не было тріумфальнаго въѣзда въ царство руды,—есть только проснувшееся сомнѣніе въ собственныхъ силахъ, чувство подстрѣленнаго глухаря, а не орла, и смерть, смерть...

Такимъ образомъ, душу одинокаго борца, мечты самодовлеющаго индивидуализма, притязаніе на престолъ Ибсенъ умѣетъ облекать и въ самую повседневную оболочку: Прометеемъ и Наполеономъ у пего оказывается директоръ банка. И хотя герой и вмѣняеть себв въ заслугу (воспроизводя поэтическія слова Эллы), что снъ хотвлъ разбудить дремлющихъ духовъ золота, -- золото остается тъмъ, что оно есть: силой не возвышенной, покупающей, а не берущей, какъ булать, и паеосъ банковскаго дёльца стоялъ бы на самой границъ смъшного, если бы Ибсенъ вообще не умълъ останавливаться какъ разъ у пределовъ последняго. Комика часто готова пезванной феей ворваться въ его драмы, но ихъ внутренняя серьезность и какое-то тяжелое отношеніе автора къ жизни во время удерживаетъ непрошенную гостью и заглушаетъ улыбку на скептическихъ устахъ. Въ томъ же «Джонъ Габріэлъ Боркманъ» Ибсенъ очень близко находится къ опасности курьезнаго, потому что онъ заставляетъ своего героя восемь лътъ ходить изъ угла въ уголь по заль. Внизу живеть жена Боркмана. У нея достаеть силы восемь лёть не видёть мужа и восемь лёть слышать, какъ надъ ея головою съ утра до ночи раздаются его гулкіе шаги. Трудно вообразить себъ правдоподобность этого кошмара, этого безумія,--по все-таки смѣяться вы не будете надъ мукой упорныхъ и гипнотизирующихъ шаговъ, надъ тяжелыми шагами Каменнаго гостя, надъ въчнымъ движеніемъ человька, потому что во всей этой житейски-неправдоподобной подвижности скрывается высшая правда духовной неуспокоенности, моральныхъ исканій и порывовъ.

Мы говорили уже, что ибсеновские претенденты на престоль, осуществляя свое врожденное призвание, въ то же время не являются воплощеніями одной только беззаконной воли, носителями дерзновеннаго желанія: Ибсенъ стремится, хотя и не всегда успъшно, подчинить ихъ такому синтезу, который въ неразрушимое единство сочеталь бы и нравственную силу, и формально-эстетическій моменть самодовліжней цізлостности. Оттого, признавъ надъ собою безусловное начало морали, авторъ и долженъ былъ пронизать ею свое творчество настолько, чтобы никогда въ последнемъ не могло быть допущено безнаказанное пренебрежение къ нравственному закону. И такъ какъ этотъ законъ сверхвремененъ, такъ какъ для морали не существуеть давности, то воть, чуть ли не для всёхъ произведеній Ибсена характерно, что они показывають жуткое господство надъ нами сверхвременности и неизмѣнную побѣду прошлаго надъ настоящимъ. Во многихъ его пьесахъ первое даже нельзя отдёлить отъ последняго: они связаны между собой неразрывно, стягивають въ одипъ трепетный узелъ всю совокупность жизни, и то, что было, врывается въ то, что есть. Прошлое не проходить. Бълые кони Росмерсхольма, всяческие призраки населяють нашу действительность и опять соединяють въ одно цълое разрушенныя было временемъ психическія звенья личности. Осуществляется не только единство сознанія, но и единство сов'єсти. Можеть быть даже, прошлое не умираетъ не только въ субъективномъ смыслъ, не только для отдёльнаго человёка, -- можеть быть, есть какая-то объективная память міра, эта мистическая субстанція, которая сама остается неизмённой при всей измёнчивости своихъ безчисленныхъ частныхъ проявленій. Во всякомъ случав, для людей прошлое не умираетъ: оно только на время прячется, исчезаетъ съ горизонта, но въ положенный срокъ, точно солнце, выплываетъ изъ-за океана, какъ изъ-за океана, въ «Столпахъ общества», вернулась къ консулу Бернику его живая совъсть, Лона Гессель. Только не радостно это солнце, — оно возвращается Немезидой, оно восходить для того, чтобы спугнуть покой и ясность настоящаго. Прошлое не проходить, --- это надо помнить каждому, и, напримъръ, въ отдаленномъ свистъ причаливающаго парохода вы слышите грозное предостереженіе: это неуклонной поступью приближается къ берегу прошлое, вами забытое, но васъ не забывшее.

Въ драмѣ «Привидѣнія» безсмертное прошлое въ честь своего воскресенія, ради одного изъ самыхъ трагическихъ своихъ перевоплощеній, создаетъ себѣ особенно пышную оргію, истинный праздникъ. Оно убѣдительно, съ убійственной ироніей доказываетъ людямъ, что хотя оно — призракъ, въ немъ больше реальности и

силы, чемъ въ осязательномъ и настоящемъ. Безплотное привиденіе, фантасмагорія, тёнь Банко поб'єждаеть живыхъ людей: они думають, будто сами они руководять своими поступками и ткуть свою судьбу, — на самомъ же дълъ здъсь властвуютъ и хозяйничаютъ мертвые. Нътъ умершихъ: есть только мнимоумершіе. И хотя давно уже, казалось бы, похороненъ развратный камергеръ Альвингъ, но въ дъйствительности онъ повторяетъ свою жизнь въ своемъ сынъ. Это ничего, что спасаясь отъ минувшаго, отъ мужа, фру Альвипгъ отослала своего мальчика за границу, въ Парижъ: прошлое изъ этой дали влечеть его домой, и дома, въ комнать отца, онъ находить его трубку и становится такъ похожъ на него: онъ пьетъ и красный, и бълый рейнвейнъ, и съ Региной, своей любовницей и своей сестрой, воспроизводить ту самую сцену на балконъ, которую некогда Альвингъ на глазахъ своей жены разъигралъ съ другою женщиной, -и эта женщина была мать Регины. Что же здёсь, собственно, измѣпилось, что прошло? Прежде-отецъ Освальда и мать Регины, теперь—самъ Освальдъ и сама Регина: иная знаменательная комбинація, но сущность-та же, и діти наслідують грфхи и дела своихъ родителей. Напрасно фру Альвингъ всю жизнь хотыла избыть наслёдства, которое досталось ей отъ прошлаго: ей это не удалось, потому что всв мы-невольные обладатели проклятаго наследія вековь и не можемь сбыть его сь рукь. Оть своего достоянія, переданнаго прошлымъ, фру Альвингъ рѣшила освободиться темъ, что истратила его на благотворительный пріють; но онь сгорёль, и сарказмь жизни сдёлаль такь, что имя камергера Альвинга будетъ носить не пріють, а притонъ. Наслъдство не исчезло, прошлое не прошло.

Въ данномъ случав роковая живучесть прошлаго имъетъ особенно загадочный характеръ потому, что она является возмездіемъ за какую-то большую и невъдомую вину— только ли за чужую или за вину самихъ страждущихъ? Дѣти искупаютъ грѣхи отцовъ, и въ круговой порукѣ человъчества одинъ отвъчаетъ за другого, настоящее терпить кару за преступленія прошлаго. Нельзя тягаться съ этой непонятной для насъ, нечеловъческой справедливостью; мы должны разъ навсегда понять, что міровой трибуналъ не признаетъ временъ и сроковъ, не различаетъ сына и отца,— онъ судитъ всѣхъ за все. И вотъ умираетъ въ безуміи Освальдъ, виноватый виною своего отца. Но за что страждетъ его мать, эта современная Ніобея, у которой, тоже современный, научно оправданный рокъ наслъдственности отнимаетъ даже не многихъ сыновей, а сына единственнаго и радость единственную? Женщина-атеистка, она сдѣлала себъ изъ сына религію, Бога,— и этотъ юный

богъ на ея глазахъ превращается въ безпомощное и жалкое существо съ безсмысленнымъ лепетомъ на устахъ, съ потухшею мыслью въ недавно живыхъ и блестящихъ взорахъ. И мать, подвластная прошлому, обречена на то, чтобы самой отравить обезумѣвшаго сына. Въ чемъ ея вина? Фру Альвингъ мучительно думала объ этомъ. Сначала она (а вследъ за нею и многіе критики пьесы) отожествияла карающіе призраки съ предразсудками, съ тъми обломками старины, которые въ видъ традиціонныхъ взглядовъ и догматовъ загромождаютъ радостную дорогу къ свобод и свъту. Быть можеть, казалось ей, если бы она когда-то не послушалась долга и настора Мандерса, если бы она не вернулась подъ ненавистную ей супружескую кровлю, жизнь ея была бы вольнье и счастливъе, и прошлое не настигло бы ея, не омрачило бы ея души, не отравило бы крови ея сыну; но это, конечно, не такъ: въдь она все равно была уже тогда женою Альвинга и возможной матерью его сына. И какъ будто воздавая должное «поэтической справедливости», какъ будто стремясь во что бы то ни стало открыть свою специфическую долю, свою личную лепту граха въ печальной сокровищниць и системь общеміровой отвытственности, фру Альвингъ все глубже анализируетъ себя и приходить къ сознанію, что свою жизнь она построила на винъ противъ жизни.

Мы не должны слишкомъ буквально понимать ея слова и вѣрить ей на слово, что, если бы она въ свое время дала свободу «жизнерадостному ребенку», камергеру Альвингу, и лелвяла его необузданную силу, клокотавшій въ немъ избытокъ энергіи и радости, то онъ, мужъ ея, не былъ бы безпутенъ и она не увидёла бы его романа со своей служанкой. Неть, — на самомъ деле, то жизнерадостное, противъ чего погръшила фру Альвингъ, горъло въ ней самой: она потушила собственное солнце, она сделалась великой преступницей противъ любви. У Освальда былъ не только виноватый отецъ, но и виноватая мать. Она вышла замужъ за Альвинга, не любя его: любила она пастора Мандерса. Она, какъ и мать Бранда, послушалась не сердца, а совъта родныхъ; этимъ она оскорбила природу, оскорбила свободу, и теперь она песетъ заслуженную кару: сынъ оказался похожимъ не на нее, а на ея нежеланнаго и потому незаконнаго супруга, и, вопреки ея словамъ, вовсе у него не такое очертаніе рта, какъ у Мандерса, и духовнымъ мертвецомъ лежитъ у ея ногъ любимый сынъ нелюбимаго мужа. А когда этотъ сынъ владълъ еще разумомъ, онъ холодно говорилъ о своемъ отцъ; онъ его не зналъ, не помнилъ: фру Альвингъ не дала себъ мужа, не дала своему сыну отца. Духовнымъ отцомъ Освальда, возлюбленнымъ его матери, является на самомъ дълъ

пасторъ Мандерсъ. Фру Альвингъ виновата тѣмъ, что пасторъ Мандерсъ не былъ и реальнымъ отцомъ ея сына. Фру Альвингъ виновата передъ солнцемъ, — оттого и солнце взошло тогда, когда своими помутившимися глазами не могъ уже видѣтъ его Освальдъ, сынъ ненастоящаго отца, и жалостно взывалъ: «мама, мама, дай мнѣ солнца!..»

Такое истолкованіе вины фру Альвингъ находить себъ подтвержденіе въ томъ, что Ибсенъ, поскольку онъ не связанъ моралью, поскольку онъ проявляетъ другое начало своего существа, именно въ свободъ и самостоятельности человъка, въ его върности самому себъ, видитъ его лучшее и наиболъе характерное свойство. Напримірь, драма «Дочь моря» проникнута тою прекрасной и поэтической мыслью, что наша истинная стихія не земля, а море, великіе просторы викинговъ, зыбучая арена героизма. «Скучный, неподвижный брегъ» представляетъ собою нашу чужбину, и, прикованные къ ней, мы испытываемъ тоску по родинв, тоску по морю. Всю печаль человъческую Эллида объясняеть тьмь, что люди вспоминають о заказанныхъ имъ вольныхъ путяхъ и распутіяхъ океана и горюють, и раскаиваются въ своей пригвожденности къ землъ. Кто чувствуетъ движеніе последней? «Земля недвижна»... Натуры, ищущія и одаренныя, не могуть примириться съ этимъ ввинымъ покоемъ и гибнуть, какъ та заблудившаяся морская дъва, которая не въ силахъ выбраться назадь, въ открытое море, и умираетъ въ пресной воде бухты, оторванная отъ родного естества. Женщина съ моря, Эллида, знаетъ его манящую, его неотразимую силу, и призывно шумить для нея немолчный хоръ его плещущихъ волнъ. Символика природы сдълала такъ, что море, это - видимая свобода, ея стихійная реализація, ея живое олицетвореніе. И такъ какъ у Эллиды свободная душа, то это нонятно, что когда-то, юной девушкой, она обручилась морю. Пришель къ ней морякъ-скиталецъ, вель съ ней долгія бесъды о морской жизни, о чайкахъ и дельфинахъ, и однажды онъ сняль кольцо со своей руки, сняль кольцо съ ея руки, надёль ихъ оба на кольцо отъ ключей и закинулъ ихъ далеко-далеко въ море, въ самую глубь, и сказалъ при этомъ, что онъ и Эллида сочетались морю. Потомъ уплылъ морякъ въ свои далекія странствованія, долго не возвращался «летучій голландець», и Эллида вышла замужъ за другого, за человъка суши. Но это былъ незаконный бракъ, потому что душою она была жена моряка, чувствовала на себъ его неодолимую власть и тосковала по родинъ, по морю. И когда у нея, женщины съ моря, родился отъ земного, отъ незаконнаго мужа ребенокъ, глаза его были какъ у того моряка-скитальца и меняли свой цветь по цвету моря-были тихи и ясны,

пока фіордъ нѣжился на солнцѣ, и загорались огнемъ во время бури. Эллида вышла замужъ за другого, расторгла было свое обрученіе морю, —но прошлое не проходить, и, спустя годы, летучій голландецъ вернулся. Онъ позвалъ къ себъ Эллину, но не потребоваль ея — онь только обратился къ ея доброй волв. То же въ концъ-концовъ сдълалъ и мужъ земной: онъ не предъявилъ своихъ правъ на нее и ей самой предоставилъ свободу выбора, въ ея собственныя руки передаль ея судьбу. Тогда она, перерожденная этой возможностью ръшить свой жизненный вопросъ добровольно и подъ личной отвътственностью, осталась на сушь, съ мужемъ земнымъ, и въ уста ей вкладываетъ Ибсенъ успокоенныя и успокоительныя слова о томъ, что ея теперь неизвъданное уже больше не влечетъ и не пугаеть: «ми дали заглянуть въ него... предоставили право отдаться ему, если бы только я сама захотёла; я имела возможность выбрать его. И потому я смогла и отречься отъ него». Это звучить педагогически, это - развязка, слишкомъ благополучная: и по собственной воль, свободно поступила Эллиза, и въ то же время ничего революціоннаго не произвела; и катастрофы не случилось, и противъ своей личности не пошелъ человъкъ... Въ подозрительной счастливости такого финала можно опять видеть ибсеновскую двойственность и колебание между этической идеей долга и эстетической идеей целостнаго самоосуществленія; но во всякомъ случае здёсь проявляется свойственное Ибсену общее требование къ человъку, чтобы онъ былъ самимъ собою, и въ частности - требование къ женщинь, чтобы супружество она всегда заключала законное, т.-е. слушалась только сердца и не грѣшила противъ жизнерадостности, какъ это сдълала фру Альвингъ, —противъ солнца внъщняго и внутренняго.

Но истинное супружество Ибсенъ считаетъ чудомъ изъ чудесъ. Все, что теперь слыветъ подъ именемъ брака, самозванно; и въ раннемъ періодѣ своего творчества нашъ авторъ думалъ даже, что бракъ вообще невозможенъ. Въ «Комедіи любви» герой и героння, именно потому, что они страстно любятъ другъ друга, разрываютъ свое обрученіе, — они боятся брака, его оношляющей силы, они предвидятъ взаимное охлажденіе, прозу и равнодушіе. Опи не хотятъ, чтобы и о пихъ когда - нибудь сказали: «Sic transit gloria amoris въ нашемъ мірѣ». Свангильдъ говоритъ своему недолгому жениху:

Весны цвътущей Мы дъти, Фалькъ. И никогда весна Для насъ смъниться осенью и не должна— Порой дождливой, хмурой и печальной,

Когда въ груди твоей замолкъ бы соловей, Стремиться пересталъ бы къ родинъ своей; И не должна зима свой саванъ погребальный Накидывать на наши свътлыя мечты; Мы не дадимъ любви своей весенней, страстной Зачахнуть, одряхлъть, лишиться красоты; Пускай умрегъ, какой жила,—прекрасной.

Такъ Свангильдъ, дѣва-лебедь, не только кончила, но и начала лебединой пѣснью, и она была увѣрена, что всякая душа вообще можетъ пѣть только одинъ разъ. Она и Фалькъ не хотѣли повторенія; они рѣшились остановить солнце и задержать на веснѣ теченіе временъ. Конечно, Ибсенъ не убѣдилъ насъ въ психологической возможности того, чтобы влюбленные сами расторгли свою любовь, чтобы у нихъ достало силы въ страхѣ передъ будущимъ отравить свое настоящее. Но важно то, что и здѣсь уже онъ намѣтилъ ту проблему человѣческаго союза, въ его элементарной формѣ — бракѣ, которая такое видное мѣсто занимаетъ во всемъ его творчествѣ. И замѣчательно, что отъ прежняго невѣрія въ самую осуществимость истиннаго брака Ибсенъ впослѣдствіи отказался, а только предъявилъ къ послѣднему очень высокія требованія; сущность ихъ достаточно ярко намѣчена и въ его столь извѣстной «Норѣ».

Здёсь воплощается передъ нами глубокая драма противоръчій: страдающій жаворонокъ, трагедія, пляшущая тарентеллу, хозяйка и рабыня кукольнаго домика. Здёсь внёшняя и формальная мораль оттъняется истиннымъ подвигомъ любви, который совершаетъ веселая лакомка, на своихъ нъжныхъ и хрупкихъ плечахъ такъ граціозно несущая тяжелое бремя тайны. То перерожденіе, которое происходить съ Норой въ концѣ пьесы, уже не первое: мужъ, близорукій и самодовольный, не зам'єтиль, какъ давно перестроилось все ен моральное существо. Ее твшить, чтобы подаренныя ей деньги вистли на елкъ въ золотыхъ бумажкахъ, по, такая падкая на игрушки, на бездълушки, дитя среди своихъ дътей, она развернеть эти бумажки и деньги возьметь не себъ, а уплатить ими долгъ, сделанный ради спасенія мужа и тайкомъ отъ него. Она была когдато мотовкой, и никто не увидълъ, какъ изящно и легко подавила она въ себъ прежнюю расточительность. Она работала дни и ночи. этотъ жаворонокъ зарабатывалъ, незамътно для всъхъ, Нора была героиня, и мужъ ея, который искалъ доблести, не замвчалъ, что она — здъсь, около него, въ этой порхающей женщинъ-птичкъ, въ этой любительниць миндальнаго печенія. Нора сумьла только напряженный долгь, суровое міросозерцаніе Росмерсхольма, претворить въ непринужденную стихію своей прекрасной души. И давно уже возрожденная, давно уже понимавшая всю ненормальность своего положенія, какъ мнимой жены (подобно Сельмѣ изъ «Союза молодежи»), она и отъ мужа хотѣла возрожденія, она искала «чуда»: ей нужно было, чтобы онъ показалъ свое нравственное тожество съ нею, высшее моральное единство, чтобы онъ создалъ дѣйствительный бракъ. Но чуда не случилось, и вдобавокъ еще именно мужъ явился тѣмъ обвинителемъ, который возсталъ противъ нея за то, что правду сердца она поставила выше, чѣмъ правду закона,—въ мужѣ увидѣла она бездушный педантизмъ и мертвую душу.

Къ новой жизни призвала Нору и внешияя катастрофа — проявленіе того общаго закона, установленнаго Ибсеномъ, что прошлое не проходить. Нора считала себя безопасной въ своемъ уютномъ уголкъ, и она играла въ жмурки съ дътьми, и было ей такъ весело. Но воть въ передней раздается звонокъ, - символическое предупрежденіе: идетъ судьба, возвращается прошлое. Судьба звонится у двери какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Нора говоритъ о себъ, что она счастлива. Этого нельзя громко говорить: кто-то подслушаеть, кто-то позавидуеть, и раздастся звонокъ или принесуть письмо. И когда все уже готово для елки, для праздника, для дътей, надъ жизнью и душою нависаетъ пасмурная тънь, и умолкаетъ птичка въ клъткъ, и на елкъ погасаютъ разноцвътныя свъчи. Отворяется дверь, и входить кредиторъ, — тотъ неумолимый жизненный Кредиторъ, который есть у каждаго. И кукольный домикъ, жалкій карточный домикъ человъческаго счастья, рушится. А вследъ за нимъ рухнулъ для Норы и ея нравственный домъ, -ея довъріе къ мужу, ея въра въ бракъ. И Нора ушла отъ очага, который сразу оказался чужимъ и у котораго она жила только по недоразумѣнію. Она поняда, что до сихъ поръ она не была замужемъ.

Упрекали Ибсена за этотъ уходъ героини, внезапный, ночью, за разлуку съ дѣтьми. Въ самомъ дѣлѣ: поспѣшность Норы и съ внѣшней стороны мало сообразна, и внутренне представляетъ собою слишкомъ легкую и скорую побѣду надъ живымъ инстинктомъ материнства. Отреченіе отъ дѣтей часто разрубало бы Гордіевъ узелъ неудавшейся семейственности, если бы оно было возможно. Ибсенъ не только не остановился передъ нимъ, но даже не увидѣлъ здѣсь никакой проблемы и лишь заставилъ свою героиню-мать провозгласить себя дурной воспитательницей, не имѣющей права вліять на своихъ дѣтей («я знаю,—говоритъ Нора,—они въ лучшихъ рукахъ, чѣмъ мои», — т.-е. въ рукахъ Гельмера? но развѣ можетъ Нора, не разрушая всего облика своего и всей драмы, искренне

считать мужа лучше себя?..) Авторъ едва ли не сознательно ушель въ данномъ случав отъ жизненной правды, и внвшней, и внутренней, для того чтобы сильнве оттвнить свою главную мысль,—свой призывъ къ женскому самоосвобожденію. Женщина уходить отъ мужчины, отъ мужа незаконнаго, чтобы снять съ себя маскарадный костюмъ и всю кукольную оболочку вообще, чтобы себя перевоспитать для новой жизни, для будущей женственности. И послъдняя бесвда Норы съ Гельмеромъ, это — роковая тяжба, которую искони ведутъ мужчина и женщина, это —разговоръ-разладъ, который такъ рвшительно оборвала Нора и послъднее слово котораго поэтому еще не сказано.

Какъ извъстно, въ разладъ половъ Ибсенъ беретъ сторону женщины. Ея рыцарь и скальдъ, онъ вооружается противъ тъхъ, кто, подобно художнику Рубеку, видитъ въ ней только мимолетный эпизодъ. И Рита Альмерсъ изъ «Маленькаго Эйольфа» мучительно ревновала своего мужа къ книгъ, ненавидъла ее; потомъ онъ книгу отстранилъ отъ себя, но взамънъ приблизилъ къ себъ не жену, а сына, — того преемника на жизненномъ престолъ, который часто заботитъ ибсеповскихъ героевъ. Голосъ жизни, Рита не была услышана своимъ мужемъ, онъ даже мало замъчалъ въ ней женщину (какъ и Росмеръ въ Ревеккъ), и она съ такою горечью и укоризной повторяла стихъ поэта:

Бокаль твой полонь быль, но ты его не пиль...

Женщина, это-жизнь по преимуществу, а въдь именно восхваленію жизни, въ ея стихійной красоть, и посвятиль Ибсень свой драматическій эпилогь, посл'яднее слово своей мудрости. Когда мертвые пробуждаются, они видять, что никогда не жили: въ этомъпредълъ скорби. Вмъсто живого мы въ своей суетности выбираемъ себъ какую-нибудь замъну бытія, мы движемся при свъть заимствованномъ и любимъ всякія отраженности-науку, искусство, мы беремъ жизнь изъ вторыхъ рукъ, — ее цитируемъ. Это символически проявляется въ томъ, что мы выпиваемъ у женщины душу и превращаемъ ее въ тень и призракъ. Нетъ большаго греха, чемъ это: такъ училъ нашъ авторъ и раньше. Ибо на дорогу свободной и самодовл'яющей жизни выводить именно женщина. Изъ того крайняго индивидуализма, въ который замыкаетъ Ибсенъ человъческую личность, не было бы выхода, и не могло бы возникнуть общества, собирательности, если бы здёсь не ожидало насъ великое назначение женщины. Она-то золотое звено, живое звено, которое соединяеть особь и общество; въ ней - разрѣшеніе и граница всякаго индивидуализма, но не его конецъ и гибель. Союзъ съ женщиной тъмъ

пазнится отъ всякихъ другихъ соединеній, что только здісь сохраняется равноправіе личностей, только здесь нёть подданства и полчиненія. Даже въ дружбу проникаеть начало неравенства; и одинъ безъ другого, другъ безъ друга, можетъ все-таки обойтись. Кромъ того, въ дружбъ природа не заинтересована; это-явленіе, которое стихіи не касается. Только любовь серьезна. И воть, любовь-единственный союзь, въ которомъ человъкъ человъку — король. Любовь никогда не уменьшаеть. Она создаеть такую целостность, при которой не умаляется значение составляющихъ ее человъческихъ элементовъ. Она осуществляеть то чудо, въ силу котораго чёмъ больше ты отлаешь, тъмъ больше у тебя остается. Она не разрушаеть ничьего престола, и мы уже видели, какъ не правы те претенденты на него, которые отсылають отъ себя женщину. Они не сознають, что женщина всегда—героиня, достойная супруга викинга. Самое существование ея, это уже - подвигъ; въ самой домашности своей она уже совершаетъ нъкое служение. Ибо для Ибсена она воплощаеть собою консервативное начало существованія, ту центростремительную силу, которая необходима для воснолненія силы центробъжной и безъ которой не могла бы состояться никакая жизнь. Въ этомъ смыслв онъ тоже какъ бы присоединяется къ идеямъ того мыслителя Киркегора, который быль его духовнымь сотрудникомъ въ созиданіи образа Бранда. По Киркегору, всякій изъ пасъ, въ своей эстетической молодости, ищетъ разнообразія, физически и морально путешествуеть, жадно припадаеть губами къ каждой чашь, но не осущаеть до конца ни одной. И это примънимо именно къ мужчинъ. Онъ — прирожденный Одиссей. Жепшина вездь-дома. Мужчина вездь-на чужбинь. Молясь на многихъ боговъ и прихотливо, все онять и онять нерестраивая свой изм'єнчивый пантеонъ, богатый иконостасъ Донъ-Жуана, касаясь земли и жизни въ разныхъ точкахъ, избъгая географической и исихологической осъдлости, многострадальный, но и многосчастливый Одиссей бродить изъ края въ край, далеко отъ родной Итаки. А въ Итакъ дни и ночи ждетъ върная Пенелопа. Ея не влечетъ чужая пестрота, ея не манить синяя даль, ей дорого родное однообразіе, и не тягостна повторяемость жизненных впечатлівній. Она ткетъ свой нескончаемый коверъ и терибливо поджидаетъ страпника-Одиссея. Передъ нимъ развертывается панорама вселенной, чужіе народы и страны проходять на его глазахъ яркой и прекрасной вереницей, — а Пенелопа остается все въ той же старой обители, и тоскуеть ея неизмѣнное сердце. Духу Одиссея странствованія нужны, конечно, не только для развлеченія: его сибдаеть благородная тоска по чужбинь, его подвижность - подвигь; но и постоянство Пенелопы является великой заслугой сосредоточившейся, единообразной души. Женщина ждеть. Марта изъ «Столповъ общества» говорить о себь и о томь, кого она тайно любила, что онъ по широкому свѣту «леталъ вольной птицей въ глубокомъ солнечномъ просторъ и впивалъ въ себя молодость и здоровье съ каждымъ глоткомъ воздуха», она же, новая Пенелопа, «сидела здёсь и пряда, пряда... нить его счастья, золотую нить», и поблекла за этой пряжей, и состарилась. Перъ Гюнтъ еще въ ранней молодости увидёль свою Сольвейгь, съ золотыми косами по плечамъ, съ молитвенникомъ въ рукахъ, и онъ давно понялъ, что она-его единственная, средоточіе всей его жизни. Но Великая Кривая увлекла его далеко въ сторону, и хотя въ своихъ блужданіяхъ по всёмъ дорогамъ и проселкамъ свъта онъ часто вспоминалъ свою свътлую дъвушку и къ ней взываль о спасеніи, но были запутаны его разнообразные пути, и онъ все дальше и дальше уходиль отъ нея. Между твиъ она покинула ради него отца и мать, и сестру, и ужъ не было для нея возврата къ прошлому. Въ лъсной избушкъ должень быль зажить съ нею Перь Гюнть, но вызвали его оттуда тролли, и онъ только крикнулъ Сольвейгъ, чтобъ она подождала его. «Я подожду» — символически отвътила дъвушка, и она сдержала свое характерное женское слово. По лесной тропинке далеко ушелъ Перъ Гюнтъ, и пока онъ искалъ самого себя и въ процессъ самоосуществленія міняль одинь свой обликь на другой, вірная Сольвейгъ ждала его. И только въ концъ своихъ долгихъ странствованій, когда жизнь его уже распродавалась съ аукціона, въ Троицынъ вечеръ, очутился онъ въ томъ самомъ лъсу, гдъ поселилась его невъста; невольно прибрель онъ къ ея избушкъ и услышаль песенку Сольвейгь, вечную песню женщины:

Горенку къ Троицѣ я убрала; Жду тебя, милый, далекій... Жду какъ ждала. Труденъ твой путь одинокій— Не торопись, отдохни. Ждать тебя, другъ мой далекій, Буду я ночи и дни.

«Безмольный и блёдный какъ смерть», потрясенный Гюнтъ воскликнуль:

Она не забыла, а онъ позабылъ; Она сохранила, а онъ расточилъ!..

Такъ встрътились въ жизненномъ лъсу расточитель-мужчина и собирательница-женщина. Еще недолгое время оставался Перъ Гюнтъ

вдали отъ избушки, но въ послѣднюю минуту онъ бросается въ нее и Сольвейгъ своей предлагаетъ тотъ вопросъ, на который онъ многіе годы тщетно искалъ отвѣта: « Γ дѣ былъ самимъ собою π »? Онъ себя искалъ и не нашелъ,—гдѣ же онъ, гдѣ его подлинная личность, гдѣ Перъ Γ юнтъ? И онъ слышитъ отъ Сольвейгъ поразительный отвѣтъ: «Bъ моей надеждѣ, вѣрѣ и любви моей».

Вотъ ибсеновская истина: дѣйствительный образъ человѣка, его внутренняя сущность, живетъ въ томъ, кто его любитъ. Если мы котимъ познать себя, увидѣть свое настоящее лицо, мы должны посмотрѣть въ зеркало любящаго и любимаго сердца. Только тамъ не искажены наши черты, только тамъ наша душа свободна отъ всякихъ налетовъ и чуждыхъ наслоеній, только тамъ горитъ и сіяетъ глубочайшее ядро личности. То имя, которымъ нарекаетъ насъ любовь, — это и есть наше дѣйствительное имя; все остальное — псевдонимы. Индивидуальность находитъ себя въ любви.

И Перъ Гюнтъ прижимается къ Сольвейгъ, прячетъ свое лицо въ ея колѣняхъ, называетъ ее своею матерью и женой, чистѣйшею изъ женщинъ, и въ этотъ мигъ ему становится понятно и божественное воплощеніе вѣчной женственности—та Мать, которая заступается передъ Отцомъ...

Во всяческомъ ожиданіи—сила женщины. Благодаря своему духовному консерватизму, она всегда остается върна самой себъ, и потому она можеть и другихь звать къ согласію съ ихъ собственной личностью. Тъмъ, что она не забываеть, она напоминаеть. Мы всь вь долгу у своей молодости, мы задолжали самимъ себь, и та сила, которая въ срединъ или на закатъ нашей жизни приходить требовать уплаты, выражается именно въ женщинъ, въ какой-нибудь юной дівушкі Гильді, которая неожиданно становится передъ своимъ Сольнесомъ и побуждаетъ его подняться на вершину, создать объщанное королевство. Пусть онъ и гибнетъ на своей высоть, но важно то, что онь ея достигь, и еще важнье то, что онъ ея захотыль. Вообще, пе для счастья нужна Ибсену женщина: она цънна тъмъ, что способствуетъ выявленію нашей личности. Стремленіе къ женскому сердцу, къ этому вѣчному престолу воплощенной красоты, такъ окрыляеть волю, что делаеть человека самимъ собою, дёлаетъ его героемъ и поощряетъ къ тому, чтобы онъ строиль не дома, а храмы. Ибо жизнь должна проходить не въ жилищахъ, а во храмахъ, и воздвигать надо только то, что вфчно.

Но—опять предложимъ свой основной вопросъ— эти храмы, чертоги абсолютнаго, должны быть воздвигнуты въ чью же честь, во имя какого бога, — языческаго или христіанскаго? Өиміамы должны

возноситься въ нихъ сильной и цѣльной волѣ или тому началу, которое волю направляетъ на опредѣленные объекты благости и любви? Юліанъ Отступникъ или Христосъ—за кѣмъ пойти?

Мы уже говорили, что Ибсенъ не даетъ вполнѣ опредѣленнаго отвѣта на этотъ вопросъ, и самъ онъ всею огромностью своего духовнаго существа, своею нравственной массой колеблется между двумя полюсами духа. Какъ художникъ, онъ оставилъ себя и другихъ въ недоумѣніи па этотъ счетъ; но какъ мыслитель, безъ претворенія въ художественный образъ, онъ въ «Юліанѣ Отступникѣ» вложилъ въ уста мистику Максиму загадочныя и обѣщающія слова о нѣкоемъ «третьемъ царствѣ», которое должно примирить въ себѣ противоположность кесаря и галилеянина, создать Двойственнаго, поднявшагося надъ антитезой духа и плоти, и будетъ этотъ Мессія, царь третьяго и послѣдняго царства, «Логосъ въ Панѣ—Панъ въ Логосѣ».

Пусть не достаточно вошла эта примирительная идея въ общій строй ибсеновского творчества, но даже особнякомъ проявляетъ она свое великое значение и силу. Можеть ли быть синтезъ грапдіознье, чьмъ это ожидаемое взаимопроникновеніе Логоса и Пана? Освятить природу, ее христіанизировать, просвітить ее Словомъ и въ то же время облечь это слово плотью Великаго Пана; сдёлать Гердъ послёдовательницей Бранда и Бранда привести въ снѣжную церковь, подъ своды стихійные; утолить человѣческую жажду дерзновенія, открыть горизонты и просторы свободной личности и этотъ ея природный эстетизмъ внутрение соединить съ любовной заботой о ближнемъ и всеми заветами этическаго міропониманія; вернуть Юліана ко Христу съ его безусловностью и Христа осфиить ореоломъ древней красоты, лучезарностью самодовльющаго солица-вотъ что предносилось Ибсену въ смутныхъ и тяжелыхъ грезахъ его большого, но медленнаго ума, его негибкой. но сосредоточенной мысли.

И въ то время какъ онъ съ тяжкими усиліями раздвигаль передъ собою завѣсы, скрывающія отъ человѣческихъ глазъ третій Римъ, третье царство объединенныхъ Логоса и Пана, — въ это время другой писатель, его соплеменникъ, аморалистъ, оставивъ заботы о Логосъ, всецѣло и беззавѣтно предался одному Пану. То былъ Кнутъ Гамсунъ.



КНУТЪ ГАМСУНЪ.





на по ни не компећ судожественной литературы суптано панатична въ станру. Именна отгуда в пота на пасъ по питина съверное сілвів, которов броскеть двай прина по исв каубины челожическиго дума. Впрочемы, в Стория оторы, такоболые принят дучемы которыго являются то по пожеть септалься посходищей стихой до дру-т в произветения в Пондо насменения относится из автор-- помнает ого тижиловасности, ова проинацпоражимые что соппасній, на которыми в по парте женицать и описывается, чените па на принцупа своих датой, стобы и in which there is no about month of the property of the proper тье вглаліськи из Ибсо на и Грысуна, то жи убъто в при может чертахъ различія, при глубовой различі. т то ка просоний, они на крайнихи высотахъ міросовершних. учасного путава, друга друга истрачають. По телего то на канринная дража о скитальне «Мунквие Венду». - ... - по дуку неого збидео формы, и по дуку неого збидео - lups Pouronas, не тольно оба писателя соция-на объем и и «Дакую утку» Ибсела; не голько объеми и доличеству возмонны и книги на сорына музычны, ... на воправо выкиже, иго шихъ обояхъ существенно-отниматета желово да обламу, ота ограниченняго ко-воему честволи продукт, в ста и прушаемию, Логоса, адогический ви до-..... с настражения и firm и тогь, и другой пргоражинителен изтом. Все свытеовика Брасси то ли т Ист и трания в охотении Глава 1 0 — Генериз на нас выстителий сопременных и думъ. то не придава поряди и не клиги присигического и поличето.



Въ паши дни на компасѣ художественной литературы стрѣлка неизмѣнно обращается къ сѣверу. Именно оттуда идетъ на насъ какое-то сіяніе, по истинѣ—сѣверное сіяніе, которое бросаетъ свой необычный отблескъ во всѣ глубины человѣческаго духа. Впрочемъ, этотъ негрѣющій огонь, наиболѣе яркимъ лучемъ котораго является Генрикъ Ибсенъ, не можетъ считаться подходящей стихіей для другого скандинавца, Кнута Гамсуна, которому холодъ присущъ менѣе всего. Недаромъ авторъ «Пана» насмѣшливо относится къ автору «Бранда»; онъ ему не прощаетъ его тяжеловѣсности, онъ иронизируетъ надъ «полнымъ собраніемъ» его сочиненій, въ которыхъ, на его взглядъ, обнаружено незнаніе женщинъ и описывается, между прочимъ, какъ одна изъ нихъ покинула своихъ дѣтей, чтобы пустнъся въ поиски чуда, между тѣмъ какъ дѣти—что же иное?..

Но если пристальнѣе вглядѣться въ Ибсста и Гамсуна, то мы убѣдимся, что при всѣхъ чертахъ различія, при глубокой разницѣ натуръ и вдохновеній, они на крайнихъ высотахъ міросозерцанія, придя туда разными путями, другъ друга встрѣчаютъ. Не только своевольная и капризная драма о скитальцѣ «Мункенѣ Вендтѣ» съ его пестрой жизнью имѣетъ и по формѣ, и по духу много общаго съ ибсеновскимъ «Перъ Гюнтомъ», не только оба писателя совпадаютъ между собою въ иныхъ мотивахъ и символахъ,—особенно тѣхъ, которые отличаютъ и трилогію Гамсуна, и, напримѣръ, «Маленькаго Эйольфа» или «Дикую утку» Ибсена; не только оба они разсказали о соперничествѣ женщины и книги въ сердцѣ мужчины, — но и, что гораздо важнѣе, для нихъ обоихъ существенно стремленіе отъ частнаго къ общему, отъ ограниченнаго ко всему: пбсеновской ли дорогой, хотя и нарушаемаго, Логоса, алогической ли дорогой гамсуновскаго Пана, —и тотъ, и другой авторъ тяготѣютъ къ цѣльности, и въ конечномъ счетѣ Все священника Бранда не то ли жо самъе, что Пано въ натурализмѣ охотника Глана?

Кнутъ Гамсунъ—одинъ изъ властителей современныхъ думъ. Отъ него трудно оторваться; его книги притягиваютъ и волнуютъ. И это прежде всего-потому, что самъ властитель не находится пи поль чьею властью. Если онь и воспринимаеть какія-нибудь вліянія со стороны, то они подвергаются у него такой рішительной и органической переработкъ, что въ нихъ уже не остается ничего внъшняго для его личности, ничего посторонняго; онъ чужое дълаетъ своимъ. Онъ-самъ по себъ. Никъмъ не купленный, ничъмъ не подавленный, ни отъ чего не оробъвшій. Гамсунь — человъкъ и писатель безъ цитатъ. Вопреки Эмерсону, котораго онъ не любитъ, его философія сводится къ тому, чтобы жизнь и себя не превратить въ цитату, --- жизнь у всякаго должна быть своя. Самъ Гамсунъ, судя по его произведеніямъ, таковъ, точно законъ тяготфнія писанъ не для него. Обыкновенно изъ жизни уходитъ жизнь, и мы никнемъ долу, и на утомленныя плечи ложатся труды и дни, и блекнуть впечатлънія, и гаснеть великое первое, —а Гамсунъ не согнулся подъ тяжестью трудныхъ дней и всегда начинаетъ сначала, постоянно свъжій и свътлый.

«Странникъ, которому не приготовлено на каждый день ни вды, ни питья, ни одежды, ни крова, ни уюта, не падаетъ духомъ... Тяжеленько приходится, и плоть и кровь стынутъ, и волосы быстро съдъютъ, но странникъ благодаритъ Бога за жизнь,—интересно жилось!.. Въдъ къ чему всъ эти непомърныя притязанія? Какихъ такихъ наградъ ты заслуживаеть? Развъ ты не любовался на міръ Божій каждый день, не слушалъ, какъ лъсъ шумитъ? А что сравнится прелестью съ шумомъ лъса? Въ саду пахло жасминами, и у кого-то въ груди трепетала радость—не отъ запаха жасминовъ, но отъ всего вмъстъ: отъ окна, въ которомъ свътился огонекъ, отъ воспоминаній, отъ всей совокупности жизни. Пусть ему пришлось уйти изъ этого сада,—онъ уже заранъе получилъ награду свою за такую непріятность. Такъ оно и есть: самый даръ жизни уже является богатою наградой, вручаемою намъ заранъе, въ видъ возмѣщенія за всъ горести жизни, за всъ до единой».

Чтобы такъ благодарить, когда дорога идеть уже подъ гору, чтобы такъ говорить, когда «страннику стукнетъ полвѣка», чтобы такъ кончить, надо было такъ же начать. Гамсунъ этому условію вполнѣ удовлетворяетъ. Пусть теперь онъ играетъ «подъ сурдинку», но играетъ прежнюю арію. Его послѣднія, осеннія страницы звучатъ естественной элегичностью, но онѣ нисколько не разрушаютъ общаго духа его созданій. Въ нихъ выступаетъ передъ нами человѣкъ, у котораго—незакатная молодость и смѣлость легкаго сердца, великое дерзновеніе и неутомимая подвижность нрава. Онъ даже презрительно говоритъ о старости, потому что она требуетъ отдыха (а Гамсунъ въ немъ не нуждается) и считаетъ себя мудрой, между

что солнце погружается въ море и выходить оттуда пурпурное, обновленное, «какъ будто оно выпило вина». Но бываетъ опьянение тяжелое, дикое, безумно-экстатическое, — у Гамсуна же и оно легко, естественно, поэтично. Ибо Панъ, это - Вакхъ. И въ чарахъ мірового вина упоенный писатель видить, какъ «горизонть од вается въ лиловое съ золотомъ: ужъ это не праздникъ ли тамъ наверху во вселенной, торжественный праздникъ, съ звъздной музыкой и съ катаньемъ въ лодкахъ по ръкамъ?» Ибо наши будни и наши праздники достигають и сферь небесныхъ; есть какое-то единство между небомъ и землею, и на протянутыхъ между ними струнахъ разъигрывается нъкая симфонія, внятная для того, кго слухомъ своимъ умбетъ приникать къ материнской груди естества. И при этомъ не только большая, сильная, динамически-возвышенная, зоветь къ себф Гамсуна природа: нътъ, она для него бездонно-содержательна и въ своихъ деталяхъ, въ каждой каплъ міра-моря. Онъ ее расчленяетъ. раздробляеть, онъ любить ея «мелюзгу», онъ знакомъ съ каждою травкой и былинкой, -- онъ помнитъ, что и самъ когда-то, въ прошлые въка міроздапія, быль именно ею. Не только горы кавказскія «точно пришли откуда-то издалека и остановились какъ разъ подий него», но интересна для него и та зеленая гусеница, которая нолзетъ, какъ кусочекъ зеленой нитки, и медленными стежками проходить шовъ вдоль по въткъ, --и этотъ шовъ, для Гамсуна, медленными стежками идетъ и дальше, съ вътки на вътку, по всему земному краю и шьеть природ'в ея л'етнія одежды. Крошечное существо безъ крыльевъ, величиною «съ запятую въ мелкомъ печатномъ шрифтв» живеть и умираеть на томъ маленькомъ листкв, глв оно увидъло свой ограниченный свъть; но и въ такомъ микрокосмъ дышить Все, присутствуеть Панъ, и оттого цълые часы можно влюбленными глазами следить за движеніями этого живого міра. Травка смотрить на тебя, и ты не видишь дикой гвоздики, но только слышишь запахъ ея и плачешь отъ любви къ ней, «Все соглашается со мною», говоритъ Гамсунъ, и онъ соглашается со всёмъ, и не побъждено ли тютчевское недоумъніе:

> ...Отчего же въ общемъ хорѣ Душа не то поетъ, что море, И ропщетъ мыслящій тростникъ?

Здѣсь не только нѣтъ ропота, но и осуществляется, какъ будто, желанное созвучіе души и моря, отдѣльной личности и безбрежнаго міра. И, не подавленный даже природой, даже передъ нею не потерявъ своего достоинства и независимости, но пьяный отъ природы и ею растроганный, Гамсунъ провозглашаетъ тостъ за нее, міровую

тьмъ какъ «годы вовсе не умудряють: годы только старять». Всь старики профессора; но больше ума въ легкомысліи, чемъ въ ихъ тяжкой онытности. Она представляетъ собою мертвую кристаллизацію мысли, остановку и спеціальность. Гамсунъ же—противъ всего, чго остановилось и готово. Интересно въ немъ, писателѣ, пренебреженіе къ литературѣ, если она дѣлается профессіей, къ ремеслу книги и газеты, къ пошлой суетливости редактора Люнге. Въ философіи авторъ «Мистерій» не хочеть селиться на общедоступной плоскости позитивизма; въ литературѣ онъ далеко не отдаетъ своихъ симпатій. напримъръ, Виктору Гюго, поэту общихъ мъстъ, оцъпенъвшему въ своей знаменитости. Мораль онъ считаетъ наименъе человъческимъ въ человъкъ. Свободный и самостоятельный, остроумный, внъ авторитетовъ, не подданный ничей, движется нашъ граціозный художникъ съ чарующей непринужденностью. Онъ не ходитъ, а скользитъ. Міръ для него — точно грандіозная ледяная поверхность, и Гамсунъ міровой конькоб'єжецъ. Въ своей національной курткі, на послушныхъ конькахъ, ловкій и стройный, засунувъ руки въ карманы, выводитъ онъ изящные узоры, и удивительны по смѣлости его неожиданные пируэты. Онъ много видѣлъ, еще больше испыталъ, и ничьмъ его не удивишь. Но все же у него-неугасимый интересъ къ жизни, которую онъ беретъ во всемъ ея разнообразіи и въ самой гущь. Неосьдлый, безъ внутренняго крыпостничества, безъ духовной обрюзглости, онъ каждую минуту готовъ сняться съ мъста и идти куда глаза глядять, съ альпійской палкой въ рукв. Онъ никогда не запыхается, никогда не устанеть. Ему все равно, гдъ жить: ему не трудно къ чужой флотиліи приладить свою ладью. Онъ крестится въ любую въру, и до всъхъ ему есть дъло, доброе дъло. Онъ быстро себя присоединяеть къ другимъ. Въ незнакомомъ городъ, на могильной плить неизвыстной дывушки онь сейчась же, не задумываясь, пишеть эпитафію. Не отяжельвшій, не почтенный, сохранившій духовную свободу не только по отношенію къ другимъ, но и къ самому себъ, онъ и о себъ разсказываетъ забавно; и его не усыпляетъ никакое дуновеніе филистерства и буржуазности. Отъ него далеко все формальное, условное, общепринятое; едва ли былъ къ лицу лейтенанту Глану его мундиръ, и въ такое трагикомическое затрудненіе попалъ Гамсунъ, когда въ пути ему понадобились визитныя карточки, — онъ никогда ихъ не употребляетъ. Душевная необремененность и очаровательный юморъ, который онъ на себя распространяеть не меньше, чъмъ на другихъ, нозволяють ему жизнь не влачить какъ тяжелую ношу, а кружиться съ нею въ ея непосредственномъ танцъ. И хотя ему нужно изъ Копенгагена въ Мальме, но, увидъвъ красивую дъвушку, ъдущую въ противоположномъ

направленіи, онъ, не долго думая, устремляется за нею, вскакиваетъ въ вагонъ ея чуждаго повзда, безъ билета, безъ багажа (онъ и всегда налегкв, безъ вещей, ими не связанъ, ввчно бвденъ), и вдетъ, вдетъ, не зная куда, не зная зачвмъ, вслвдъ за красавицей, за живой зввздою женщины; оправдать «офиціально нередъ Богомъ и людьми» свое пребываніе въ ея городв онъ не умветъ,—но что же изъ того? И когда оказывается, что это не дввушка, а чужая жена, что на станціи къ ней подошель не братъ ея, а мужъ, нашъ вольный путешественникъ безропотно отправляется назадъ и вдетъ куда-нибудь еще. Ему ничего не стоитъ броситься въ любой вагонъ жизни. Онъ не двловитъ и не ставитъ себв цвлей; онъ даетъ днямъ уплывать одному за другимъ. Характерна его антипатія къ америкапцамъ съ ихъ суетной шумливостью, его ироническое отрицаніе этого мвщанства въ динамикв.

Однако при такой замѣчательной подвижности Гамсунъ внутренне серьезенъ. Онъ-туристъ жизни, но его путешествія не всегда безопасны; онъ совершаеть и очень трудныя экскурсіи духа, этоть Нансенъ съверной литературы. Его легкое не есть поверхностное. Но только ничто его не туманить, не давить, — даже трагедія. Онъ не чувствуеть, и у него не чувствуется, тяжести событій. Онъ спокойно передаеть о самомъ ужасномъ; въ его объективномъ разсказъ не подчеркнута важность самоубійствь, убійствь и преступленій. Въ страшномъ и прекрасномъ «Голодъ», этой художественной автобіографіи, онъ вспоминаеть о томъ, какъ онъ не ѣдалъ по цѣлымъ днямъ, какъ онъ пытался обмануть свой голодъ темъ, что жевалъ щенку или подкладку своего кармана. Казалось бы, нътъ ужъ большаго доказательства нашей матеріальности, чемъ оскорбительныя муки голоданія; но Гамсунъ и здёсь остался неугнетеннымъ, его не притянуло къ землъ свинцовое тяготън е нужды, и попрежнему быль онъ больше кого бы то ни было обращенъ лицомъ къ верху, былъ онъ, какъ и всегда, если можно такъ выразиться, самый вертикальный изъ людей. Свои страданія и разсказъ о нихъ онъ пропизаль такою свётлой духовностью, онъ голодаль съ такимъ достоинствомъ, что его книга вовсе не является соціальнымъ протестомъ или местью голоднаго сытымъ, тому большому городу, въ которомъ ярко свътятся окна домовъ, но закрыты и темны души людей; Гамсунъ какъ-то не даетъ времени и повода читателямъ возмущаться, —изъ общественности въ индивидуальное переносить онъ центръ интереса. Онъ благородно отзывался на пытки тѣла и находилъ отвлечение отъ нихъ въ общей легкости своего моральнаго существа. Голодными глазами онъ видълъ предъ собою того же Нана, искалъ убъжища въ природъ, подъ сънью буковаго лъса, на берегу моря, и больше

мечталъ на рынкъ о томъ, чтобы украсть не ъду, а пунцовыя розы, праздникъ осени, этой «благородной» норы года, справляющей «карнаваль разрушенія». Голодный и нищій, грезиль опь о принцессахъ, въ мноъ обращалъ дъйствительность и встретившуюся женщину преображаль въ поэтическую Илайяли; онъ влюблялся и влюбляль въ себя. Его не покинуло творчество, опъ его не забросиль, онь испытываль высокія минуты вдохновенія, и въ иные безнадежные моменты его спасала его книга, его дарованіе, тотъ каранданть, съ которымъ онъ не разлучался и которымъ онъ набрасываль прихотливую филіацію своихъ грезъ и настроеній. И несомивно, что его нужда не достигла бы такой убійственной остроты, если бы онъ долго не скрываль своего положенія отъ другихъ, если бы опъ выше всего не ставилъ своего самолюбія и гордости и не быль такъ неспособенъ на просьбу. «Я только и дълалъ всю свою жизнь, -- сознается онъ-что постоянно отказывался отъ всего, гордо качалъ головой и говорилъ: натъ, благодарствуйте». Опъ благодарилъ и не принималъ, — зато давалъ самъ, и последнія коп'єйки, посл'єднюю охрану отъ завтрашняго голода, расточаль онъ бъднымъ (не болье бъднымъ, чъмъ онъ) такъ щедро, какъ если бы дома его ждали еще несмътныя богатства. Онъ не могъ и не хотълъ побъдить своего врожденнаго филантропизма. Онъ плакалъ отъ огорченія, когда не имълъ что дать. На людей онъ за свое голоданіе вообще не сердился, ихъ не обвиняль и не вышель изъ этого испытанія челов'єконенавистникомъ. Но за то, что голодъ покушался на его человъческую гордость, на его достоинство, за то, что ему, Кнуту Гамсуну, приходилось передъ самимъ собою стыдиться той власти, какую пріобрело надъ нимъ физическое п физіологическое, — за это онъ пе однажды насмъщливо пенялъ Богу, къ которому и всегда относился безъ почтительности и совершенно независимо; неробкаго десятка вообще, онъ и передъ Богомъ не сдерживаль своего юмора, своей неустрашимости и ни за что не хотъль льстить ему даже въ самыя трудныя минуты своего бездомнаго существованія. Какъ-то разъ почудилось ему, что онъ увиділь персть Божій, указующій, гд можно достать ноль кроны; но голодиый проситель встретиль обычный отказь, и тогда подумаль онъ съ горькой усм'єшкой: «н'єть, это не персть Божій, — такое указаніе я и самъ бы могъ сдёлать, своимъ собственнымъ перстомъ»... И даже говорить онъ устами Мункена Вендта (какъ это звучить въ нѣмецкомъ переводѣ гамсуновской пьесы, озаглавленной именемъ героя):

Die Sonne, die brät uns so grosz und so stumm... Der Himmel hängt drüber—so blau und so dumm. Какъ и нашъ Онѣгинъ, онъ сѣтуетъ на глупый небосклонъ, на эту нелѣпую голубизну и такое большое и нѣмое солнце. И думаетъ онъ, что люди лучше Бога.

Такъ голодалъ Кнутъ Гамсунъ. Очевидно, онъ непроницаемъ для отчаянія и для матеріальности, этоть воздушный писатель. Ничто ему не сопротивляется, ничего ему не станется. Это связано съ твиъ, что онъ какъ бы соединяетъ въ себв утонченность и простоту. Характерная черта его плинительного своеобразія, ключь къ нему именно въ томъ и состоить, что въ него долго не проникала обычная враждебность между природой и культурой. Утонченность часто суживаеть, превращаеть мірь въ изысканную оранжерею, и воть Уайльдъ гуляеть по жизни съ экзотической орхидеей въ петлицъ. А менъе сильные даже совстмъ не знають цвтовъ и только искажають ихъ душу въ духи. У Гамсуна же именно-цвъты, и притомъ полевые, никъмъ не посъянные, никъмъ не взращенные, всь эти наивные васильки, которые веселять собою серьезную рожь, человъческій хльбъ. Въ его разсказахъ такъ много воздуха, свободы и шири; какія перспективы л'ісовь и морей, какая даль горизонта, какой просторъ! Гамсунъ любовно входить въ природу, въ простыя, несложныя души ея детей и такъ внимательно, такъ медленно изображаеть ихъ. Онъ никуда не спешить, ему везде любопытно, и потому онъ часто кружить на одномъ мъсть, повторяеть однъ и тв же ситуаціи; но даже за эти длинноты его не осуждаешь, и не скучно тебь, потому что онъ умьеть заинтересовать и элементарностью, онъ умфетъ надолго привлечь наше внимание къ какомунибудь почтарю Бенони, который трудно полюбиль девушку Розу; и если въ разныхъ его произведеніяхъ возвращаются тѣ же герои и героини, то мы встречаемъ нашихъ старыхъ знакомцевъ приветливо, и даже пріятно для насъ, что тянется по этимъ произведеніямъ какая-то прекрасная канитель жизни.

Такъ Гамсунъ сохраниль простодушіе, хотя онъ и прячеть его подъ дымкой юмора и лукавства. Какъ любопытный ребенокъ, онъ за всѣмъ слѣдитъ, все замѣчаетъ и запоминаетъ — каждую мелочь. Но и зоркость его — легкая; отъ нея не становится жутко; онъ не сыщикъ души, онъ не пишетъ записокъ изъ подполья. Онъ тонко умѣетъ разбирать собственныя переживанія; удивительный психологъ самонаблюденія, онъ въ томъ же «Голодѣ», напримѣръ, съ необычайной силой анализируетъ свои впечатлѣнія отъ тьмы и звука, свой гипнозъ отъ какого-нибудь слова, — но и этотъ самоанализъ, темное занятіе рудокопа, нисколько не отличается у него сухостью и не вызываетъ тягостнаго эффекта. Однажды навсегда не подчинившись закону земного тяготѣнія, онъ и память свою не обреме-

что солнце погружается въ море и выходить оттуда пурпурное, обновленное, «какъ будто оно выпило вина». Но бываетъ опьянъніе тяжелое, дикое, безумно-экстатическое, — у Гамсуна же и оно легко, естественно, поэтично. Ибо Панъ, это — Вакхъ. И въ чарахъ мірового вина упоенный писатель видить, какъ «горизонть одбвается въ лиловое съ золотомъ: ужъ это не праздникъ ли тамъ наверху во вселенной, торжественный праздникъ, съ звъздной музыкой п съ катаньемъ въ лодкахъ по ръкамъ?» Ибо наши будни и наши праздники достигають и сферь небесныхь; есть какое-то единство между небомъ и землею, и на протянутыхъ между ними струнахъ разъигрывается нъкая симфонія, внятная для того, кго слухомъ своимъ умбеть приникать къ материнской груди естества. И при этомъ не только большая, сильная, динамически-возвышенная, зоветь къ себф Гамсуна природа: нътъ, она для него бездонно-содержательна и въ своихъ деталяхъ, въ каждой каплъ міра-моря. Онъ ее расчленяетъ. раздробляеть, онъ любить ея «мелюзгу», онъ знакомъ съ каждою травкой и былинкой, — онъ помнитъ, что и самъ когда-то, въ прошлые въка мірозданія, быль именно ею. Не только горы кавказскія «точно пришли откуда-то издалека и остановились какъ разъ подл'в него», по интересна для него и та зеленая гусеница, которая ползетъ, какъ кусочекъ зеленой нитки, и медленными стежками проходить шовъ вдоль по въткъ, —и этотъ шовъ, для Гамсуна, медленными стежками идеть и дальше, съ вътки на вътку, по всему земному краю и шьетъ природъ ея лътнія одежды. Крошечное существо безъ крыльевъ, величиною «съ запятую въ мелкомъ печатномъ шрифтв» живеть и умираеть на томъ маленькомъ листкв, глв оно увидёло свой ограниченный свёть; но и въ такомъ микрокосме дышить Все, присутствуеть Пань, и оттого цёлые часы можно влюбленными глазами следить за движеніями этого живого міра. Травка смотрить на тебя, и ты не видишь дикой гвоздики, но только слышишь запахъ ея и плачешь отъ любви къ ней. «Все соглашается со мною», говорить Гамсунь, и онъ соглашается со всёмь, и не побъждено ли тютчевское недоумъніе:

> ...Отчего же въ общемъ хорѣ Душа не то поетъ, что море, И ропщетъ мыслящій тростникъ?

Зд'всь не только н'втъ ропота, но и осуществляется, какъ будто, желанное созвучіе души и моря, отд'вльной личности и безбрежнаго міра. И, не подавленный даже природой, даже передъ нею не потерявъ своего достоинства и независимости, но пьяный отъ природы и ею растроганный, Гамсунъ провозглашаетъ тостъ за нее, міровую

здравицу, и растворяется въ благодарности за жизнь. Пусть и проходить последняя, но какое счастье было жить ею, провождать ее, подставлять свое лицо и душу ея благимъ дуновеніямъ!

«Вы, люди, звъри и птицы, я пью съ вами за уединенную ночь въ лѣсу, въ лѣсу! Пью за мракъ и шопотъ бога среди деревьевъ; за нѣжное простое благозвучіе, которое я слышу въ молчаніи; за зеленую листву и за желтую листву!.. Благодарю за уединенную ночь, за горы, за мракъ и за шумъ моря, которое шумитъ и у меня въ сердцѣ! Благодарю за жизнь, за дыханіе, за счастье жить ночью,—я благодарю за это отъ всего сердца! Послушай на востокъ и послушай на западъ,—нѣтъ, послушай только! Это—вѣчный Богъ... Благословенны будьте, жизнь, земля и небо,—благословенны будьте вы, вѣтры, за то, что вы мнѣ вѣете въ лицо!»

Въ городъ, къ условному Богу человъчества, можно еще относиться скептически, взывать, какъ Мункенъ Вендтъ, къ его совъсти, напоминать ему про его обязанности и долгъ относительно людей,—но въ лъсу... Тамъ невольно и непремънно рождается на устахъ благоговъйная молитва.

И въ этомъ лѣсу благословенномъ Гамсунъ странствуетъ, космическій охотникь. До того привыкь онь къ своему уединенію, къ окружающей его стихійности, что и стихи свои декламируеть онъ здёсь. Слово человёческое должно раздаваться только въ лёсу, для льса оно, для Папа съ его природой, а не для людей: людямъ нужна словесность, а не слово. Вотъ почему, когда Гамсунъ слушаеть, какъ лъсъ шумить (или это не лъсъ, а шумить Эгейское море или морское теченіе Глимма?), ему хочется, среди нахлынувшихъ воспоминаній изъ жизни, отъ бывшихъ радостей, музыки и чьихъ-то глазъ, шентать нелъныя, но сладкія слова («стихи что ли это? или краски?»): Уганда, Тананариво, Гонолулу, Атинаме, Венецуэла. И эти слова постепенно теряють свою безсвязность и складываются въ тѣ вдохновенныя и поэтическія страницы, которыя въ такомъ изобиліи разсыпаны по разсказамъ Гамсуна. Благодаря льсу, на этихъ страницахъ слышится ароматъ земли и дикой гвоздики; благодаря лівсу, его книги спасены отъ книжности. Онъ знаетъ эническое спокойствіе, но умфеть сочетать его и съ внутренней лирикой. Хрустальное теченіе его простыхъ и дорогихъ строкъ часто прерывается лирическимъ интермеццо, и восхищаютъ гамсуновскія стихотворенія и стихотворенія въ прозъ, всь эти легенды о дівушкахъ въ башні, о Дитрихів и Изелині, о любви и разлукъ, всъ эти дивные эскизы поэта Эйепъ изъ «Нови». На высотъ строгой объективности нельзя удержаться тому, чья душа будто полна дорогого, искрометнаго, кипучаго вина, которое сверкаетъ, пънится, играетъ, —радостный хмель свободы! Онъ, эти гамсуновскія строки, образують легчайшую драгоцьную ткань; здъсь ньтъ тяжести слова; ньтъ узловъ и узловатостей въ этой прозрачной прозъ. Иные писатели (какъ Тургеневъ) чрезмърно заботятся о томъ, чтобы по окончаніи своей словесной постройки убрать окружающіе ее льса и показать ее въ совершенно отдъланномъ, слишкомъ готовомъ видъ; другіе (какъ Толстой) почти оставляють льса на мъстъ, во всей ихъ громоздкости. А изящные литературные замки Гамсуна производять такое впечатльніе, точно они поднялись сами собою или въ одну ночь проворно воздвигли ихъ сбъжавшіяся дочери Лъсного царя, дріады и феи, пока самъ художникъ лежаль и грезилъ на днъ зеленаго міра. И не потому ли его разсказамъ присущъ тотъ особенный тонъ, который и дълаетъ ихъ неотразимую и прелестную музыку?

Оттого и нѣтъ беллетристики, нѣтъ выдумки на его самопроизвольныхъ страницахъ, нѣтъ исканія сюжетовъ, а въ самую средину жизни, in medias res, сразу вводитъ насъ авторъ, и все превращено въ интересное, всѣ «пережитыя малости», и кружится тамъ безпорядочный вихрь настроеній и мыслей, царитъ неудержимая безсмысленность,—все тотъ же духъ нецѣлесообразнаго. На каждомъ шагу встрѣчаются у Гамсуна, великаго авантюриста, выходки, приключенія, капризы; читателя переносятъ отъ одной странности къ другой, и онъ движется подъ знакомъ неожиданнаго.

Но здёсь именно — тотъ переходъ, тоть переломъ у Кнута Гамсуна, въ силу котораго Панъ-космосъ уступаетъ свое мъсто Панухаосу и который вносить важныя и роковыя поправки въ создавшееся было представление о нашемъ авторъ. Своя, особая послъдовательность въ изображении жизни, оригинальная ассоціація идей и фактовъ, причудливое изложение, лишенное видимой системы и связи. все это прраціональное оказывается не одною формой, но и проявленіемъ какой-то внутренней сущности, которая таится въ самомъ писатель и его герояхъ. Мы скоро замьчаемъ въ произведеніяхъ Гамсуна поразительную немотивированность событій и поступковь, сплошныя арабески вмъсто прямыхъ линій, безконечныя отступленія, причемъ однако мы не имбемъ права упрекать его въ этомъ, нотому что именно такой ирраціональности онъ и хотѣлъ, она для него не случайна, --- какъ разъ въ ней и видить онъ характерную черту реальнаго. Нельпое онъ возвель въ категорію необходимости. Въ безпредъльной державѣ Пана, на лонѣ мірового спокойствія, замѣтилъ онъ тревогу; онъ почувствовалъ, какъ то сознаніе, которое выросло въ безсознательной природъ, зажглось дикими огнями безсмыслицы, -- онъ поняль, что есть и Панъ сумасшедшій. Можеть быть, это сумасшествіе вносить въ стихію только человѣкъ, во всякомъ случаѣ своимъ психическимъ недугомъ онъ ее заразилъ. Вотъ почему Гамсунъ становится похожь на Достоевскаго, и ужъ одна лихорадка словъ и поступковъ сближаетъ Нагеля изъ «Мистерій» съ княземъ Мышкинымъ изъ «Идіота». А Кольдевинъ изъ «Нови» видѣлъ наяву то, что приснилось Раскольникову въ его кошмарв: какъ били лошадей по глазамъ, по самымъ глазамъ, какъ онъ выбивались изъ силъ, падали на колени, точно умоляя о пощадъ. Сплетается у Гамсуна клубокъ всяческихъ запутанностей; его герои одержимы, ихъ мучатъ навязчивыя идеи, они совершають одну нельпую выходку за другой, лейтенантъ Гланъ убиваетъ свою любимую собаку Эзона и трупъ его отсылаеть любимой девушке. Все эти люди, несмотря на свою близость къ природъ, имъють въ себъ что-то неестественное; они очень суевърны и чувствительны. Они больны той неврастеніей, о которой не разъ поминаеть авторъ. Одинъ изъ нихъ носить свое pince-nez именно на красной ленточкъ, бросающейся въ глаза, чтобы всегда быть спокойнымъ и увъреннымъ въ его существованіи; онъ же боится ходить по ковру, потому что тогда не слышно было бы паденія вещи, которую онъ можеть уронить... Гамсуновскіе персонажи неуравновъщепны; именно потому, что его индивидуальности сильно выражены, ярко окрашены, онъ пребывають въ постоянномъ волненіи и духовной смуть, незнакомы самимь себь, неожиданны для самихъ себя. Не является ли это возмездіемъ особи, карой, которую она терпить за то, что выделилась изъ Пана? Можно ли безнаказанно уходить отъ общаго и утверждать свою особенность, можно ли отрываться отъ Всего? Такъ удивительно, что поэтъ всеединства, пъвецъ Пана не могъ однако сохранить въ себъ и увидъть въ другихъ безмятежности и успокоенія, навѣваемыхъ природой; такъ поразительно и зловъще, что онъ сроднился съ Достоевскимъ. Но все же кругомъ последняго неть природы, неть зелени, --- она чахнеть отъ его приближенія, отъ яда, которымъ отравленъ и отравляетъ русскій писатель-Анчаръ; для Гамсуна же вся міровая ткань-зеленая, и зелеными стежками шьеть уборь для земли неутомимая природа. Оттого въ самой нервности, въ самомъ безумствованіи своемъ норвежскій художникъ какъ-то не выходить изъ-подъ свътлой съни; его нервы, это все же-нервы Пана. И въ самомъ разгарѣ своего душевнаго недуга онъ удерживаетъ великую доброту и нравственную щедрость, которыя составляють одну изъ самыхъ привлекательныхъ и прекрасныхъ особенностей его свътлаго характера. Проходя среди людей, онъ всёмъ нечаянно, замаскированно и легко, благотворительствуетъ и при этомъ ни на кого не возлагаетъ бремени благодарности. Онъ замъчаетъ всъ про-

сящіе глаза, дётей и старыхъ, одинокихъ женщинъ. Чуткій, одаренный слухомъ сердца, онъ съ полуслова понимаетъ горе ближняго и дальняго. Неодолима его потребность дарить и щадить; царственно-безпечный и щедрый, самъ нетрудно неся жизнь, онъ охотно беретъ на себя и ношу чужого страданія. Мы уже говорили о филантропизмъ его натуры; это свойство проявляется у него и въ крупномъ, и въ мелочахъ; его деликатность и участливость не имбетъ предъла. Случайно встрътившейся, ему не близкой, сейчасъ же исчезающей изъ его кругозора бъдной дъвушкъ, у которой всъ пальцы исколоты иголкой, онъ подарить швейную машинку, — опъ знаеть, что кому нужно. Такъ характерно, что его герой подъ дождемъ не раскроетъ своего зонтика, если его сосъдъ или сосъдка зонтика не имъстъ: «пусть она промокнеть не одна». И онъ бережно опишеть дугу, чтобы обойти лежащую среди дороги опрокинутую колясочку, аварія которой такъ понравилась маленькой дівочкі. Въ своей благотворительности Гамсунъ не боится быть смышнымъ и никогда не бываеть сентименталень. Върный сынь Папа, онъ такъ любить и ласкаеть животныхь. Въ путешествіи онъ лічить коньякомъ заболѣвшую овцу; онъ не можетъ успокоиться, что ярмо на одномъ волѣ надѣто неловко и одна лошадь не получила своего корма. И на кавказской дорогь очень заботить его, какь бы вернуть жизнь опаленному солнцемъ и покрытому известковой пылью одуванчику; удивительно ли, что еще больше лельеть онъ придорожные одуванчики человъческие?.. Такъ безполезны и наивны всъ эти крупицы добра и доброты—въ міръ, исполненномъ злобы, среди всеобщей борьбы за существование, среди людской жестокости и равнодушія; но именно ихъ нецівлесообразность и эта страстная готовность у злого моря отнять хотя бы каплю производять невыразимотрогательное впечатление. Знаменательно у Гамсуна и то, какъ умирающій безумець отталкиваеть отъ себя смерть: онъ еще не готовъ, --- онъ не далъ знать, что прекращаетъ подписку на газеты, и, главное, онъ не написалъ одного письма, которое касается сестры, всего ея состоянія, и онъ еще не расплатился въ гостиницъ, —больше всего безпокоить его эта неустроенность другихъ и вск эти неоплаченные счета жизни. Такъ и въ ирраціональность проникаеть доброе сердце, которое всегда право и которое никогда не сходить съ ума.

Ирраціональное больше всего проявляется въ человѣческой любви. Такая маленькая, бѣдпая, скудная сравнительно съ Паномъ, она затерялась въ огромныхъ царствахъ природы. И всегда есть въ ней что-то двойственное, и всегда въ этомъ соединеніи кроется начало разлуки. Она, по извѣстному опредѣленію изъ «Викторіи», —вѣтерокъ надъ розами и, въ то же время, адская музыка, отъ которой

въ буйной пляскъ трепещетъ даже сердце старика. Въ ней—всъ звъзды лътней ночи и всъ благоуханія земли, но въ ея же безстыдномъ саду растутъ и самыя отвратительныя, самыя ядовитыя зелья. Она вселяетъ безуміе въ монахинь и сводитъ съ ума принцессъ, она—счастье и позоръ, ужасъ и радость, и всъ пути ея усыпаны цвътами и залиты кровью. Она первозданна, она была въ началъ всъхъ началъ, первое слово Бога; когда онъ сказалъ: «да будетъ свътъ!» появилась любовь. И потому что она появилась, Богу такъ понравилось его собственное твореніе, и онъ не хотъль уже передълывать того, что сдълалъ (Богъ вообще никогда не реставрируетъ міра). Съ тъхъ поръ она и владычествуетъ надъ вселенной, и безконечно ея могущество среди людей.

Гамсунъ изображаеть ее, какъ быструю силу, которой нельзя противиться, какъ стихійное навожденіе, которое несеть съ собою больше зла. чемъ добра. Онъ ставить ее въ центре своихъ произведеній, онъ рисуетъ и самое элементарное въ ней, и всю ея нѣжность, и всв ея трагическія сложности. Объятія, чувственность Пана онъ изображаетъ спокойно и откровенно, онъ договаривается до самыхъ последнихъ словъ; онъ описываетъ, какъ весна заставляетъ безумствовать все живущее, и ея «пряные вътра въють въ самыя цъломудренныя ноздри»; но все та же присущая ему легкость спасаеть и эти натуралистическія страницы отъ всякой грубости и цинизма. Гамсунъ не смущается и не смущаеть. Онъ слишкомъ знаетъ, что каждый разъ возобновляется мужское и женское, каждый разъ новая первая чета, въчные Адамъ и Ева, вступаютъ въ мірозданіе, и новый романъ дополняеть собою безконечную исторію любви. По міру, по лісу ходить Изелина и останавливается около того или другого охотника, --- всегда начинаеть она, Изелина, или реальная Эдварда. Охотникъ, мужчина, повелитель мірового ліса, обладаеть неотразимой притягательною силой, и женщина, подъ разными именами, Генріэтты, Евы, Эдварды, придетъ къ нему. Не придетъ лишь та, которую онъ любитъ, или она явится тогда, когда уже поздно или когда онъ больше уже не любить ея. «Никогда не соединяются съ той, которую любять; а если это и бываеть по какой-нибудь нев роятной случайности, то любимая тотчасъ же умираетъ». Типичная гамсуновская любовь всегда несчастна; она не вънчается взаимностью. Среди людей царитъ трагическое несовпаденіе сердецъ. Они, эти сердца, уже такъ близко нодходять одно къ другому, касаются другь друга, слышать одно другое, —но въ последнюю минуту какой-то безумный вихрь мечетъ ихъ въ разныя стороны, происходитъ что-то неожиданное, вмъшивается прраціональный духъ вражды и разлуки, и если па югъ устремляется Ромео, то непременно къ северу спешить Джульетта. Нетрудно заметить, какъ неизбежно у нашего автора любящіе терзають другь друга; вічные приливы и отливы чувства разъединяють ихъ между собою, нельное ссорить ихъ, они дълають на зло другь другу, охладавають, воспламеняются, ищуть встрвчъ и, найдя ихъ, опять избъгаютъ, кружатъ вокругъ своей страсти, сознаются въ ней и сейчасъ же беруть свое признаніе обратно, не разъ обмѣниваются оскорбленіями, дѣлаютъ все, чтобы попеременно огорчить другь друга. И такъ еще бываеть, что какъ разъ, когда полюбитъ онг, разлюбитъ она, и когда свободно его сердце, она уже объщаніемъ связала свое, —и наоборотъ. Не застають, опаздывають, впадають въ какое-нибудь недоразумение, и воздвигнутый было чертогъ любви разсыпается въ прахъ и подъ своими развалинами погребаеть объ жертвы внъшняго или внутренняго непониманія. Это взаимное мучительство и роковое отталкиваніе ищущихъ другъ друга сердецъ совершается даже противъ воли героевъ, — но, одержимые, они не могутъ противиться той алогической силь, которая толкаеть ихъ къ страннымъ поступкамъ и словамъ или къ измѣнѣ, часто не мотивированной. Вотъ почему любовь страшна, и Гамсунъ говоритъ про Дитриха, что Богъ поразилъ, или, лучше, посетилъ его любовью. Она свои жертвы делаетъ рабами и жестоко истязаеть ихъ прихотями или нераздълепностью чувства. Кельнерша цълуетъ свою правую руку, потому что до нея нечаянно дотронулся тотъ любимый, кто ея не любилъ; а любилъ онъ даму въ желтомъ платьъ, которая его не любила, и въ безумномъ тяготъніи къ ней онъ не остановился передъ тъмъ, чтобы обездолить кельнершу: она изъ-за него лишилась мъста, она отдала ему всь свои сбереженія, ему это нужно было для своего стремленія вослёдь за равнодушной дамой въ желтомъ платье, и, наконецъ, онъ умеръ отъ своей беззавътной страсти, и лишь тогда позволила себъ кельнерша назвать себя не его рабой, а его вловой. Или бъдная Викторія изошла любовью, умерла и передъ смертью написала свое трогательное, первое и последнее, письмо, -- а пока она писала, Богъ читалъ ея слова черезъ ея плечо.

Откуда же это ненониманіе и терзаніе и почему же сердцемъ героя влад'єтъ не «опьяненное дитя самой жизни»,—не та, которая, не задумываясь, отдаетъ ему все, а та, которая ведетъ строгій счетъ каждому взгляду и каждой мысли своей и скупо отм'єриваетъ свою замкнутую душу? Почему? «Спроси у дв'єнадцати м'єсяцевъ года, и у корабля на мор'є, и спроси у загадочнаго бога любви»...

Двѣнадцать мѣсяцевъ года и корабли на морѣ, и дорожная пыль, и листья, падающіе на землю, не отвѣтять на этоть грустный

вопросъ; но самъ Гамсунъ, преобладающій духъ его творчества и безсознательная философія его проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на загадку человѣческой любви, на причины ея фатальной нераздѣленности.

Въ самомъ дълъ. Если жизнь рисуется Гамсуну въ обликъ Пана, если она осуществляеть какіе-то общіе законы и все отдёльное принимаеть на лоно своего всеединства; если даже сама природа не является законченной личностью міра и все, что она рождаеть въ своихъ неисчерпаемыхъ недрахъ, темъ более проходитъ неведомые пути своего бытія вереницей безличныхъ и безъименныхъ существъ, которыя тонуть въ міровомъ мор'в, чтобы уступить свою очередь новой чредъ такихъ же сплошныхъ и непритязательныхъ тварей; если высшее назначение каждаго охотника-слиться съ лъсомъ и каждаго индивидуума-раствориться въ природъ и опять войти въ универсальное Все, то избирательная человъческая любовь, такъ энергично называющая собственныя имена, не представляеть ли собою дерзостнаго нарушенія этой нарицательности, этой космической солидарности, не служить ли она посягательствомъ на утвержденіе частнаго преимущественно передъ общимъ, не удъляетъ ли она этимъ единичной особи такого исключительнаго мъста, на которое нослъдняя не имфетъ права въ сомкнутыхъ и однородныхъ рядахъ естества?

Панъ благословляетъ любовь, — но лишь такую, которая не проникнута безмфрно-требовательной силой индивидуализаціи, которая слушается общей воли инстинкта и не направляеть его, во что бы то ни стало, именно на данную, только на данную, всецъло опредъленную особь, не притязаетъ на своеволіе дичнаго выбора, а предоставляеть себя мудрому безразличію стихійности и отдаеть себя потоку общеміровой страсти. Пусть и среди ближайшихъ подданныхъ Пана, въ царствъ животныхъ, тоже есть слабые зародыши индивидуализаціи инстинкта, пусть и тамъ уже зам'ьчается иногда та избирательная наклонность, которая такъ пышно расцевтаетъ среди людей, предназначая Ромео только для Джульетты и Джульетту только для Ромео, — но въ низшихъ областяхъ жизни она, эта прихотливость выбора, никогда не можеть достигнуть такой решительной и напряженной степени, какъ въ любви человъческой. Въдь для последней выборь составляеть самый существенный признакь, то, безъ чего не было бы самаго явленія. Безъ выбора человѣку любовь не въ любовь. Только въ человъчествъ осуществляется индивидуальность, только люди-особи по преимуществу. И вотъ, необычайной исключительностью своихъ любовныхъ требованій они нарушають справедливость Пана, равенство природы. Въ ихъ любвигордыня. Желая себъ удовлетворенія въ одной избранной личности. дълая ее центромъ своихъ помысловъ и чувствъ, пренебрегая ради нея всёми остальными и всёмъ остальнымъ, они этимъ дерзаютъ стать выше природы, называють себя среди ея безъименности и своей аристократической повадкой оскорбляють ея извёчный демократизмъ. Люди не смѣютъ выбирать. Между тѣмъ они чрезмѣрно угождають своей особенности; они слишкомь частны. Недаромъ гамсуновскіе герои и героини доходять до столь крайнихъ предѣловъ индивидуальности, что въ нихъ отсутствуетъ даже такой общій признакъ, какъ красота: замъчательно, что женщины у нашего автора вовсе не красавицы, часто даже совсимь некрасивы (характерно, что Гамсуна не привлекаетъ Венера Милосская); но зато онъ своеобразны, но зато самые недостатки ихъ тоже оригинальны и еще больше выдъляють ихъ изъ міровой совокупности, — въдь ничто такъ не индивидуализируетъ, какъ тонкій личный недостатокъ: уже въ немъ-аристократичность. Важнъе красоты какая-нибудь милая или наивная черточка: «барыня была бёлокудрая, высокая и ласковая, какъ молодой жеребенокъ» или «она болтаеть, точно на губной гармоникъ играетъ, такая она молоденькая»...

За это выдѣленіе себя изъ вселенской ткани, за это удаленіе отъ Пана любовники и не находять себѣ взаимности; за это становится между ними вѣчное недоразумѣніе, разлучаеть ихъ какая-то ирраціональная сила — происходить трагическое несовпаденіе сердець. Это — кара за индивидуальность, ея искупленіе. Невольно припоминается мысль Анаксимандра о томъ, что всякая отдѣльность — вина. Любовь же, патегическое утвержденіе отдѣльности, это — вина преимущественная. Особи, пошедшія навстрѣчу одна другой, не встрѣтятся: такого возмездія требуеть отъ нихъ міровое единство и слитность, Великій Панъ, царь безразличія и общности.

Допустимость нашей гипотезы, предложеннаго отвъта на гамсуновскій вопросъ, косвенно подтверждается тѣмъ, что идея возмездія вообще занимаеть нашего писателя, и въ «Драмѣ жизни» онъ воплотиль неотразимость Немезиды въ странной личности нищаго Тю. Послѣдній вызываеть жуть самой поступью своею. Онъ обманываеть своими слѣдами, потому что ноги его обуты въ фантастическіе башмаки—нятой впередъ. Онъ приходить къ намъ съ сѣвера, если мы идемъ на югъ, и придеть къ намъ съ юга, если мы пойдемъ на сѣверъ. Тю, котораго прозвали Справедливостью, всегда имѣетъ, какъ и она, что-то сказать намъ; но его, но ея никто не слушаетъ: всѣ заняты, всѣ спѣшать, всѣ куда-то идутъ. И тѣмъ не менѣе, на любомъ перекресткѣ жизненной дороги, тамъ и здѣсь, изъ-за угла, изъ-за куста, на ярмаркѣ или въ уединеніи, встрѣтится вамъ черная, молчаливая фигура Тю. Вы протянете ему монету, онъ приметъ, но не поблагодаритъ: Справедливость никогда не благодарить,—

только въ мірѣ несправедливомъ и могла зародиться благодарность, только въ немъ и могутъ существовать поводы для нея. И монетой вы не откупитесь отъ нищаго, -- когда-то и самъ онъ имълъ ихъ много, да и теперь онъ ими не дорожитъ; а если крону получаетъ онь изъ рукъ грёшныхъ, то это всегда сопровождается какой-нибуль катастрофой. Когда Терезита, страстная, демоническая, преступная, бросаетъ Тю монету, онъ устремляется за нею и падаетъ, -- всъ потрясены: Справедливость, сама потрясенная, упала! Раньше съ Тю этого никогда не случалось. И когда та же Терезита дала ему въ руки пистолеть, которымь она задумала убить другого, пистолеть въ рукъ Справедливости неожиданно разрядился и Терезиту убилъ: смерть за мысль о чужой смерти!.. Еще слышнее роковые шаги Немезиды въ судьбъ старика Отермана, душу котораго задавилъ бълый мраморъ его помъстья и который, самъ того не зная, предалъ пламени своихъ дътей, въ то время какъ поджигалъ башию, глъ хранилось чужое духовное дитя—написанная книга, плодъ цёлой жизни.

Ирраціональность, въ державѣ Пана отравившая людей, носителей индивидуальнаго сознанія, сказывается и въ томъ, что сердце человъческое не совпадаеть даже съ самимъ собою; оно мечется и разрывается въ безнадежныхъ поискахъ цельности. Не только на другого, намъченнаго, индивидуума не попадаеть въ своемъ выбор' данный индивидуумъ, но и самого себя пе можетъ онъ обръсти и опредълить. Такъ, Терезита ищеть въ міръ и не находить своего возлюбленнаго, не находить и себя. Между зеленымъ островомъ идеала и темно-красными розами грѣха, «краснымъ пѣтухомъ» страсти, колеблется она. Грешная невеста многихъ жениховъ, любовница горнорабочаго, который быль на каторгъ за изнасилованіе, преступница, готовая потопить цёлый корабль съ людьми, чтобы среди нихъ погибла ея возможная соперница, она въ то же время любить мечтателя Карено, живущаго на высокой башнт, и заслушивается его восторженныхъ ртчей о преодолтніи земныхъ пространствъ и временъ, о победе надъ человеческой ограниченностью; она любить его за безгръшность, за то, что онъ такъ непохожъ на нее. Ей тяжело слышать свое имя, потому что слишкомъ многія мужскія уста съ вождельніемъ называли ее: но когда его произносить Карено, оно для нея развъвается въ воздух в «словно шелковое знамя». «Тотъ, кого я люблю, не ходить за мной и не хватаеть меня», тоть не напоминаеть собою гадовъ земныхъ. Но какъ только и въ Карено проникъ обыкневенный, «простой и глупый», грёхъ любви, какъ только мечтатель покинуль свою башню, забросиль свою книгу и сделался похожь на Терезиту, она почувствовала къ нему глубокое прегрѣніе, ея любовь исчезла. Она хотѣла уйти отъ себя, между тѣмъ себя же встрѣчала она во всѣхъ этихъ мужчинахъ, которыхъ волновала ея пышная красота. Часто упоминаетъ Гамсунъ про ея мужскія руки и ноги. Жило въ ней мужское зло, и любовь Терезиты къ мужчинамъ была и ненавистью къ нимъ и къ самой себѣ, зажигающей въ мужской груди тотъ самый пламень, который она хотѣла бы потушить и въ собственномъ сердцѣ, не опредѣлившемся до конца ея тревожныхъ дней.

Несогласованность одного сердца съ другимъ или съ самимъ собою часто проистекаетъ у Гамсуна изъ того общаго источника, который питаеть все его творчество и который заключается въ безсознательно владъющей авторомъ идев о розни между Папомъ и человъческой индивидуальностью. Съ одной стороны, пребывание въ Панъ и родственность съ каждою былинкой земли влекутъ къ себъ нашего художника, влюбленнаго въ природу, ею растроганнаго и пьянаго ея виномъ; съ другой стороны, самъ индивидуалистъ и поборникъ сложной личности, раскрывшей себя до послъднихъ изгибовъ и капризовъ своего внутренняго міра, знаетъ, какъ эта утонченная дифференціація отдъльной души отъ Пана отвлекаетъ. И въ результатъ такой неизбъжной коллизіи между общимъ и частнымъ последнее терпитъ, конечно, роковое крушеніе: кто уходить отъ Пана (а уходить всякая ярко выраженная личность, всякій лейтенанть Глань), тоть не можеть миновать безвременной смерти или безумія. Именно Гланъ хотвль было осуществить синтезъ между собою и Паномъ, и, казалось, уже такъ близокъ былъ онъ къ своей цёли; по ему помешала его индивидуальность, его оригинальность и своеобразіе его сердечной жизни, прихотливость его романа. И такъ какъ развитіе и усложненіе личности, утонченіе нервной организаціи представляють собою нъчто роковое и неустранимое, можетъ быть обусловленное самимъ же Паномъ, не чуждымъ внутренней противоръчивости, то чего же и можно ожидать отъ будущаго, какъ не дальнъйшаго развитія той нейрастеніи, которая такую большую и лихорадочную роль играеть въ произведеніяхъ Гамсуна? Вёдь воть и самъ онъ, сохранившій. какъ мы видъли, столько простодушія и легкости, столько природы въ своихъ жилахъ и въ своей душъ, столько стихійной беззаботности и праздности необремененнаго духа, -и самъ онъ не пошелъ же этой дорогой до конца, не уберегся отъ того, чтобы безпечное не перешло въ безумное, чтобы мудрая нецълесообразность свободнаго сердца не выродилась въ то нелепое и дикое, въ ту оргію ирраціональности, которыя характеризують множество его странныхъ страницъ.

много зависить оть того, какая женщина оправляеть рабочую лампу мужчины и поддерживаеть въ пей ровный огонь. Во всякомъ случав Карено быль правъ, по крайней мврѣ, — передъ своей книгой: она была прямымъ выраженіемъ его души, она была честна и молода. Но прошли годы, и подъ вліяніемъ вернувшейся жены, въ угоду обществу и матеріальности, онъ не остался ввренъ своему прежнему исповвданію, своей завѣтной внутренней книгъ, — онъ передълалъ ее. Онъ уступилъ. Та самая женщина, его жена, передъ которой онъ былъ виноватъ виною препебреженія, теперь, въ свою очередь, согрѣшила противъ жизни тѣмъ, что она столкнула своего мужа внизъ грубою властью вещей: такое роковое значеніе имѣютъ всѣ эти брилліантовыя запонки торговца Мака и серебряные подсвѣчники, приносимые женой изъ родительскаго дома, и такъ символично, что они въ концѣ-концовъ оказываются поддѣльными, не изъ настоящаго серебра...

Горе тому, кто, подобно Карено, на закатъ жизни разсказываеть не своему ребенку, а ребенку свой жены, сказку о томъ, какъ «жилъ да быль челов'якъ, который ни предъ чемъ не хот'яль склонить своей головы». — не хотіль, но склониль! Это не обычная элегія старости, не естественное отцевтаніе жизненныхъ возможностей; это не то, что, какъ прекрасно и печально говоритъ Кнутъ Гамсунъ, старики похожи на письма, посланныя по почть и уже дошедшія по своему назначенію, дальше имъ некуда и не для чего передвигаться, и весь вопросъ въ томъ, какое впечатлъніе произвели они своимъ содержаніемъ на другихъ, на адресатовъ: нѣтъ, смерть Карено-преждевременная и для жизни оскорбительная; здёсь виновата не стихія, а самъ человѣкъ, его заглушенная личность, и эта вечерняя заря уступившаго духа безотрадна и нисколько не похожа на вечеръ природы, который самъ по себъ великольпенъ, самъ по себъ являетъ чудо и такъ восхищаетъ людские взоры, когда на затихшемъ и торжественномъ небъ закатъ начипаетъ слагать свою многокрасочную поэму...

Человъческая жизнь не должна быть ожиданиемъ заката, простой и покорной добычей смерти. Безсмысленно и недостойно дътей Пана, просвътленныхъ сознаниемъ, въ потъ лица своего расчищать себъ дорогу, толкаться нъкоторое количество лътъ въ земной сутолокъ, чтобы въ концъ-концовъ безслъдно исчезнуть. Но можно ли избъгнуть этого обиднаго исчезновения?

Для того чтобы не потонуть въ Панѣ, надо воспринять его въ себя и надо повторить и воспроизвести собою все. Отъ того онаснаго преизбытка индивидуальности, который пеизбѣжно вырастаетъ въ человѣкѣ, поднявшемся надъ совокупностью природы и освѣ-

тившемъ ее своею испытующей мыслыо, единственное спасеніе заключается въ томъ, чтобы онъ, человъкъ, блудный сынъ естества, во всемъ своемъ существованіи проявляль эту связь съ міровою цёльностью. Если не синтезировать личнаго и общаго, то индивидуальное сознаніе будеть тімь сиротливіе, чімь оно тоньше и сложніве. Въ самомъ расцвътъ личнаго необходимо бережно блюсти общеніе съ великой сокровищницей общаго. Не надо быть дробью, миніатюрой, Минуттой изъ «Мистерій». Все сокращенное, уменьшенное, сжавшееся представляеть собою оскорбительную спеціализацію духа, незамолимый грёхъ передъ Паномъ. Человёкъ, это-все. Наша гибель-въ нашей провинціальности. Кто остается мъстнымъ, кто не тягответь ко всемірности, кто береть меньше, чамь все, тоть неизбежно отрываеть себя оть міра и мечется въ безуміи или увязаеть въ тинъ самодовольства. Будемъ остерегаться обыденности, будемъ помнить, что даже геній имфетъ свою ограниченность и вы даже не обернетесь на него, на его ничтожество, если онъ взойдеть на башню, съ которой вы созерцаете небесныя созв'яздія, міры и пространства. Есть люди, которые хотыли бы, чтобы Атлантическій океанъ сталъ Норвежскимъ моремъ, тогда какъ истина и путь заключается въ томъ, чтобы каждая река превратилась въ море и каждое море-въ океанъ, и каждый океанъ-въ еще большіе предълы естества. Безконечно раздвигаются перспективы и арки мірозданія, и чёмъ выше поднимаешься, тёмъ большая предъ тобою открывается высота. Даже и того мало, чтобы человъкъ служиль человъчеству: провинціалы и спеціалисты, мы забываемь, что само человъчество-только мъстечко во вселенной, крошечная провинція, теряющаяся въ безпредёльныхъ владёніяхъ Пана. Преодольть всяческую ограниченность, стряхнуть съ себя все, что мѣстно и миніатюрно, быть у Бога не только «въ гостяхъ», но и самому стать Богомъ, въчной абсолютностью, - къ этому взываетъ Гамсунъ внутреннимъ смысломъ своихъ произведеній. Богъ у него приводить въ движение свою космическую мельницу и сверху смотрить на человька, «свою idée fixe», и ждеть его. Это и придаеть человъку его священность, дълаеть его живой мистеріей, не позволяеть его ограничивать линіями элементарными и прямыми.

И если избирательная человъческая любовь, наиболъе яркое и дерзостное проявленіе расцвътшей индивидуальности, находить себъ кару въ роковой нераздъленности чувства и путаницъ всяческихъ недоразумъпій, то не указываетъ ли это, что и она, непремънно оставаясь избирательной, не поступаясь индивидуализаціей, должна все-таки потерять свой интимный характеръ и сдълаться любовью пантеистической, — и не должны ли мы своимъ романомъ заинтересовать самое

природу, опять вернуться въ нее, такъ чтобы имя любимой дѣвушки называли всѣ люди и ангелы, всѣ горы и звѣзды, и лѣса? Опять и опять: войти собою, своей любовью въ космосъ, устремить свои взоры на все, сдѣлать такъ, чтобы каждый быль весь и все, —такова наша задача. И только съ этой высоты Пана пріобрѣтаетъ смыслъ наше людское, и только тогда человѣкъ перестаетъ быть пылинкой. Смѣшонъ депутатъ Оле изъ стортинга, когда онъ, съ внутренней ограниченностью, убѣжденный провинціалъ и мѣстный дѣятель, отстаиваетъ маленькіе интересы своего маленькаго государства; но если онъ связываетъ ихъ съ общими судьбами всеединства, если опъ дѣлаетъ это во имя Пана и помнитъ о немъ, властителѣ всего, то надъ его головою витаетъ уже не смѣшное и узкое, а загорается ореолъ серьезнаго. Только природа освящаетъ политику.

Такова, безспорно, требовательность Гамсуна. Не ясно ли, что она приближаеть его къ Ибсену; не ясно ли, что по отношенію къ автору «Пана» уже не можеть возникнуть иллюзія дилеттантизма? И блескь, отличающій Гамсуна, это не мимолетная фосфоресценція мысли и чувства, и со страниць его пе просто легкій хмель ноднимается, а переходить онъ въ священное и строгое вино жертвы, вино причащенія, и встаеть передъ нами все тоть же герой подвига, мученикъ абсолютизма, служитель всего, — тоть же сѣверный Брандъ...

Умеръ Великій Панъ. Долго в'врило этому челов'вчество, по теперь все чаще и чаще приходять въсти, что Панъ воскресъ. Можно ли имъ върить и можно ли считать Гамсуна убъжденнымъ апостоломъ воскресшаго Иана? Несомнънно, что норвежскій писатель глубоко чувствуеть стихію и органически связываеть себя съ лъсомъ, преимущественной обителью Пана. Несомивнио, что въ освъщении общаго является ему частное и что свойственна его душть та свобода и легкость, та несвязанность всесторонняго міроощущенія и міросозерцанія, которая приближаеть его къ исновъданію радостнаго и вольнаго пантензма. Но такъ же несомнѣнно. что легкость его разбилась о глубокія ирраціональности духа и міра и не только не осуществиль онь въ своихъ герояхъ примиренія между космическимъ и личнымъ, но и показалъ всю возрастающую остроту ихъ неизбъжнаго разлада, всю жестокую силу того алогическаго начала, которое своимъ безумствомъ отравляетъ единичное сознаніе, мстить индивидууму за его обособленность, за его прихотливую мысль и чувство, за его аристократическую организацію и въ дикомъ водоворотъ нервнаго и нелъпаго умыкаетъ его прочь отъ безразличія слитной и цёльной природы, отъ тишины и спокойствія педумающаго Пана.

МОРИСЪ МЕТЕРЛИНКЪ.

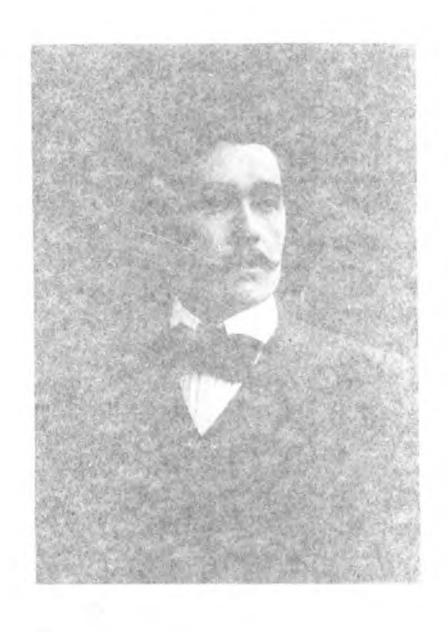
(По поводу "Синей Птицы").







```
орий инзамуна Соченачина пописияся
                                                                                            is the a tement operations of much themeb.
                                                                           им станавания ото различно мы
                                                                           вы общи, самедь которато можно рости въ
                                    то филосорієй Метерлати: Unit не тому
              or tomo phinos. Il ninte germaniante, cons -
      this contained. He has not respendence in product a life BR
                      THE REPORT OF THE PROOF OF THE PARTY OF THE 
                                                                           и двигонфиностии п
                                                                                       pepera apañ, entranare respector sa-
                                                                                         amend to the there's take it is at
                                                                                          ния ком собственный излаждаемы, отв
                                                                                    LOUGH OF THE RESIDENCE OF STREET, OF STREET,
                                                                                   and the Eymonda of Theoretico, todays and the
 то то при прикражають свою затим пло-
           to the could be a community to represent the community of the community of
        ты, така ови обигана спосторывает пр-
            в и чис особой пролостике метерлу.
          на слубана предад всего раздионет.
                        чателиян, в сверкающіе переацька в част
                                                                в не пеннычайный умъ лишь потому по помо-
                                                                             18 THE OUR REPORTED HORSE BEEN TO BE STORED
                                                                             Материнику подрежаеть года
                                                                             TOTAL SUPER DE OMIN THE GOVERNMENT OF
                                                                              з жества в периобряти, части негко-
      for actionphia, into the materials to proceed
and a control of the 
the fighter part of the re-
   планве матеры - п чл аровк
 the contraction of the contraction of the contractions
Tively Consumer Opening Consumer
```



Прекрасный сонъ, который наканунѣ Сочельника приснился двумъ детямъ беднаго дровосека, теперь, благодаря «Синей Птице», сталъ извъстенъ всему свъту. И мы пытаемся его разгадать; мы увърены, что это -- сонъ въщій, смыслъ котораго можно попять въ связи съ общей поэзіей и философіей Метерлинка. Онъ, къ тому же, сливаются въ одно целое. И даже несомненно, что онъ больше художникъ въ своихъ теоретическихъ этюдахъ, чімъ въ своей драматургін. У него такъ много идей, у него такъ много живой мысли, что она, подобно драгоценностямь его «Аріаны и Синей Бороды», переливается черезъ край, свътлыми потоками заполняеть собою какъ медленные діалоги его пьесъ, такъ и чарующія строки его разсужденій. Свой собственный иллюстраторь, онъ въ сказкахъ и драмахъ только облекаеть въ человъческие образы свое міросозерцаніе, такое движущееся и трепетное, полное жизни, растущее на глазахъ у міра. Онъ прикрываетъ свою глубину изяществомъ, и влекуть его колесницу невидимыя сильфиды; онъ воздвигаетъ огромныя философскія построенія, но они въ то же время такъ легки и граціозны, и такъ они обвізны своеобразными чарами французскаго языка и еще особой прелестью метерлинковскаго крылатаго стиля, что не эта глубина прежде всего раскрывается передъ восхищенными читателями, а сверкающіе переливы и полеты одушевленнаго слова. Его необычайный умъ лишь потому не подавляеть своею мудростью, что онъ красивъ. Порою кажется даже, что для настоящаго величія Метерлинку недостаєть только грубости; порою хочется, чтобы ръчь не была такъ обворожительна и неприпужденна, чтобы она была жестка и шероховата, чтобы истина не была изящна. Для него характерно, что онъ влюбленъ въ цвъты и помнить, какъ много люди обязаны ихъ ненужному очарованію, ихъ благодатной безполезности. Цветокъ, «улыбка матеріи», то, въ чемъ она, матерія, наименъе матерьяльна, въ чемъ ароматы и краски делають почти ощутительнымь переходь вещественнаго въ идеальное, — цвътокъ, стихотворение природы, овладълъ

родственной душою Метерлинка и чиствишей эссенціей своею пропиталь его страницы. Вфроятно, авторь «Двойного сада» чувствуетъ это самъ и за это любить себя. Писатель не долженъ быть своимъ читателемъ, и тъ мистики темные, которымъ поклоняется Метерлинкъ, не отдълывали своего слога и не заслушивались бы своей музыки, если бы даже она у нихъ была. Метерлинкъ же, видимо, себя читаетъ: при всей своей философской серьезности онъ все же — литераторъ, сознательный ювелиръ и садовникъ слова. Но въ концъ-концовъ это не только ничему не мъшаетъ, но и создаеть въ многогранной красотъ новыя грани и новые поводы восхищенія. Кромъ того, натуръ бельгійскаго писателя и не можеть быть свойственна наивная стихійность и первозданность, потому что онъ прошелъ черезъ гориило изысканной и утонченной культуры. Въ его лицъ она осуществила свой высшій цвътъ и украшеніе; Метерлинкъ, это — предъльная интеллигентность и до сихъ поръ никъмъ не превзойденная вершина самыхъ разнообразныхъ познаній и проницательной мысли. Онъ удивительно разностороненъ и образованъ, ничто не ускользаетъ отъ его вниманія, на все направляеть онь свое счастливое, свое испытующее любопытство. У него искренній интересь ко всей сложности міра, неутомимое чувство реальности; ему одинаково изв'ястна и дорога какъ теорія, такъ и практика человъчества. Самыя отдаленныя высоты отвлеченнаго мышленія, на которыхъ свободно пребывгеть его заинтересованная душа, не препятствують ему пристально вглядываться не только въ политику, въ проблему всеобщаго избирательнаго права, но и въ такія земныя подробности, какъ Монте-Карло или шпага, царица поединковъ. Для него, впрочемъ, и не существуетъ мелочей и плоскостей: въ его глазахъ все на свътъ значительно, все питаетъ философію, и каждый предметъ въщаетъ топкому слуху неожиданныя откровенія. Ихъ и слышить Метерлинкъ: онъ одушевляетъ механизмы, онъ изъ автомобиля дёлаетъ поэму, онъ пробуждаеть дремлющія глубины вещей. При этомъ зам'вчательно, что не выходя изъ-подъ съни мистицизма, проникнутый пастроеніями загадочности, чуткій провидець тайны, онь вмёстё сь тёмь симпатически пріобщилъ себя къ духу и дѣлу научной работы. Это сказывается не только въ томъ, что онъ знаетъ очень много фактовъ, что сведенія его точны и общирны, но и въ томъ, что онъ мыслитъ честно и умћетъ изумительно-тонко наблюдать, и производить надъ явленіями природы крайне тщательные и детальные опыты. Если бы онъ не быль поэтомъ, онъ могь бы быть ученымъ; если бы въ немъ умеръ мистикъ, еще остался бы ръдкій естествоиснытатель. Не надо быть спеціалистомъ, для того чтобы,

напримъръ, въ его «Жизни пчелъ», на ряду съ плънительной художественностью и пареніемъ возвышенныхъ идей, зам'єтить громадное прилежание и зоркость изощреннаго натуралиста, продуманную методологію, слъды эрудиціи, - вообще, генія научныхъ лабораторій. Ему равно послушны и анализъ, и синтезъ. Ткань природы онъ разбираеть на ея отдъльныя, почти неуловимыя шелковинки и каждую изъ нихъ изучаетъ во всей частичности ея признаковъ. по въ то же время онъ способенъ и на такія грандіозныя обобщенія, которыя цілыми снопами объединенных и объединяющихъ лучей озаряють раньше непонятныя и безпорядочныя груды единичныхъ фактовъ. Такъ у него — не только мудрость, но и умъ; такъ присуща ему романская ясность и раздёльность логическаго мышленія, и не могъ бы онъ столь хорошо уловлять повсюду таинственное дыханіе ирраціональности, если бы ея не оттѣняль и не постигалъ его собственный раціонализмъ. Глубокое въ Метерлинкъ свътло. Онъ мистицизмомъ не злоупотребляетъ. Онъ неохотно прибъгаетъ къ объясценію изъ необъяснимости. Онъ думаетъ, что апеллировать къ тайни и безконечности имбетъ право лишь тотъ, кто честно изучиль все известное и кто все конечное довель до конца. Право на мистику надо заслужить. И только темъ позволительно незнаніе, которые много знають. Къ безсознательному отъ сознательнаго ведетъ длинная дорога, и надо пройти ее всю, не миновать ни одного свътлаго уголка. Въ утонченности Метерлинка нътъ поэтому ничего болъзненпаго; она не изгоняетъ простоты, и онъ вполнъ пормаленъ, и мысль у него-цвътущая. Та Душа свъта, которой онъ въ разныхъ формахъ возносить благоуханные опијамы своихъ поэтическихъ словъ, взыскала его, своего богомольца, и лучезарно пронизала все его духовное существо. И воть почему среди темныхъ загадокъ и страховъ, которыми окружаеть насъ вселенная, онъ больше всёхъ людей, больше Фауста, сохраниль свое человическое достоинство: онь не налъ рабольно ницъ передъ тайнами, онь его не подавили, — онъ только отдаль имь свое уваженіе; и съ другой стороны, насколько лишь возможно, онъ проникъ въ ихъ заманчивую глубь, но, ясно увидовъ ту межу, где оне решительно закрывають свои двери, не впалъ изъ-за этого въ отчаяніе, не разразился проклятіями, - онъ остановился и ждетъ. Онъ отчетливо различаетъ знаніе отъ незнанія и великому Неизв'єстному спокойно противопоставляеть свою сознательность. Онъ не преувеличилъ и не преуменьшилъ своей интеллектульной силы. Онъ повель себя должно и достойно по отношенію къ богамъ, такъ что и боги не могуть его не уважать.

И въ связи съ этимъ ему всегда сопутствуетъ чувство неокончательности нашихъ познаній и догадокъ, — не только въ томъ

которое скромно разстилается у ея подножія! Какъ у Тютчева, «длань незримо-роковая» скоро преломить ее, и она вернется въ свое родное лоно, гдъ, собственно, подъ пеленою кажущейся неподвижности, и происходить самое важное и общее всемірное д'вло. Вообще, по благородному и благостному слову Метерлинка, если что-нибудь на свътъ заслуживаетъ безусловнаго презрънія, такъ это только—само презрѣніе. И потому ни одинь философъ, на какой бы высотв ни парила его избранная мысль, не должень и не можеть относиться пренебрежительно къ темь, кто не мыслить. Передъ лицомъ великихъ тайнъ, передъ лицомъ смерти, любви, героизма, всъ одинаковы, ученые и несвъдущіе, умудренные и простодушные. Есть глубокая мудрость толпы, и въ нее возвращается каждая геніальная идея, если только она плодотворна и не разсфивается какъ облако пустой и печальной грезы. Духъ дышить, гдв хочеть, -- мало того: нѣть обители, гдѣ бы онъ не дышалъ; и темное множество маленькаго люда, безмолвно делающее большую жизнь, вся эта немыслящая масса повседневности, — она-то и представляеть собою безсознательную носительницу высшихъ откровеній. Не только-говорить нашь «бельгійскій Гете», --инертная сила обязана мыслителю, но и мыслитель обязанъ силь инерціи. Вотъ именно это свътное довъріе Метерлинка къ стихійной просвътленности малыхъ сихъ, бъдныхъ сихъ и позволило ему довърить свои философскія думы Тильтилю и Митили, скромнымъ дѣтямъ неизвѣстнаго простолюдина. Войдемъ вслъдъ за ними въ очарованную область ихъ сновилънія.

Но, прежде всего, въроятно ли, что обоимъ дътямъ пригрезилось одно и то же? Конечно, въ этомъ есть и внъшняя возможность; но еще болъе велико то внутреннее, идеальное правдоподобіе, которое въ единеніи сердца и мечты связало мальчика и дъвочку, брата и сестру, и послъ одинаковаго дня дало имъ одинаковую ночь. Они вообще идутъ вмъстъ по дорогъ своего сна и своей жизни; маленькій рыцарь защищаетъ свою маленькую даму отъ лъсныхъ чудищъ и зоветъ ее все дальше и дальше, а она, воплощая собою консервативное женское начало, нравственную осъдлость, робъетъ и просится домой. Мальчикъ-съ пальчикъ и Красная шаночка являются у Метерлинка прообразомъ человъческой четы; и соотвътствуетъ общему духу его міросозерцанія, что на поиски золотого руна, за Синей птицей идеала и счастья, отправились двое—мужчина и женщина.

Крестовый походъ дътей, а не взрослыхъ, умъстенъ потому, что именно дъти—освободители; недавние выходцы изъ стихий, недолгие жители міра, только они и могутъ избавить природу отъ ея

оценененія, вызвать ея духовь и души и заставить ихъ говорить людскою рѣчью. Они еще помнять, а мы, старожилы, успѣли все позабыть, и стерлось для нашего сознанія наше родство съ котомъ и собакой, съ журчащей водою, съ деревьями и цветами. Мы взрослые, слишкомъ взрослые. Метерлинкъ въ своихъ философскихъ трактатахъ не разъ напоминаетъ о томъ, что мы, люди, уже застали природу, мы пришли въ нее последніе; по дети наши, побъждая внъшнюю преграду времени, сохранили то великое первое. то элементарное и наивное, что было въ самомъ началв и чего лишены уже ихъ бъдные отцы и матери. Давно утративъ святую непосредственность, далеко отойдя отъ истоковъ жизни, мы мертвы. А кто мертвъ, тотъ мертвитъ. И потому кругомъ насъ-неодушевленное, тусклое, бъдное; мы призрачно окружили себя безмолвной косностью матеріи, и намъ вездѣ мерещатся кладбища, тогда какъ на самомъ дёлё благоухають чудные сады. Смерть—иллюзія; могила — тягостный миражъ. Мы воскреснемъ и воскресимъ, если обратимся и будемъ какъ дети. Отъ детства къ детству идетъ человечество. Подъ нашими морщинами, подъ нашими съдинами таится ребенокъ, и лишь постольку мы живы и правы. Это такъ хорошо чувствоваль и выразиль нашь Полонскій:

Дѣтство нѣжное, пугливое, Безмятежно шаловливое, Въ самый холодъ вешнихъ дней Лаской матери пригрѣтое И навѣки мной отпѣтое Въ дни безумства и страстей, Нынѣ всѣми позабытое, Подъ морщинами сокрытое Въ нѣдрахъ старости моей,— Для чего ты вновъ встревожило Зимній сонъ мой, словно ожило И повѣяло весной?

Слышу я наивность лепета:
— Старче! развъ ты не я?!
Я съ тобой навъки связано,
Мной вся жизнь тебъ подсказана,
Въ ней сквозитъ мечта моя;
Не напрасно вновь являюсь я,
Твоей смерти дожидаюсь я,
Чтобъ припомнило и я

То, что въ дни моей безпечности Я забыло въ нѣдрахъ вѣчности, То, что было до меня.

Такъ, въ «Синей Птицѣ» субстанція взрослаго дана въ формѣ дѣтской, ищущій Фаустъ выступаетъ во образѣ ребенка: это могла создать лишь нѣжная фантазія Метерлинка, его удивительное вниманіе ко всему, вниманіе, для котораго раскрываются и сердце дитяти, и разумъ пчелъ, и душистая душа цвѣтовъ.

Въ тихомъ беззлобіи дітей, которыя играють въ счастье и которымъ сладко отъ чужого пирожнаго, осуществляется уже исихологическая возможность внутренней жизнью сгладить внёшнюю обиду. понять, что всё камни драгоценны, что насъ посещають не соседки, а фен-въ зависимости отъ того, какъ мы ихъ видимъ. Вообще, міръ-то, за что мы его принимаемъ. Для Метерлинка душа-центръ; природа — окрестности. Есть одна великая метрополія — наше я; все остальное только подчиненныя ей колоніи. Все обусловлено нами. И это не Богъ, а мы творимъ вселенную. Къ моей человъческой личности приходять всё живыя нити, и если порывается какаянибудь одна изъ нихъ, то въ этомъ виновата центральная система, а не периферія, виновать я самь. И одинь изь главныхъ нашихъ гръховъ заключается въ томъ, что, хотя въ жизни и смерти только мы и вольны, мы не воспользовались этой неограниченной властью своего психизма и признали смерть, т.-е. не обратили своей души въ страпу воспоминаній. Дъти же смерти не принимають. Какъ въ стихотвореніи Вордсворта «Насъ семеро», Тильтиль и Митиль увърены, что у нихъ есть братья и сестры: тѣ, которые лежатъ въ могилкахъ. Это мы умираемъ, а не тв, кто отъ насъ уходитъ; если мы никого не забудемъ, то никто и не умретъ. Въчная память должна быть не только въ словахъ молитвы, но и въ сердцъ. Наша смертность-въ томъ, что мы въримъ въ чужую смерть. И вотъ почему для д'втей, носителей внутренняго безсмертія, вычныхь въ своемъ дътскомъ естествъ, -- для нихъ опять возможно увидъть бабушку и дідушку, которые во всей неприкосновенности перенесли съ собою въ другой міръ и скворца, и корову, и пчелъ, —этихъ «бѣлокурыхъ» метерлинковскихъ ичелъ. Для детей все осталось такимъ, какъ прежде, и какъ прежде Тильтиль готовъ драться съ братомъ Роберомъ (для взрослыхъ, для мертвыхъ, умершимъ) и отнимать волчокъ у Жана: Тильтиль и Митиль видять своихъ покойныхъ братьевъ и сестеръ, этихъ семерыхъ малютокъ, «образующихъ группу въ формъ античной свиръли», ---живая свиръль дътей! Тихо и прекрасно въ странъ воспоминаній, въ странъ человъческаго отдыха; здѣсь ничѣмъ не заняты, никуда не спѣшать, пе думають о времени, этомъ условіи земного бытія, и дѣти стали гораздо здоровѣо съ тѣхъ поръ, какъ перестали жить. Не надо бояться покойниковъ. Они не злые: вѣдь они не живые. Такъ въ одну плѣнительную картину сплетаетъ Метерлинкъ наивное и мудрое.

На одной изъ своихъ теоретическихъ страницъ онъ говоритъ, что мертвые вовсе не хотятъ отъ насъ, чтобы мы слишкомъ часто склонялись надъ ихъ могилами; не надо безпрестанно оглядываться назадъ: только тѣмъ и можно служить прошлому, чтобы смотрѣть въ будущее. Мы дороги дорогимъ для насъ обитателямъ кладбища: именно поэтому они и просятъ насъ, чтобы мы не жили своею мыслью и чувствомъ на кладбищѣ.

Что же: противорѣчить ли эта идея автора странѣ воспоминаній изъ «Сипей Птицы»? Нѣть, здѣсь—только видимая несвязанность; по существу же Метерлинкъ соединяеть прошлое и будущее въ одну неразрываемую ткань настоящаго: нѣть жизпи, кромѣ жизни, и въ томъ смыслѣ должны быть для насъ живы умершіе, чтобы мы съ ними, во имя ихъ, шли впередъ, увлекали ихъ безплотные образы за собою, въ свою работу, а не оставались съ ними гдѣ-то далеко и въ сторонѣ отъ вѣчнаго движенія реальности. Предки да живутъ въ потомкахъ, и лишь та страна воспоминаній достойна человѣческихъ посѣщеній, которая одновременно является и страною живого часа, великаго «теперь». На прошлое имѣетъ право только настоящее, и вспоминать позволено только тому, кто дѣйствуетъ.

Если бы достигнуто было незыблемое сочетание прошлаго съ настоящимъ, если бы мы возвысились надъ историей, надъ перегородками временъ и пространствъ, то послъ ухода дътей изъ страны воспоминаний Саняя птица не сдълалась бы опять черной.

Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ, Въ синемъ морѣ волны хлещутъ,—

но нашъ міръ не созданъ для синяго, и чернота земли похищаеть, поглощаеть у неба его лазурь, и кругомъ летають черныя птицы жизни, мрачныя стаи рока. Небесная синева, это—обитель отдышавшихъ душъ; тѣ же души, которыя погружены еще въ сутолоку земной матеріальности, не могутъ рѣять въ волнахъ голубого эвира. Впрочемъ, не черны ли по Метерлинку только тѣ птицы, которыя заперты въ клѣтку, въ темноту тюрьмы? Можетъ быть, только свободное сине, и мы сами губимъ свое счастье тѣмъ, что заключаемъ его въ ревнивыя людскія вмъстилища? Не въ томъ ли заключается тайна неуловимой птицы, что она, крылатая обптательница свободы, Аріэль естества, теряетъ, какъ говоритъ Душа свѣта, вернулась на землю изъ обители потустороннихъ тайнъ, отъ распахнувшихся передъ нею врать въчности? Приподнявшись на своемъ смертномъ одръ и увидъвъ въ гостиной бъдно одътаго Антонія, своего воскресителя, мадмуазель Ортансь різкимь и разсерженнымъ голосомъ, въ отвращени и негодовании воскликнула: «Что это за человъкъ? Кто это позволилъ себъ ввести въ мою гостиную такого босяка?.. Онъ уже перепачкалъ всѣ ковры... Вонъ! Вонъ!.. Вы знаете. Виргинія, что я запрещаю бѣднымъ»... Нужно ли было воскрешать ее? Но не жестоко ли, съ другой стороны, рисовать современную мертвую душу такой потрясающе-мъщанской? Въ этомъ смысль очень характерна та эстетическая ошибка, та несообразность, которую допустиль здёсь авторь: святой Аптоній прерываетъ недостойную рѣчь воскрешенной повелительнымъ возгласомъ: «умолкни!», и съ этого момента мадмуазель Ортансъ пе въ состояніи уже произнести ни одного звука; то, что она рапьше заговорила, Антоній считаеть результатомъ своей забывчивости, а теперь онъ отняль у нея голось навсегда, для того (объясняеть онъ ея роднымъ), чтобы она не могла выдать тайнъ загробнаго міра, которыя она сподобилась лицезрёть, -- но вёдь черезь это рушится поразительное впечатление отъ земной, отъ низменной речи Ортансъ, и правдоподобно ли, чтобы такая женщина коснулась мірамъ инымъ, познала какія-нибудь священныя истины? Одно изъ двухъ: либо она и въ загробныя сферы неприкосновеннымъ перенесла, и оттуда опять принесла, мъщанство своей мелкой души, какъ это и показаль сначала Метерлинкъ, либо тамъ открылись ей несказанныя последнія мистеріи; соединить же то и другое психологически немыслимо, и то, что нашъ драматургъ все-таки попытался это сдёлать или забыль о первомъ своемъ штрихв и провель мистическій штрихъ другой, обнаруживаеть, какъ нелегко ему было, гдф-то въ далекихъ тайникахъ его сознанія, лишать человъческое существо всякой святости и даже передъ лицомъ смерти опускать его въ пошлыя низины хозяйственнаго бездушія.

Но ждуть нась наши маленькіе герои... На поиски Синей птицы дѣти идуть не одни, а съ природой. Ея отдѣльные элементы и любимые друзья человѣческаго ребенка одушевлены его привѣтливой душою: старый кормилецъ и сотрапезникъ людей, какой-то мэръ человѣчества, почтенный и буржуазный Хлѣбъ, не всѣмъ однако отрѣзывающій свои желанные куски,—тотъ необходимый и для многихъ недостижимый «кусокъ хлѣба», къ которому отъ вѣка протягиваются столько жаждущихъ рукъ; и утѣшающій Сахаръ, паперсникъ дѣвочки, и сердитый, но грѣющій Огонь, и собака, и кошка, и ужъ, конечно, это скромное, наивное, для всѣхъ нужное и ни-

къмъ не чтимое Молоко, отнятое у животныхъ и отданное дътямъ. Что всъ эти аргонавты, предводимые Душою свъта, составляютъ одну семью, видно уже изъ самыхъ именъ ихъ: мальчикъ—Тильтиль, дъвочка—Митиль, собака—Тило, кошка—Тиллетъ (дъдушку и бабушку зовутъ Тиль): внятно созвучіе міра, содружество людей, животныхъ и предметовъ.

Но это единство жизни только осуществляется, а не дано, какъ законченный и опредъленный факть. Исторгнутая дътскимъ зовомъ изъ царства молчанія, изъ-подъ этой пелены, въ которую облечена міровая тайна, природа не вся еще однако признала надъ собою госнодство Тильтиля: въ ней происходить расколь, и кром ВПса, который молится на свое человьческое божество, есть Коть, хитрый, затапвшійся и глубоко-враждебный всему людскому; сынъ Ночи, которая стережеть тайну Жизни, онъ знаеть, что если человъкъ найдеть Синюю птицу, животныя потеряють и последній остатокъ своей независимости, природа прекратится. Въ концъ путешествія ее ожидаеть смерть. Будеть только душа, только разумъ, -- только наше, Прометеево. Поэтому Коть и строить ковы противь Тильтиля; по сынъ человъческій, свътлое дитя, имъеть на своей сторонъ Душу свъта, и оттого онъ неотразимъ. Въ замкъ Ночи, ею не устрашенный, Фаустъ во образъ дитяти требуетъ всъхъ ключей, смъло подходить ко всемь тайнамь, и, оказывается, такъ велика победа сознательнаго начала надъ вселенной, «мыслящаго тростника» надъ остальною міровой громадой, что теперь больны бользии, испуганы ужасы и прирученная природа боится ребенка (независимо чувствуетъ себя только Насморкъ..).

Синей птицы Тильтиль однако не поймаль: она сидёла на лунномъ лучё, слишкомъ высоко. Слишкомъ высоко для мальчика. Но то, что растеть, не боится высоты и въ концё концовь ея достигаеть. И поиски Тильтиля и Митили еще не кончились. Дѣтямъ пришлось вынести бунтъ природы, — природы трусливой. Даже не вся она рѣшилась выступить въ походъ противъ брата и сестры: «курица не могла оставить яицъ, заяцъ оказался въ бѣгахъ, у оленя рога разболѣлись, лисица больна, — вотъ она прислала докторское свидѣтельство», — вѣчно-хитрая, вѣрная себѣ лиса, въ данномъ случаѣ въ союзѣ съ докторомъ!.. Ребенокъ владѣетъ талисманомъ, который можетъ открыть ему тайпу міра, Синюю птицу идеала и счастья, и потому ревнующая природа, которой есть за что посчитаться съ человѣкомъ, прилагаетъ всѣ усилія, чтобы его убить. Но, сама Панъ, она въ паническомъ страхѣ разбѣгается, отбѣгаетъ отъ маленькаго Тильтиля, всякій разъ какъ онъ взмахнетъ своимъ дѣтскимъ ножомъ. Только одинъ Дубъ, старый, благородный дубъ, можетъ быть, именно

потому, что онъ старъ и утомился жить, и трудно ему медленной поступью больныхъ, ревматическихъ, мохомъ окутанныхъ ногъ переходить изъ тысячельтія въ тысячельтіе, только онъ, патріархъ лъсовъ, не боится смерти («ножъ или топоръ-какая разница?»). Другіе же одною хитростью, презрѣнною уловкой, взяли было мальчика, ващищавшаго свою сестру,—но выручиль его Hech, вврный, добрый, безкорыстный Песь, даже щенять своихъ принесшій въ жертву человъку, - и ужъ совсъмъ въ Молчаніе и Тыму вернулись деревья и животныя, когда явилась свътлая Душа свъта. Она сказала Тильтилю, что человъкъ всегда — одинъ противъ всъхъ на земль (не считая Пса, который однако же не всесилень), и Тильтиль посл'в страшной ночи въ л'всу теперь задумается, и будеть уже онъ не только Фаусть, но и задумчивый Гамлеть. Человъкъодинъ противъ всъхъ на землъ: но и одинъ въ полъ воинъ; нужно лишь, чтобы этотъ одинъ былъ весь, былъ целый. — мечта Ибсена. мечта индивидуализма!..

Метерлинкъ, съ присущей ему счастливой склонностью мистически углублять реальность, въ номощи, которую Песъ оказалъ дътямъ, видитъ нъчто символическое. На очаровательныхъ страницахъ эпитафіи, посвященной собачкъ Пеллеасу, нашъ поэтъ развиваеть ту мысль, что мы, люди, цари, но цари непризнанные, одиноки подобно имъ, безусловно одиноки на нашей случайной планеть, и среди формъ жизни, которыя насъ окружають, только одна, именно собака, заключила съ нами крѣпкій и трогательный союзъ. Другія домашнія животныя, несмотря на свою тысячельтнюю близость къ намъ, не принимають внутренняго участія въ нашихъ радостяхъ и скорбяхъ; пассивныя и тупыя, они остаются намъ чужды, можеть быть — затаенно враждебны, и, напримъръ, жвачныя считають нась лишь мимолетной и ненужной случайностью пастбища. Только собака въ этомъ разрозненномъ мір'в жизненныхъ категорій, изъ которыхъ каждая безнадежно замкнута въ себъ и «герметически закупорена», -- только она сум вла «разорвать роковой кругъ и уйти отъ себя, чтобы достигнуть насъ». Среди холодной п равнодушной природы человъкъ нашелъ себъ друга, и этотъ другь въ лицъ человъка нашелъ себъ свое божество. Мы встрътили любящее существо, которое покорпо и радостно, восторженно и счастливо навъки легло у нашихъ ногъ и ради насъ отреклось отъ своей породы, отъ всего животнаго царства и даже отъ своихъ дътей. Родственный той собакѣ Аргусу, которая при своемъ послъднемъ издыханіи узнала вернувшагося Одиссея, добрый и милый Песъ изъ «Синей птицы» не хочетъ возвращаться въ царство молчанія, и во всякомъ случав онъ пойлеть навстрвчу людямъ, онъ поддастся дрессировкѣ, онъ научится читать, писать, играть въ домино. Казалось бы, невеликодушно дрессировать животныхъ,—но вотъ собака, повидимому, хочетъ этого сама.

Въ царствъ будущаго, которое полно душъ, потому что будущее, это именно—душа, выдержавшій борьбу съ природой, но опечаленный Тильтиль пророчить неродившемуся дитяти, что оно научится илакать, что бабушки слишкомъ скоро умирають «можеть быть, потому, что имъ становится скучно» (скука старости...),—и въ лазурную обитель будущаго приносить мальчикъ съ земли земную грусть. Впрочемъ, печаль зарождается уже и здѣсь, среди неродившихся душъ, потому что именно отсюда, изъ этого прекраснаго эдема, идетъ разлука: влюбленные не вмъстъ сойдутъ на землю, и разлученные Временемъ, шопенгауэровскимъ principio iudividuationis, будутъ они, въчные Паоло и Франческа, томиться одинъ безъ другой и тщетно призывать другъ друга въ безмолвной перекличкъ душъ...

Среди неродившихся есть и то дитя, которое будеть—увы!—недолго братомъ Тильтиля и Митили. «Скажи мамѣ, что я готовъ». «Скажи папѣ, чтобы онъ поправилъ колыбельку». Не много ночей пролежить новое дитя въ этой колыбелькѣ, потому что оно принесетъ съ собою три болѣзни—скарлатину, коклюшъ и корь, и потомъ его не станетъ: у нашихъ рабочихъ, у бѣдныхъ дровосѣковъ не выживаютъ дѣти; цѣлая свирѣль ихъ—въ странѣ воспоминаній, и, можетъ быть, Тильтиль и Митиль, наши недавніе, но уже милые знакомцы, скоро собою дополнять эту нѣжную свирѣль дѣтскихъ душъ, мимолетныхъ обитательницъ негостепріимной для нихъ земли?..

Изъ царства будущаго Свътъ вынесъ Синюю птицу, но птица стала розовой. Розовое доступнъе синяго. Тъшитъ себя человъкъ розовымъ, легко маниловское, — но синее, небесное, но голубой цвътокъ романтизма отъ насъ исчезаетъ.

Кончилось путешествіе дѣтей, и съ ними прощаются стихіи. Незримой жизни предметовъ они уже больше не увидять,—но пусть они слушаютъ воду, фонтаны, ручей и стараются понять ихъ таннственные голоса; пусть они знаютъ то, что давно уже прозрѣлъ глубокій русскій поэтъ:

Не то, что мните вы, природа, Не сліпокъ, не бездушный ликъ: Въ ней есть душа, въ ней есть свобода, Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Замѣчательнѣе всего прощальныя слова Свѣта; впрочемъ, они по существу не могутъ быть прощальными, такъ какъ Свѣтъ неугасимъ, и достаточно одной его искры въ мірѣ, чтобы міръ уже быль освёщень. «Не плачьте, дорогія дёти. У меня нёть голоса, какь у воды; у меня есть только мое сіяніе, и человёкь его не слышить. Но я не покину вась до конца дней... Помните, что это я говорю сь вами вь каждомъ лунномъ лучё, въ каждой звёздочкё, которая вамъ улыбается, въ каждой занимающейся зарё, въ каждой зажигающейся лампё, въ каждомъ добромъ, свётломъ движеніи вашей души»...

Метерлинковское міросозерцаніе св'єта озаряєть всю его прелестную сказку, окрашиваеть ее въ лазоревые тона, ласкаеть ее живою красотою юмора, — и все это пскупаеть тв грубоватые и немотивированные штрихи, которымъ не чужда картина въ Царствъ будущаго. Но когда дъти просыпаются, надъ свътлой сказкой нависаеть уже тынь печали. Нельзя безнаказанно проникать въ мистеріи міра, бродить ночью у края бездны, стучаться въ тайники природы: едва ли Тильтиль и Митиль не умруть за это. Какъ это грустно! Они бредять, и мать въ ужасъ восклицаеть: «Боже мой, что съ ними такое? Я потеряю их, како потеряла встаго остальных. Тиль, отець... Скорве иди сюда. Дёти больны». Ослабветь бредь двтей, и станеть имъ лучше, -- но развв не было бы грубой художественной ошибкой зря вкладывать въ материнскія уста такія слова, и разв'я было когда-нибудь, чтобы не оправдывалось материнское предчувствіе? Онт, матери земныя, поють свой гимнъ навстръчу рождающимся душамъ, и въ этихъ звукахъ не только много счастья и ожиданія, но и много скорби...

Кажется, Тильтиль и Митиль умруть. Повторится «Смерть Тентажиля». Не однажды показываеть Метерлинкъ, какъ по чащѣ жизни скачеть и мчится какой-то лѣсной царь и пугаетъ, и похищаетъ нашихъ дѣтей. Будетъ ли здѣсь утѣшеніемъ то, что смерти нѣтъ, что дѣти превращаются въ цвѣты? Пусть отвѣтятъ на это человѣческіе отцы и матери...

Но что бы ни было потомъ съ малютками дровосѣка, онѣ уже сдѣлали великое открытіе: то, что Синяя птица, за которой онѣ такъ далеко ходили,—здѣсь, около нихъ; она—всегда подъ рукой. Грезы о Синей птицѣ навѣяны скромной голубкой, впсящей надъ постелями Тильтиля и Митили. И если эта голубка еще педостаточно синя, то гораздо болѣе сипей сдѣлается она, какъ только ее отдадутъ больной дѣвочкѣ сосѣдки. Мы тогда обрѣтаемъ синее, когда даемъ. Счастье въ томъ, чтобы давать. По крайней мѣрѣ, именно теперь дѣти «играютъ въ счастье». И дѣвочка сосѣдки оказывается изумительно-красивой, похожей на Душу свѣта, и въ смущеніи цѣлуетъ ее Тильтиль, и не первый ли это поцѣлуй любви, и не сынъ ли дровосѣка будетъ ея женихомъ здѣсь, на землѣ, или

тамъ, въ лазоревомъ царствъ, куда онъ, быть можетъ, скоро вернется?..

Въ концѣ - концовъ улетаетъ и голубка, земная синяя, почти синяя птица. Отчего она улетаетъ? Не отъ того ли, что дѣвочка инстинктивно не даетъ ея Тильтилю (онъ хочетъ показать, какъ ее надо кормить, дѣвочка не пускаетъ, и птичка, «пользуясь нерѣшительностью ихъ жеста», вырывается изъ ихъ рукъ и уносится въ свою родную, небесную синеву)? Птица счастья улетаетъ, когда мы ея пе даемъ. Счастье въ томъ, чтобы давать.

Но Тильтиль объщаль дъвочкъ, своей невъстъ, поймать птицу. И дъвочка ждеть.

И вмѣстѣ съ нею ждетъ ея все человѣчество. Тѣмъ представителямъ его, которые читаютъ философскія и художественныя пропаведенія, Метерлинкъ теперь, въ послѣднемъ фазисѣ своего не прерывающагося духовнаго развитія, сулитъ много свѣта и радости и обаяніемъ своего неотразимаго слова привлекаетъ къ исповѣданію оптимизма. Но раньше онъ стоялъ на противоположной точкѣ зрѣнія; и поучительно, хотя бы въ самыхъ общихъ и немногихъ чертахъ, намѣтить эволюцію его поэтической мысли и его глубокомысленной поэзіи.

Извѣстно, что Метерлинкъ, этотъ Коперникъ драмы, выступиль въ качествѣ ея реформатора и центръ тяжести въ ней перенесъ изъ катастрофъ и потрясающихъ событій, изъ «большихъ приключеній», въ тихія, едва замѣтныя переживанія внутренняго міра. Въ сосредоточенности спокойныхъ часовъ жизни, въ неподвижной позѣ старыка, который при свѣтѣ лампы сливаетъ свои вечернія думы съ безмолвіемъ своей мистически настроенной комнаты, онъ усмотрѣлъ жизнь и драматизмъ, болѣе глубокіе, чѣмъ въ паоосѣ шекспировскихъ героевъ, въ кровавомъ пламени ихъ безумствующихъ страстей. Не тѣ исключительные и рѣдкіе моменты, когда душевное море бурлитъ и вздымается гибельными валами, а ежедневная зыбъ его, «трагедія каждаго дня»,—вотъ что составляетъ преимущественную сферу драматическаго изображенія.

Какъ ни замѣчательна эта идея автора, идущая не только противъ теоріи драмы, но и противъ ея великой практики, опровергающая не только Аристотеля, но и Шекспира,—опа не соотвѣтствуетъ духу и настроенію зрительной залы. Сосредоточенность спокойныхъ часовъ жизни слишкомъ мало имѣетъ общаго съ тѣми часами, которые мы проводимъ въ театрѣ. Старикъ, перенесенный въ своемъ креслѣ на сценическіе подмостки, не будетъ одинъ, и тѣ, которые станутъ смотрѣть на него, тоже не будутъ одни. И разсѣянное одиночество снугнетъ и унесетъ съ собою нѣмые звуки тишины,

таинственное молчаніе дверей и оконъ и всю изысканную драму вообще. Будетъ шумно, суетливо, ярко, хотя бы и потушили въ залѣ навязчивые огни; и въ нестротѣ неизбѣжной театральной искусственности поблѣднѣютъ, исчезнутъ нѣжныя и пугливыя краски внутренняго міра, завянутъ его чуткія мимозы. И при такихъ условіяхъ, при такой условности, старикъ, который будетъ глядѣть себѣ въ душу, ничего въ ней не увидитъ, какъ не увидимъ подавно и мы, его непрошенные гости, его нескромные соглядатаи. Опъ, по словамъ Метерлинка, къ чему-то прислушивается, чего-то дожидается при свѣтѣ своей лампы,—такъ вотъ, зажжемъ и свою лампу, возьмемъ ту книгу, которая о немъ говоритъ, и тогда въ уединенной тишинѣ своего вечера мы поймемъ и почувствуемъ его тишину гораздо лучше и глубже, чѣмъ при чуждомъ блескѣ рампы.

Пьеса, изъ которой движение и страсть принципіально изгнаны, которая душою своей имбеть не действіе, а созерцаніе, которая слова считаеть менье выразительными, нежели молчаніе, — такая пьеса не должна стучаться въ шумныя двери театра. Удивительно ли, что последній оказался для Метерлинка негостепріимент; удивительно ли, что философія не поддается конкретному воплощенію сцены? Какъ бы ни была, напримъръ, глубока бесъда «Слъпыхъ», но она не претворена въ движение, не является спутницей живыхъ кодлизій, и оттого между публикой и артистами, между зрячими и слѣпыми не возникаеть напряженной симпатіи и дъйствительной связи. Единственное важное событіе, которое совершается въ только что названной драмь, это-то, что слыше находять мертвымысвоего проводника. Но зрители не принимають участія въ этомъ ужасв, такъ какъ для нихъ онъ не неожиданъ, не разителенъ. Въдь они уже съ того момента, какъ поднимается занавъсъ, знаютъ, что священникъ умеръ; все время передъ ними — бездыханное тъло, прислоненное къ дубу, и восковое лицо, на которомъ запечатлълись неисчислимыя страданія и слезы.

Но, разумъется, неприспособленность драматическаго произведенія къ театру сама по себъ еще противъ перваго не говорить. Была бы дурна та пьеса, которая для раскрытія своей внутренпей сущности и красоты непремънно нуждалась бы въ услугахъ сцены. Театръ — нъчто производное, вторичное. Великая драма обходится безъ него; въ черныхъ строкахъ своихъ она ведетъ самостоятельное существованіе; ея нъмая жизнь, ея нерасцвъчепная картина сама по себъ значительна и автономна, и только ей, а не эфемернымъ звукамъ и краскамъ сценической иллюзіи, принадлежатъ безсмертіе. Такимъ образомъ, отсутствіе не внъшней сценичности, а внутренняго динамизма, часто монотонный діалогъ, который можетъ кончиться и раньше, и позднѣе, избытокъ созерцанія,—вотъ что мѣшаетъ драматическому искусству узаконить раннія пьесы Метерлинка. Но это не ослабляетъ ихъ идейной силы, и хотя самъ авторъ
назвалъ ихъ предназначенными для театра маріонетокъ, онѣ въ дѣйствительности затрогиваютъ самыя важныя проблемы нашей, человѣческой, мистеріи, всю глубину живого бытія. Достаточно въ немпогихъ словахъ наномнить психологическіе и философскіе контуры
«Слѣпыхъ», «Непрошенной» и «За стѣнами дома», чтобы выступила передъ нами ихъ неразрывная связь съ общей мудростью Метерлинка.

Трогательно и трагично положение слепыхъ, которые заблудились и, сами того не зная, сидять вокругь мертваго проводника; ужь это одно, въ своемъ прямомъ значеніи, могло бы послужить благодарною темой разсказа. Но писатель символически углубилъ свой сюжеть, и конкретпая невзгода бъдныхъ слъпцовъ раскрываетъ передъ нами широкія идейныя перспективы. Сліпые народы, отдільныя волны мірового океана, въка и въка находятся вмъсть, но они другъ друга не видять, другь друга не знають, другь друга не любять, потому что надо видъть, для того чтобы любить. Они живуть въ какомъ-то загадочномъ Пріють, -- но еще ни разу не открылась ихъ незрячимъ глазамъ истинная природа ихъ жилища. Напрасно ощупываютъ они стъны и окна: они не знають, гдъ поселила ихъ чья-то таинственная воля. Они только слышали, что это-старый, обветшавшій и мрачный замокъ и что свътъ виднъется въ немъ исключительно изъ башни священинка, ихъ проводника: свётъ-отъ святости. И такъ они живуть, не понимая другь друга, и каждый заперть въ свое слёпое одиночество, и опи не видять надъ собою неба, не видять подъ собою земли. «Не будемъ говорить о нашихъ глазахъ», проситъ одинъ другого: это было бы слишкомъ больно. Они не знаютъ, откуда они пришли и гдъ ихъ родина; они совсъмъ не имъютъ воспомпнаній, или же воспоминанія ихъ смутны и бліздны, какъ давно приснившійся сонъ, какъ полузабытая греза Тильтиля и Митили. Такъ какъ они слъпы, то имъ все равно, полдень или полночь, и они не могутъ сказать, отбиваютъ ли часы двънадцать дня или двенадцать ночи. Когда восходить солнце, они остаются подъ низкими сводами спальной, и напрасно зоветь ихъ проводникъ на вольный берегь моря. Они боятся невъдомаго Острова, на которомъ они обитаютъ и берега котораго омываются водами Тайны; ихъ страшить рокоть прибоя, эловъщій полеть ночныхъ птицъ, шуршаніе сухихъ и мертвыхъ цвётовъ. Слёпые среди слёпыхъ и безумныхъ, они дожидаются своего ушедшаго проводника. Онъ все не приходить. Вообще, ему нельзя довъряться, потому что и самъ онъ,

кажется, больше не видить. Среди слѣпыхъ онъ и самъ почти ослъпъ. Можетъ быть, нельзя безнаказанно все время водиться съ незрячими, — не пострадаетъ ли отъ этого собственное зрѣніе, и вмѣств съ человъчествомъ не постаръетъ ли и Богъ? И некому жаловаться на него, заблудившагося проводника, некому пов'ядать своего ропота. Да, слъпые ропшутъ на священника и, узнавъ уже, что онъ умеръ, даже и нослъ этого съ укоризной говорять: «онъ долженъ быль нась предупредить!» А въдь, собственно, онъ предупреждаль: онъ былъ такъ боленъ, такъ слабъ, онъ грустно жалъ руки, но его не понимали: люди никогда, никогда не понимаютъ и лишь изрѣдка догадываются... Только женіцины любили его, и онъ, какъ Христосъ, любилъ разговаривать съ женщинами. Его мучили, его заставляли страдать; не хотели идти впередъ, —предпочитали усесться на придорожные камни, для того чтобы всть. Какъ и Брандъ, онъ не могъ увлечь за собою на высоту, --- да и достижима ли она была для него самого? Женщины слышали его вздохи, чувствовали, что онъ теряетъ мужество. И вотъ онъ скончался. Священникъ умеръ.

Метерлинкъ въ одной изъ своихъ статей повторяетъ эту же мысль: исторія учить, что погибали религіи; но одна смѣняла другую, умирали вѣры, но не вѣра,—между тѣмъ въ наше время мѣсто исчезнувшей или исчезающей религіи не занимаетъ никакая другая, и дехристіанизація міра оставитъ въ немъ незаполненную пустоту.

Священникъ умеръ. Кто же выведетъ слѣпыхъ изъ лѣса, изъ жизненнаго лѣса? Быть можетъ, собака изъ Пріюта, существо элементарной природы, то, что движется и движетъ силою инстинкта? Не въ натурализмѣ ли спасеніе? Но что, если собака останется у ногъ усопшаго священника, если она не захочетъ его покинуть? Кромѣ нея, есть еще одно зрячее созданіе: это—ребенокъ безумной женщины; но онъ ничего не скажетъ, и то, что простирается передъ нимъ, должно быть ужасно, потому что онъ изступленно плачетъ, и, какъ младенецъ Христосъ въ извѣстномъ стихотвореніи Алексѣя Толстого, не Голгооу ли онъ видитъ предъ собой? И слѣпые въ отчаяніи протягкваютъ свои безпомощныя руки въ невѣдомую и невидимую даль...

Въ «Непрошенной» у Метерлинка, какъ и въ «Синей Птицъ», дъйствуютъ не только люди, но и вещи. Онъ въ самомъ дълъ какъ бы получаютъ душу хотя бы уже отъ того, что на нихъ останавливаются наши глаза, на нихъ запечатлъвается неизбъжный отпечатокъ нашихъ собственныхъ настроеній. Комната жива. Предметы, которые подолгу насъ окружаютъ, становятся для насъ родными. Это — живыя существа: дъдовское кресло, старинные часы, лампа семейнаго стола. И потому, когда въ домъ незваной гостьей при-

ходить бользнь и смерть, то естественно, что похороннымъ звономъ звонятъ часы, перовно бьется ихъ нервное сердце, качается встревоженная лампа и кто-то или что-то мѣшаетъ двери закрыться. Волнуется и природа. Умолкаютъ соловьи, съ деревьевъ падаютъ листья, и дрожатъ лебеди въ пруду, — бѣлые лебеди, испуганные черной смертью. «Никто не знаетъ, гдѣ кончается душа», и поэтому всякая тревога ея, происходящая въ насъ, распространяется и на ту периферію, которой мы являемся центромъ, какъ и, съ другой стороны, отъ периферіи идетъ душевный токъ и на нашу собственную личность. Поверхностно дѣленіе предметовъ на одушевленные и неодушевленные; въ дѣйствительности только и есть, что душа; она и образуетъ вѣчное содружество людей и вещей.

Въ «Непрошенной» люди-отецъ, дядя, дъдъ-имъютъ въ себъ нъчто типическое и даже мистическое: каждый изъ нихъ воплощаеть особую и загадочную ступень человъческого родства, человической близости. И граціознымъ символомъ проходять три дівушки-сестры, три внучки; онъ обнимаются и своими фигурами силетають изящныя группы. Но всёхъ примёчательнее дёдь. Слёпой глазами и зрячій духомъ, замінающій то, что не дано другимъ, въ своей відчной темноті подвластный спокойной сосредоточенности, онъ олицетворяетъ собою все безсознательное, что есть въ жизни, и ту внутреннюю силу въ насъ, которая съ этой ирраціональностью общается. Мало обычной изощренности нашихъ внъшнихъ чувствъ, для того чтобы воспринять невидимое присутствіе смерти; лишь тоть, кто живеть въ своей темноть, въ своей глубинь, сподобится страшной чести-раньше другихъ, въ дымкъ предчувствія, увидъть смерть. А сліпой, существо безь оконь, именно въ себі и живеть, и оттого роковая гостья прежде всего является ему. Окружающіе сначала не вірять его зрячей сліпоті, но потомь они заражаются его безпокойствомъ, они дрожатъ, и все то, что не замътно было въ пестротъ шумпаго дня, становится явно и страшно, когда время, «господинъ людей и боговъ», это «настойчивое насфкомое, механически подтачивающее жизнь», — время «нѣмымъ жестомь» своей неумолимой струлки показываеть, что близка полночь, радость привиденій, жуткіе «двенадцать часовъ по ночамь». Въ трепеть повергаеть нась тогда и лязгь косы (чьей? садовника или смерти?), и то, что завтра придетъ плотникъ (или придетъ гробовщикъ?), и то, что сама собою отворяется дверь. И чуткій духомъ старикъ, этотъ отецъ, у котораго умираетъ дочь, дѣлаетъ перекличку своей затихшей семьй, —но всв ли откликнулись? Нътъ, здъсь присутствуетъ еще Нікая, но она затаплась и молчить, и отъ ея присутствія исчезнеть другая, --больющая дочь старика. И въ тоть моменть, когда она исчезнеть изъ міра, изъ дома, и съ восковою свѣчой въ рукѣ войдеть въ комнату монахиня, эта сидѣлка, спутница болѣзни, вѣстница смерти, — ребенокъ, до сихъ поръ безмолвный и неподвижный, точно сдѣланный изъ воска, изъ того же воска, что и свѣча монахини, закричить, заплачеть; онъ зальется слезами въ то мгновеніе, когда станетъ сиротою, и въ этомъ первомъ дѣтскомъ плачѣ скажется скорбное предчувствіе всей дальнѣйшей жизни, — жизни ребенка безъ матери. Осиротѣетъ и старикъ, отецъ безъ дочери, и въ нашемъ мірѣ, гдѣ всѣ такъ несчастны и одиноки, поселится еще новое, безнадежное одиночество — никѣмъ не поддержанной старости.

То, что сплочено, желанную семейственность, человъческія связи, разрушаетъ смерть. «За стънами дома», въ тишинъ и уютности своего родного угла, мы подъ убаюкивающую пъсенку вечернихъ часовь, спокойныхъ промежутковь отдыха, испытываемь довѣріе къ міру; но тихими, неслышными стопами подкрадывается невзгода, и мы вдругъ мучительно постигаемъ, какъ ненадеженъ міръ, какъ прозрачны и доступны для несчастья и его неумолимой въсти хрупкія стыны нашихъ домовъ. Тонкая психологія страшнаго извъстія, приносимаго нежданно; глубокій фатализмъ горя, которое идеть, идеть, неминуемо приближается въ звукахъ реквіема и которое, въ видъ тыла молодой самоубійцы, противъ своей воли несуть съ собою опечаленные люди; слѣпое безсиліе челов ка, который никакими затворами и дверями, столь проницаемыми для рока, не можеть оградить себя отъ его губительныхъ вторженій; образъ дівушки, которая при жизни казалась такою обыкновенной, а теперь, въ ореол'в смерти, обнаружила всю свою значительность и страданіе своей не выдержавшей души, стала понятной, ибо «надо что-то прибавить къ повседневной жизни, раньше чемъ понять ее», все это претворено у Метерлинка въ тонкую, бездъйственную драму, и безконечно-малыя величины духа нодъ его внимательнымъ и сочувствующимъ взглядомъ разрослись въ неизсякаемые источники трагизма. Этимъ авторъ только расширилъ область реальнаго, показалъ въ ней многое такое, чего другіе не замізнали и чімъ не пользовались въ нскусствъ театра. Вообще, Метерлинкъ-великій реалистъ.

Перемѣщеніе драматической ситуаціи въ сферу духа, почти неуловимую и неосязаемую, и все-таки наиболье дѣйствительную, перемѣщеніе, недаромъ встрѣченпое матеріалистической сценой такъ недоброжелательно, является у нашего поэта не просто новымъ изобрѣтеніемъ писательской техники, не только нововведеніемъ эстетическаго характера, но и связано съ наиболѣе завѣтной философіей Метерлинка, съ его общимъ стремленіемъ къ утопченію жизни,

къ ея предъльной одухотворенности, къ эфирной обители Аріэля. И воть почему слишкомъ тонкій для драмы вообще, чувствуя себя привольно только па высотахъ спиритуализма, творецъ «Непрошенной» въ своемъ последовательномъ и прогрессирующемъ отверженіи всяческой осязательности долженъ былъ признать, что не только событія и поступки не выражають собою нашего внутренняго міра, но даже и слова. Поэтъ и философъ молчанія, онъ ему приписываетъ высшую мистическую роль и въ немъ именно видитъ нѣмого толмача души. Можно ли быть художникомъ слова и въ особенности драматургомъ-тому, кто молится безмолвію? Правда, Метерлинкъ не піонеръ въ этомъ отношеніи, онъ только глубже кого бы то ни было чувствуеть, какъ слово случайно и какъ молчаніе необходимо и первично. Задолго до нашего писателя именно поэты жаловались на безсиліе ръчи, на то, что «мысль изреченная есть ложь», и мечтали о томъ, чтобы «безъ слова сказаться душой было можно». Давно уже поняли какъ разъ тъ, кто говорить, наиболъе взысканные обладатели словесного дара, - поняли они, что хотя на земл'в несмолкающей безпрестанно звучить и рождается слово, оно все-таки слишкомъ скудно и бъдно, для того чтобы оно могло служить представителемъ подлинной жизни человъческаго духа. Обычныя, потерявшія свою прежнюю звонкость, теперь уже глухимъ голосомъ, безъ тембра, говорящія слова идуть изъ усть въ уста, какъ старыя, потускившия монеты на рынкв житейской суеты, и употребляются всеми для всякихъ целей и нуждъ. Между темъ новая мысль и повое, девственное чувство хотели бы облечься, подобно певъстъ, въ свътлыя одежды, которыя раньше не служили никому и ничему другому. Не словами говорить душа, и только тогда чувствуеть она себя въ своей стихіи, только тогда съ шумнаго торжища постороннихъ разговоровъ и ръчей возвращается она къ себъ, въ свою тихую храмину, когда уста смолкаютъ. Безмолвствуя, мы приходимъ на лоно родной тишины. И мудрое молчаше людей только соответствовало бы загадочности міра. Какъ молчаливый сфинксь, простирается онъ передъ нами, и слово ли будеть Эдипомъ, который разгадаеть его извъчную тайну? Недаромъ восточные монахи-подвижники и древніе святые давали и осуществляли обътъ молчанія. Какъ неподвижныя и торжественныя каріатиды па таинственномъ зданіи космоса, стоять они, великіе молчальники, и своей жуткой тишиною дополняють безмольное бытіе вселенной.

Оно вызываеть робость у ея дѣтей. И какъ дѣти вообще, въ темной комнатѣ, начинаютъ пѣть или шумѣть, чтобы себя уснокоить, такъ и мы жмемся другъ къ другу, заключаемъ всякіе союзы и связи, ведемъ свою громкую бесѣду — не только ли для того, чтобы своею рѣчью пріободрить себя и разсѣять ужасъ окружающаго молчанія? Общій трепеть объединяетъ людей; нѣтъ ничего соціальнѣе страха. Міръ молчитъ, и тѣ звуки, которые своими волнами колеблютъ покрывало его тишины, только оттѣняютъ и усиливаютъ общее впечатлѣніе отъ нея. Море молится, и шумомъ своимъ оно возноситъ «хвалебный гимнъ Отцу міровъ»; отъ этого религіозной покорностью часто исполняется и человѣческое сердце. Но не всегда находитъ оно въ смиреніи покой и удовлетворенность.

Ибо міръ—тоть замокъ секретовь, который не однажды воздвигается въ пьесахъ Метерлинка. Темная тайна, которая насъ объемлеть, не позволяеть оставаться спокойными,—и воть какъ разъ ощущеніе этой тайны, ея претвореніе въ наши предчувствія, догадки, страхи, и составляеть тоть исихологическій матеріаль, который и задумаль драматизировать Метерлипкъ.

Подобно отдёльнымъ людямъ, и все человъчество, вся душа мірового населенія, пребываеть въ тягостномъ ожиданіи какихъ-то невъдомыхъ событій. Ожидающее человъчество, какъ семь принцессъ, дождется ли своего принца-освободителя, или оно уже не будеть въ живыхъ, когда принцъ придеть? Въ заколдованномъ кругу трепетнаго ожиданія мы существуемь, какь пленники невидимаго Рока. Не только давить насъ атмосфера, не только земля тянеть насъ къ себъ, создавая оскорбительность нашихъ паденій, но есть еще и особое тяготъніе времени, покоряющее насъ гораздо больше, чъмъ это обыкновенно думають. Мы подчинены не одному настоящему, но и прошлому, -- движемся въ тъхъ рамкахъ, которыя опредълила исторія. То, что было, проникаеть въ то, что есть. Мало этого: чуткому слуху открывается полеть времени не только въ его настоящемъ, не только въ его прошломъ, но и въ основныхъ контурахъ его будущаго содержанія. Мы обыкновенно въ своей мысли отодвигаемъ грядущее въ какую-то даль, мы отсрочиваемъ его, между тъмъ какъ будущее есть уже теперь, и по своей внутренией сути оно все равно, что настоящее. Лишь нъкоторыя случайныя особенности въ строеніи нашего ума препятствують намъ видіть свое будущее болье опредъленно и точно и рисовать себъ его картины такъ же наглядно, какъ мы это дълаемъ по отношению къ пропилому. Итакъ, минута полибе, чъмъ это намъ кажется: въ своихъ незамътныхъ складкахъ она, точно спълый колосъ трагизма и скорби, таитъ въ себѣ безчисленныя сѣмена, чревата загадками и событіями; и прошлое, которое созрѣло, и будущее, которое зрѣетъ, все это дано въ каждой долъ времени, всъмъ этимъ насыщено каждое мгновеніе. Оттого мы, хотя бы и безсознательно, чувствуемъ его тяжесть; какъ это страшно, что всѣ времена и пространства, что весь міръ во всякую минуту лежить на нашей душѣ!.. Безграничная содержательность любого момента; обиліе фактовъ, которыхъ становится не меньше отъ того, что не всѣ они отчетливо приходятъ въ полосу нашего сознанія; не только предметы, но и тѣни, которыя они откидываютъ отъ себя на наши помыслы и чувства; шорохъ вещей, неясные шопоты стихій, перекрестныя дуновенія таинственнаго—все это наполняетъ человѣка безъисходною тревогой и тоской. Онъ чувствуетъ себя въ центрѣ чьего-то зловѣщаго впиманія, отъ котораго не скрывается ни малѣйшее изъ его движеній. Ужасна эта внимательность Рока. Мы никогда не бываемъ одни. Кто-то слушаетъ насъ, кто-то смотритъ на насъ, и ничѣмъ не огражденные, узники вселенской тюрьмы, люди покорны непостижимой волѣ мірового надсмотрщика. Они о чемъ-то догадываются, но они ничего не понимаютъ.

И не этимъ ли, въ последнемъ счете, объясняется известный характеръ метерлинковского діалога, та стилизація, въ силу которой его герои выражаются трудно, медленно, скудно, повторяютъ одни и тъ же немногія слова, переспративають, не сразу отвъчають и замедленными шагами движутся по колев монотонныхъ фразъ? Не является ли это со стороны автора замъчательной поныткой-къ нфсколькимъ типамъ, къ упрощенной схемф свести всю ложную пышность и мнимое разнообразіе человъческихъ разговоровъ? О чемъ бы мы ни говорили, мы говоримъ одно и то же, и это не столько разумная річь, сколько жалкій лепеть испуганныхъ усть. Да и у подножія великой тайны, на лон'в всеобщаго молчанія, что можемъ мы сказать, -- некраснор вчивые, б'єдные, косноязычные? Можеть ли наше слово быть мыслью, умомь, будеть ли оно дъйствительный Логось? Нътъ, -- непонятному довльеть невнятное. И это-новое основание къ тому, чтобы мы ушли въ себя и замкнулись въ монастырской кель молчанія. Покрытые его огромной шапкой-невидимкой, мы, быть можеть, еще лучше, чёмъ бесёдой дружбы, шумомъ разговора, заглушимъ въ себъ мистическую жуть. А она все больнъе и больнъе сжимаетъ сердце, и когда, напримъръ, градъ милліонами пальцевъ стучится въ наши окна, мы, трепетные и безпомощные, не можемъ одолъть своего страха. Человъчество испугано. И когда вздрагиваетъ одинъ изъ его представителей, эта нервная вибрація передается и другимъ. Больше того: когда старикъ изъ пьесы «За стънами дома», тотъ, кто въ своихъ «старыхъ рукахъ какъ больную птичку держитъ все маленькое счастье» обитателей дома, не смён этихъ рукъ разжать, т. е. войти къ безмитежной семь со своей ужасной въстью, --- когда онъ разсказываеть окружающимъ, что видълъ у ръки, около зарослей камыша, какъ волосы юной самоубійцы-утопленницы поднялись надъ ея головой,—въ этотъ самый моментъ, въ комнатъ, гдѣ разсказа не слышно, начинають волноваться волосы на головъ у двухъ дѣвушекъ, сестеръ самоубійцы. И съ другой стороны, если вокругъ несчастныхъ разговариваютъ и они окружены, то и «самые равнодушные несутъ на себъ, сами того не зная, нѣкоторую долю несчастья», и оно равномърнъе распредъляется,—происходитъ своеобразное «раздъленіе труда»...

Тому, чтобы мы вздрагивали, особенно содъйствують Смерть и ея «старая служанка» Болезнь. Міровая тайна именно въ смерти находить одно изъ самыхъ мрачныхъ своихъ выраженій. Нередко смерть, лицемерная, надеваеть маску жизни, чтобы вернье овладыть намыченной жертвой; или же она дыйствуеть прямо и откровенно. И въ томъ, и въ другомъ случав противиться ей нельзя. Какъ бы сестры ни оберегали маленькаго Тентажиля, какъ бы ни обвивали его своими благоуханными руками, Королева съ помощью своихъ трехъ служанокъ, трехъ парокъ, унесеть его къ себъ. Одна служанка, одна болъзнь, могла бы уже одольть маленькаго; но иногда въ усердіи, для насъ непонятномъ, за однимъ приходятъ три. И на сценъ міра опускается непроницаемый жельзный занавёсъ, который разлучаетъ сестеръ отъ брата. Та символическая дверь, которая часто появляется въ творчествъ Метерлинка, не можеть быть раскрыта ни съ той, ни съ другой стороны. «Я тянула, я толкала, я стучала», говорить Игрэна, и уже обмерли ея пальцы отъ безполезныхъ усилій. А Тентажиль по ту сторону двери стучить въ нее слабыми дътскими ручками, - и только неумолимое молчаніе отзывается на его стоны, на мольбы и проклятія его сестры. А то, что временно остается еще свободнымъ отъ посъщенія смерти, представляеть собою трагическую путаницу противоръчій и безнадежныя томленія, о которыхь и говорить Метерлинкъ въ своихъ стихахъ. Такъ дълаетъ жизнь, что крестьяне стоять у фабричныхь оконь и въ нихъ смотрять на свои поля, и охотникь за лосями становится больничнымъ служителемъ, а садовникъ — ткачомъ, и лъсъ пахнетъ камфорою; зачъмъ невъста больная, и въ воскресенье совершается изм'вна, и голодна принцесса, и матросъ — въ пустынъ, и подъ окномъ госпиталя возлъ палаты неизличимыхъ гремятъ мидныя трубы, и на дворъ страннопріимнаго дома, къ одинокимъ и заброшеннымъ, приходять почтальоны—«все не на своемъ мѣстѣ»?..

Такъ, въ черныя ризы своего недоумѣнія и тоски одѣваетъ человѣкъ вселенную. Однако Метерлинкъ при этомъ цвѣтѣ не остался.

Честный, онъ изъ собственныхъ драмъ, изъ своихъ интуицій извлекъ свое міросозерцаніе и въ своей искренности долженъ быль отдаться ему. Но впоследствіи онъ отшатнулся отъ самого себя. Ему стало невыносимо въ этой неизвъстности, въ царствъ мірового испуга, въ пустоть и тревогь смутнаго ожиданія. Онъ почувствоваль неодолимую потребность выйти изъ мрачнаго лабиринта на солнечную дорогу. И то, что есть солнце, послужило ему какимъ-то указаніемъ на возможность исхода. Онъ пересмотрѣлъ самого себя и въ результать еще глубже, чемъ прежде, поняль, что какіе бы удары ни грозили намъ отъ внъшняго міра, отъ королевы-смерти. отъ ея свиты изъ болезней, отъ всяческихъ катастрофъ, намъ до всего этого нъть дъла и мы должны сосредоточиться на своей душевной жизни, на своей центральной личности. Самопознаніе п самосозиданіе, неумирающая традиція Сократа, — вотъ убъжище, въ которомъ каждый изъ насъ можеть найти себѣ духовную безопасность. Насъ обтекаеть великій океань неизвістнаго, но именно это и даеть намъ право въры. Мы живемъ въ тайнъ, но именно нотому кто же смфеть сказать, что эта тайна эловфща? Если мы пугаемся ея, то отсюда еще не слёдуеть, что она въ самомъ дёлё враждебна къ намъ. Можетъ быть, загадка ръшается въ нашу пользу, въ наше благо и радость? Агностицизмъ смущаетъ, но агностицизмъ и открываеть надежды. Когда задумываешься о томъ, есть ли въ природѣ совѣсть и смыслъ, добро и правда, то скоро приходишь къ отрицательному выводу, по имъ не замыкается кольцо нашего разсужденія. Пусть неть мірового правосудія. Брошусь ли я въ воду, чтобы спасти утопающаго, или упаду въ нее, желая столкнуть другого, -- для стихіи безразличны мои мотивы, она въ нихъ не разбирается и на оба мои поступка будеть реагировать одинаково. Физическое и нравственное не совпадають между собою, и у каждаго изъ нихъ есть своя область, и не менте далеки они другъ отъ друга, чемъ тотъ, кто добываетъ уголь на севере Европы, --отъ того, кто работаетъ въ алмазныхъ копяхъ южной Африки. Природа неуклонно идеть своей железной поступью, и ей все равно, раздавить ли она по своей дорогь праведника или преступника. Океанъ не считается съ настроеніемъ своей жертвы, и равнодушно землетрясеніе. Значить, безсовъстна природа? Или черезъ пространства вѣковъ стремятся міры къ какой-нибудь моральной цѣли? Въ такомъ случав, гдв же кончается слвпая и механическая сила естества и гдѣ начинается умственное и нравственное сознаніе?

Мы этого не знаемъ, и поскольку мы будемъ оглядываться кругомъ себя, поскольку мы будемъ отъ себя уходить, мы этого не узнаемъ никогда. Но, если оставивъ попеченіе о природѣ, мы не

къ ней, а къ самимъ себѣ предъявимъ свои высокіе запросы, то многое уяснится для насъ и окажется, что, прежде чѣмъ сѣтовать на стихію, мы должны оправдать себя.

Метерлинкъ не стъсняется быть моралистомъ. Въ современномъ скептическомъ обществъ, среди проповъдниковъ аморализма, онъ съ неотразимою силой опять провозглашаеть людямь не только великую декларацію правъ, но и великую декларацію обязанностей. Онъ возлагаетъ отвътственность на самого человъка. Визшиему, что идетъ на насъ, онъ находитъ объяснение въ нашей внутренней винъ. Онъ имъетъ право это дълать: кому мпого дано, съ того много и спрашивается, — а человъку, его душъ, съ точки зрънія Метерлинка, дано очень многое. Во всемъ перенося центръ тяжести извит вовнутрь, едва ли не въ предъльныя для нашего разума глубины закидывая лоть познаній и размышленій, пашъ великій авторъ показываеть, что отъ насъ зависить наша судьба, что мы въ силахъ нокорить ее своею мудростью, что и Божество не сильнъе человъка. Сравнительно съ человъкомъ, съ центральностью, съ метрополіей его души, даже Богь-только окрестности, только колонія. Въ своихъ рукахъ держимъ мы нити своей жизни, и ничего не дълается, а все мы дълаемъ сами. Интимной работой духа не только человъкъ опредъляеть свое будущее, —но даже и то, что было свое прошлое, мы сами себъ выбираемъ. Ибо то было, что мы запомнили. Изъ безбрежнаго моря прошедшихъ фактовъ и событій извлечемъ то, что насъ достойно, - это и будетъ наше прошлое; оно всецьло зависить отъ нашего настоящаго: было то, что есть; я въ прошломъ таковъ, каковъ я теперь. Почти неограниченные властелины, обладающие царственной возможностью весь матеріаль существованія претворять въ свои неотъемлемыя душевныя настроенія и себя противопоставлять громадь внышней реальности, мы и должны едва ли не во всъхъ несчастьяхъ и неустройствахъ міра обвинять не его, а себя. Кто мудръ, возлѣ того трагедія пройдеть мимо.

Метерлинкъ заступается за природу. Прежде чъмъ жаловаться на нее, скажемъ по совъсти, отъ кого больше горести и скорби идетъ на людей—отъ нея ли или отъ насъ. Въдь никакая стп-хійная катастрофа, никакія выходки природы не поглощаютъ столько жертвъ, какъ наше соціальное неустройство, трагическое зданіе общественной неправды и обиды, воздвигнутое нашими же преступными руками. И тъ болъзни, отъ которыхъ умираютъ тысячи неимущихъ дътей, несчастныя дъти дровосъковъ, зародились ли сами, или это мы ихъ призвали, загнавъ бъдныхъ въ темныя и смрадныя жилища? Океанъ и урагапъ, вулканическія потрясепія земли, яростныя вспышки Везувія—невинная дътская игра сравнительно съ тъми зло-

дъяніями, которыя ежеминутно и безпрерывно совершаеть неправедное человическое общество. Можемъ ли мы требовать отъ стихіи. чтобы она жальла свои жертвы, чтобы она сочувствовала страданію погибающихъ, когда мы сами такъ безчувственны и безразличны къ своимъ ближнимъ? Будемъ же справедливы. И если мы даже признаемъ, что нътъ дъла небу до нашей нравственности, то намъ есть дъло до нея. Если сомнительно, если намъ неизвъстно, отличаетъ ли совъсть природу и проникаеть ли все физическое какая-нибудь разумная и добрая идея, то ужъ во всякомъ случав несомнвнно, что мы -- существа, которымъ дана и совъсть, и мысль, и красота. Будемъ же добро культивировать въ себъ. Будемъ помнить, что во всякомъ случат вся дъятельная и обитаемая область великой міровой правды находится въ насъ. Та очевидная сфера, въ которой добро функціонируеть, это-человікь. Пусть же онь, какова бы ни была природа, займется собою. И на этомъ пути онъ скоро убъдится, что правда — та атмосфера, тотъ воздухъ, безъ котораго онъ жить не можетъ. Такова наша организація, что внъ категоріи нравственнаго всякое другое существованіе намъ заказано. Хотимъ ли мы этого или нътъ, но мы обречены двигаться по орбить моральной. Заповьди можно нарушать, но нельзя ихъ миновать. Мы имбемъ печальную возможность фактически уклоняться отъ добра, но именно его утверждение или его отрицание, то или другое отношение къ нему, составляетъ непремѣнное условие той духовной планеты, съ которой органически связано наше бытіе. Весь опыть человъчества и всъ апріорныя соображенія слишкомъ опредаленно говорять объ этой нашей приверженности къ моральной идев. И, значить, одно изъ двухъ: либо мы на свою доброту, на свое состраданіе, на свою сов'єсть должны смотр'єть, какъ на нротивоядіе и противорічіе, которое создала природа своимъ же эгоистическимъ инстинктамъ, жестокимъ орудіямъ, столь пригоднымъ въ борьбъ за существование, и тогда непонятно, почему же природа мъшаетъ самой себъ; либо мы должны признать, что она въ такой нецелесообразности вовсе не повинна и что она сама-умное и благое существо. Въдь мы-ея дъти; а могутъ ли дъти не имъть ничего общаго со своею матерью, могуть ли они быть въ корнъ отличны отъ нея? То, что мы добры, не доказываеть ли, что посвоему добра и природа, но только такою добротой, истинный характеръ которой для насъ невъдомъ?

Какъ бы то ни было, ничтожная ли случайность—наша жизнь, или она значительна, ясно одно: жизнь—самое для насъ важное и реальное. Ея голосъ, наиболье громкій и настоятельный, заглушаєть всь тревоги, всь сомньнія. И такъ какъ мы живемъ, такъ

какъ мы себя въ жизни уже нашли и застали и ничъмъ, добровольной смертью не больше, а меньше, чёмъ другими средствами, этого факта устранить не можемъ, то естественно, боле естественно, чъмъ все иное, философствовать подъ знакомъ жизни, т.-е. брать тв истины, которыя ее поощряють, ей благопріятны, и питать не свое отчаяніе, а свои надежды. Въ этомъ-нашъ долгъ передъ міромъ и собою. Еще разъ вспомнимъ, что природа-периферія, а центръ-наше я. И. сознавая это, мы по аналогіи распространяемъ свой психизмъ и на все остальное. Душа, это-все, и все, это-душа. Ничего мертваго и ничего бездушнаго на свътъ ньть. Мірь не вещь, Метерлинкъ приходить къ свътлому и цълительному исповеданію панисихизма. Онъ сееть души. Онъ какъ бы углубленно повторяетъ мысль древняго Фалеса: «все полно боговъ». т.-е. все исполнено духовности. Онъ, правда, остерегается объяснять міръ съ узко-человіческой точки зрінія, антропоморфизировать его; но чаще, невърный своимъ же словамъ, кончающимъ его этюдъ о гибвъ пчелъ, онъ все-таки не удерживается на высотъ объективности, и даже выносишь иногда впечатленіе, что онъ навязываеть природъ слишкомъ много своего, человъческаго, и въ этомъ смыслъ обнаруживаетъ къ ней какое-то невеликодушное отношение. И тъмъ не менъе свою антропоморфическую попытку онъ оправдываетъ и освящаеть все той же присущей ему красотою, моральной и умственной живостью, и вследь за нимь не можеть и читатель не принять той успокоительной и радующей мысли, что одна и та же сила, одна и та же разумность проявляется и въ человъческомъ обществъ, и въ жизни пчелъ, и въ ароматной душъ цвътовъ. Какъ Робинзонъ, по сравненію Метерлинка, радостно уб'єдился, что онъ не одинокъ, когда на песчаномъ берегу своего острова замътилъ следы человеческой ноги, такъ и люди прозревають, что методы ихъ разума — единственные, которые примѣнимы и ко всей остальной природъ.

Загадочныя силы міра, особенно тѣ, съ которыми у насъ есть самыя непосредственныя общенія, находятся въ очагѣ, въ центрѣ нашего собственнаго существа, и всѣ прочія тайны проходять именно черезъ эту, перекрещиваютъ ее во всѣхъ направленіяхъ, съ нею сочетаются. Такимъ объединяющимъ фокусомъ служитъ наше безсознательное начало, великая ирраціональность. И вселенная нуждается въ насъ для рѣшенія своихъ собственныхъ загадокъ, такъ какъ именно въ насъ всего скорѣе и прозрачнѣе кристаллизуются онѣ. Это и сливаетъ нашу личную жизнь съ жизнью космоса. Есть въ мірозданіи какой-то «общій фондъ разума», изъ котораго въ большей или меньшей мѣрѣ черпаютъ всѣ; по далямъ и

въ глубинахъ бытія разсѣянъ единый разумъ, и непрерывно дѣйствуетъ нѣкій всемірный токъ, который сильнѣе или слабѣе проникаетъ собою отдѣльные организмы, смотря по тому, являются ли они хорошими или дурными проводниками разумности.

Панпсихизмъ неизбъжно является и оптимизмомъ. Гдъ душа, тамъ добро. И отръшившись отъ темнаго кошмара судьбы и смерти, повъривъ космической духовности, Метерлинкъ и облекъ свое новое міросозерцаніе въ лучистые покровы доброты, благоволенія и кротости. Отъ каждаго благостнаго слова или поступка, отъ добрыхъ мыслей, ръющихъ среди насъ, загорается у него ореолъ надъ головою святого Антонія: это сіяніе никогда не погасаеть и надъ философіей и поэзіей самого Метерлинка. Онъ любовно, чутко и нѣжно относится ко всёмъ и ко всему, и такъ онъ движется по дороге своихъ идей, чтобы не растоптать нечаянно ни одной души, не дать погаснуть ни одной человъческой искоркъ. У него-сочувствие и жалость къ слезамъ, которыя «всегда правы», бережное отношеніе къ чужой жизни, любовь къ любому дыханію. У него-сердечное поклонение женщинъ за то, что она прекрасна, за то, что она никогда не устаеть быть матерью и «готова была бы качать самую смерть, если бы та спала на ея коленяхь». У него — безмерная вера во всякую душу, и каждая изъ нихъ, решительно каждая, способна къ иниціативъ, готова «начать», т.-е. пробудить въ себъ и въ своихъ ближнихъ дремлющую красоту. Всякая душа-принцесса. У Метерлинка нътъ ложнаго стыда, который признаетъ оптимизмъ плоскостью и предпочитаеть рядить себя въ манерныя одежды міровой скорби. Авторъ «Сокровища смиренныхъ» знаетъ, что легче и даже пріятнъе говорить о печаляхъ жизни, чъмъ о радостяхъ ея. Въ темнотъ и горести нашихъ дней труднъе быть оптимистомъ, нежели пессимистомъ. Онъ не стыдится ни счастья, ни призыва къ счастливости, и въ этомъ-величайшая глубина. Эффектные диссонансы пессимизма, красивая и томная печаль философскаго разочарованія не привлекають его, и, правдивый мудрець, онъ избираетъ святое мъщанство, ищетъ покоя и удовлетворенія, мира съ міромъ; онъ им'веть философское мужество не отворачиваться отъ высокой идилліи.

Неразумной силѣ матеріальности противопоставляеть Метерлинкъ духовное начало и какъ разъ подъ его стягомъ одерживаетъ свои побѣды. «Въ Моннѣ Ваннѣ» разъигрывается оргія войны; жестокое, физическое, грубое празднуетъ свой зловѣщій праздникъ, и находять себѣ утоленіе самые дикіе и кровожадные инстинкты,—но въ самомъ разгарѣ кровавой вещественности старый идеалистъ Марко говоритъ о Платонѣ, о древней красотѣ, о мраморныхъ ста-

туяхъ и торсахъ, и эти рѣчи, внѣшнимъ образомъ неумѣстныя, на самомъ дѣлѣ являются выраженіемъ самодовлѣющаго духа, который себя и своего Платона утверждаетъ, несмотря на все торжество суровой предметности.

Рыцарь духа, певецъ света, Метерлинкъ долженъ былъ именно поэтому ослабить въ своихъ трагедіяхъ всё обычныя страсти, сдёдать бледнее краски и до шопота понизить человеческие голоса. Едва замътны, почти неуловимы и тихи слова и поступки его героевъ. Это не люди, а тъни людей. И во всякомъ случав это люди вообще, съ очепь малой долей конкретныхъ признаковъ, одушевленныя схемы. Какой-то вампиръ, но-страннымъ образомъвампиръ не злой, а добрый, выпилъ изъ нихъ кровь, и, безкровные, безплотные, они, насколько лишь возможно, отняли у своихъ помысловь и настроеній грубый земной оттібнокь. Они все матеріальное сдѣлали тоньше и легче, побѣдили земное тяготѣніе; какіе-то прозрачные, какіе-то призрачные, нев'всомые и нереальные, они сотканы изъ чистъйшаго эоира. Они чувствуютъ безъ чувственности. они дюбять безъ ревности, они борются безъ ожесточенія. Надъ землею, на воздушномъ океанъ, происходять ихъ утонченныя драмы. Аглавена и Селизета — соперцицы въ своей любви къ Мелеандру. но не ревнують одна къ другой, и кажется имъ, что Богъ по ошибкъ создалъ изъ одной души двъ жизни, двъ индивидуальности, такъ что объ онъ-одно и то же существо. Душа не совпадаетъ съ личностью, идетъ за ея опредъленныя грани, и ужъ во всякомъ случат она не совпадаетъ съ тъломъ. Оттого Принчивале не только полководець, но и мыслитель и нѣжный любовникъ; и въ самой любви своей онъ, этотъ намъстникъ Марса, остается платониченъ: осуществляя великій парадоксъ спиритуализма, онъ не прикоснулся къ Моннъ Ваннъ именпо потому, что глубоко и сосредоточенно, и беззавътно любилъ ее. И характерно, что любовь у Метерлинка тоже всегда выдержана въ самыхъ пленительныхъ тонахъ и даны лишь тонкія детали ея очарованія; такъ обычна у него красота золотыхъ волосъ, прелесть Мелисанды, — и при видъ ихъ луна уже не знаетъ, ей ли самой или женщинъ, освъщающей или освъщенной, принадлежать это нъжное золотое море, эти живыя волны, которыя целуеть Пеллеась.

Метерлинковская любовь то имъетъ высокое значеніе, что она выявляеть въ человъкъ душу. Мы, собственно, рождаемся не въ моментъ своего физическаго рожденія, а когда полюбимъ; подъ благословенными лучами осънившей насъ красоты расцвътаетъ душаши та, которая любитъ, и та, которую полюбили; онъ переливаются одна въ другую, и тогда не только міру является истина, но и

возникаетъ самый міръ: «кто знаетъ, не преобразуются ли отъ нашего поцѣлуя звѣзды и цвѣты, восходы и закаты, мысли и слезы?.. Кто знаетъ, является ли сама ночь равно глубокой взорамъ сестры и взорамъ возлюбленной?» И оттого, кто солгалъ въ любви, кто обманулъ среди поцѣлуевъ, тотъ солгалъ особенно, навсегда, безсмертно и въ самый космосъ вдохнулъ свою преступную ложь.

Душа, раскрывающая себя въ любви, не есть что-либо однажды навсегда законченное и опредълившееся, неподвижный кристаллъ. Нътъ, она безпрерывно возрастаетъ, и прогрессъ, это—не что иное, какъ усиленіе и утонченіе души. Въ сущности ея теперь еще нътъ. Душа будетъ. Исторія знаетъ такіе періоды, когда души совсѣмъ не было,—едва мерцали ея слабые зародыши. Теперь мы живемъ въ такой стадіи, когда духовность, всецѣло еще не осуществленная, преодолѣла уже однако значительные этапы на пути своей эволюціи. Теперь душа гораздо тоньше и прозрачнѣе, нежели когда-то. Она какъ бы покоится въ хрустальной колыбели, и если мы не добры, то это сейчасъ же видно первому изъ случайныхъ собесѣдниковъ или попутчиковъ нашихъ,— «почти не стало больше убѣжищъ».

Но то, что мы не добры, и то, что мы погрязаемъ въ порокахъ, и то, что безуміе увлекаетъ насъ въ черныя пропасти, все это къ намъ не относится, ибо все это-лишь поверхность человъческаго существа, а не его подлинная глубь. Есть у насъ въчная возможность возрожденій. Свой дурной поступокъ мы всегда можемъ взять обратно, вычеркнуть его изъ своей души, которую Бодлэръ, воследъ за де-Квинси, недаромъ называетъ палими естомъ, и па его страницахъ написать совсъмъ другое, новое и прекрасное. Въ противоположность тъмъ, кто заставилъ надъ людьми нависнуть угнетающую тынь, учение о первородномъ грыхь, Метерлинкъ учить о первородной невинности. У него есть великая, освобождающая, религіозная идея: онъ испов'ядуеть, что душа ни въ чемъ не повинна. Святая святыхъ, сокровенный алтарь человъческого храма, она такъ глубоко спрятана въ насъ, что ея не досягаютъ наши пороки и преступленія. Мы ни въ чемъ не виноваты; наше ядро. что бы мы ни дълали, всегда остается чистымъ. Есть врожденная невинность всякой жизни. Мы-святые. Все дурное, что мы творимъ. это лишь дурной сонъ, тяжелый кошмаръ, который мы когда-нибудь сбросимъ съ просвътленнаго сознанія. Сестра Беатриса вовсе не гръшила тамъ, въ міру, за оградой монастыря, - это ей лишь казалось; на самомъ же дель, когда она ушла, въ монастыръ заняла ея мъсто, приняла ея обликъ Мадонна, которая не только Богоматерь, но и сестра сестры Беатрисы, душа сестры Беатрисы. Наша душа — Мадонна, и Мадонна, это — наша душа. Богоматерь за насъ. И она всъмъ протягиваетъ свои спасающія и освящающія руки:

Всякой плачущей душѣ, Бѣдной грѣшницѣ мгновенья, Простираю въ лонѣ звѣздъ Руки съ благостью прощенья.

Грѣхъ не можетъ больше жить, Гдѣ любовь, грустя, вздохнула. Духъ не можетъ умереть, Гдѣ любовь слезой блеснула.

Если жъ любящимъ порой Суждено съ дороги сбиться, Слезы ихъ текутъ ко Миѣ И не могутъ заблудиться.

(Переводъ Л. Вилькиной).

Душа не можеть заблудиться. Отъ вѣка невинная, своей незыблемой невинности обреченная, она, какъ нагая и наготы своей не стыдящаяся Монна-Ванна, одѣта въ самое себя, въ свѣтозарные покровы своей природы, — бѣлая невѣста, вѣчная дѣвственница; и оттого она съ невинной улыбкой, вся лучезарная и цѣломудренная, проходить среди нашихъ пороковъ и недостатковъ, ихъ не зная, къ нимъ непричастная.

Именно тѣмъ, что внутренній человѣкъ никогда ни въ чемъ не виноватъ, и объясняется поразительная снисходительность боговъ къ людямъ и такая же наша снисходительность другъ къ другу. Властители своего внутренняго міра, т.-е. подданные своей спокойной и святой души, мы вѣримъ себѣ и другимъ; и не только (могъ бы сказать Метерлинкъ) люди вѣрятъ въ Бога, но и Богъ вѣритъ въ людей.

Но если все—душа и всё души одинаково бёлы, одинаково чисты, и наши страсти и заблужденія, паши паденія и подъемы нисколько не затрогивають ея вёчно - покойнаго лона, ея ото всего сокровенной свётящейся сути; если въ нашихъ дёлахъ и поступкахъ мы-то сами, мы, подлинные, вовсе не участвуемъ; если всё наши слова, будутъ ли они о Платонё и Микель-Апджело, или о кусочкахъ стекла, одинаково ничтожны передъ лицомъ великаго Молчанія, то не обрекаетъ ли это слишкомъ мудрыя трагедіи Метерлинка на внутреннюю несостоятельность? Можно ли написать истинно-художественную драму о тёхъ, кто пребываетъ въ

глубокомъ безразличіи невозмутимаго покоя и только внѣшнимъ образомъ что-то дѣлаетъ и что-то говоритъ, не выражая этой игрою призрачныхъ твней своего настоящаго душевнаго лица? Задумчивые и созерцательные ангелы Сикстинской Мадонны, — какъ они могутъ быть героями трагедіи, и тамъ, гдѣ святые, возможна ли борьба, стихія драматизма? И если души въ своей основъ одинаковы и радужные переходы оттынковь, временное трепетание земныхъ красокъ неизбъжно сливаются въ единствъ бълаго цвъта, въ общей красоть безнорочности, то трагедіи сказать нечего и не о чемь. Пьесы Метерлинка, вращающіяся среди немногихъ символовъ, зовущія къ себ' на подмогу все т' же двери, башни, гроты, цв' ты, море, полеты птицъ, -- эти однообразныя пьесы не оправдываютъ своей драматической формы, пусть и замечательны оне уже темъ однимъ, что для осуществленія своихъ большихъ эффектовъ онъ прибъгаютъ къ наименьшей силъ средствъ. Разговоръ еще не дълаетъ драмы. Недаромъ нашъ искренній и если такъ можно выразиться, непрерывный авторъ теперь отказался отъ своего прежняго предпочтенія бездійственности и восхваляеть именно дійствіе— не только за его эстетическую ценность, но и потому, что въ немъ, а не въ созерцаніи, видить онъ и человіческую, и божественную категорію, необходимое творцамъ и твореніямъ. Едва ли Метерлинкъ и самъ теперь не разд'яляеть, подм'яченнаго имъ, общаго свойства людей, въ силу котораго они не примиряются ни съ чёмъ такимъ, что довлееть себе, и всёхъ боговъ своихъ, отъ самыхъ грубыхъ и до самыхъ разумныхъ, непремъпно заставляютъ волноваться, создавать много существъ и предметовъ, искать своихъ целей гденибудь во внъ; мы не можемъ себъ представить бога празднаго; утилитаристы, мы обрекаемъ его на дъйственность и трудъ...

Въ раннихъ трагедіяхъ Метерлинку не могъ удаться походъ противъ Дѣла, и этой неудачѣ едва ли не больше всѣхъ радуется онъ самъ. Міросозерцаніе панисихизма трудно совмѣстить съ драматическимъ творчествомъ вообще, и ужъ совсѣмъ не примѣнимо оно къ тому грубому искусству слишкомъ конкретныхъ воплощеній, пріютъ которому предлагаетъ сцена. Ни интимно-психологическія пьесы нашего автора, пи тѣ, которыя имѣютъ характеръ мечтанія, приснившейся сказки, не нашли себѣ въ театрѣ, законнаго и желаннаго убѣжища, не претворились въ живые спектакли. Очень показательна въ этомъ отношеніи участь «Синей птицы» на искусныхъ подмосткахъ Московскаго Художественнаго театра. Яркая постановка ея еще разъ убѣдила, что хрупкія пьесы-мимозы сворачиваются и блекнутъ отъ прикосновенія сцены, какъ бы оно ни было чутко, бережно, умѣло. Воздушная греза не выдерживаетъ громоздкаго

реализма рампы, замираеть подъ тяжестью ея бутафоріи. Художественный театръ, при постановкъ «Синей птицы», мастерски, благородно и тонко преодолълъ огромныя техническія препятствія, создаль чудо, -- но самой сказки не было, улетучился ея аромать и смыслъ; а вивсто него былъ какой-то тріумфъ электричества, который удивляль, но и утомляль. Роскошный пирь, уготованный глазамъ, многіе покидали до конца, и невольно возникало сомнівніе, нужно ли было тратить столько усилій и ума, чтобы непремінно облечь безспорной наглядностью фантазію поэта, реализовать сказку, которая, какъ Синяя птица, линяетъ при свъть и въ шумъ театральной суеты. Метерлинкъ изгналъ тълесность изъ вещей, а театръ ее вернуль. Дътямъ души предметовъ могли присниться въ видъ тълъ, въ видъ живыхъ человъческихъ фигуръ; но усиливать сценической осязательностью дътскую пригвожденность къ наглядному и внъшнему, къ излюбленной «книжкъ съ картинками», — это и значить душу снова претворять, снова замыкать въ тъло. Мечту не надо воплощать.

Такъ въ особенности должно казаться именно Метерлинку. Въ завътной глубинъ своей върить же онъ, что міръ безплотенъ. Вся его поэзія и философія, это-геніальная попытка вырваться за предёлы осязательности, найти освобождение отъ конкретныхъ и грубыхъ узъ, тяготъющихъ надъ людскою психикой. Но, помимо другихъ, внѣ пашей воли заложенныхъ причинъ, эта эмансипація отъ физическаго начала еще и потому невозможна, что человъкъ свою вещественность любить и, покуда онъ въ мірѣ земномъ, отъ нея не хочеть отказываться. Метерлинкъ далеко не аскетъ, не отрицатель плоти, и сама природа — говорить онь — отвергаеть самоотречение во встхъ его видахъ, кромъ материнскаго; но все же матерію и міръ внъшній онъ какъ-то принижаеть и отводить имъ второстепенное и несамостоятельное значеніе; вокругь зданія вселенной матерія—только предварительные лѣса. Истинной реальностью обладаеть для него человъчество астральное. Между тъмъ игра матеріи, упоенная радость ея красокъ и звуковъ, имтеть для насъ и автопомную ценность, — человъкъ вовсе не хочетъ быть одной душою, жить на далекой звъздъ, и за пребываніе въ саду природы, въ ея Эдемъ, готовъ онъ платить даже ціною трагедіи. Но все, что есть въ насъ духовнаго, всв претворенные въ насъ лучи астральности, все наше идеальное склоняется передъ такою утонченной психической организаціей, какъ Морисъ Метерлинкъ. Ибо самая богатая доля психики, разсвянной въ міровыхъ пространствахъ, досталась именно ему; и если затрудняеться назвать его, какъ Шелли, cor cordium, то ужъ несомитно то, что теперь Метерлинкъ — наиболће духовное существо на свътъ, намъстникъ Психеи, душа душъ.

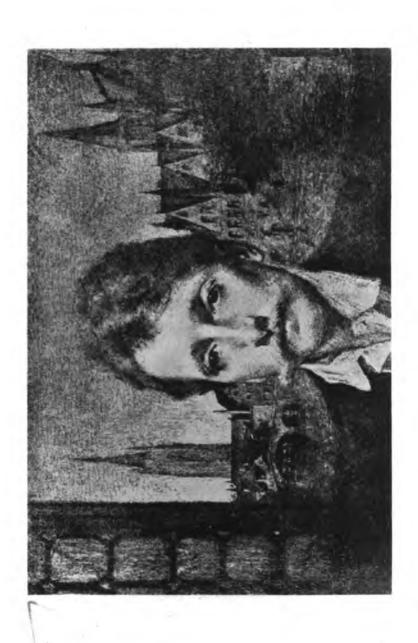
ЖОРЖЪ РОДЕНБАХЪ.

(Навросокъ).

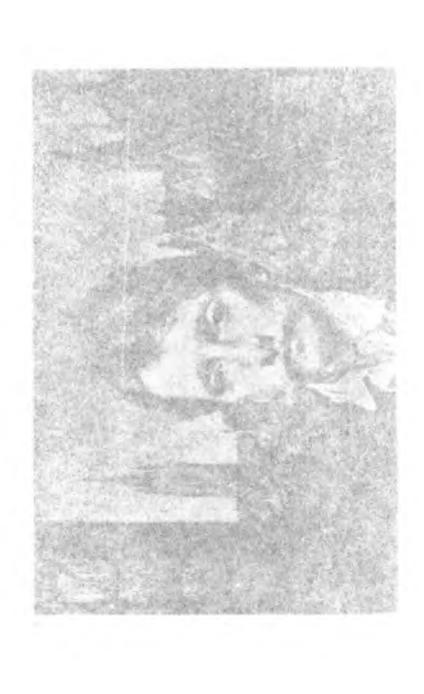


Поэзія Роденбаха не богата мотивами; но самая однотонность ея напъва дъйствуетъ какъ богослужение, какъ сосредоточенная молитва. Подобно своему соплеменнику Метерлинку, онъ прежде всего не дълить міра на одушевленныя и неодушевленныя тъла; онъ исповъдуетъ глубокую въру панисихизма и съ поразительной щедростью оживотворяеть и одухотворяеть все. Не ревнивый собственникъ своей души, онъ дълится ею съ вещами; онъ не можетъ спокойно дышать среди бездушнаго, пользоваться жизнью среди мертваго. Великодушіе ли это съ его стороны или простой человъческій долгъ, — какъ бы то ни было, онъ съ любовью распространяетъ свою душу на всъ предметы міра. Онъ см'єеть д'єлать это тімь больше и тімь безнаказаннъе, что ему присуще сознаніе бездонности духа. Въ своихъ стихотвореніяхъ онъ часто прославляетъ царство подводное, этотъ психическій «акваріумъ», который скрывается въ никому невъдомыхъ глубинахъ и таитъ въ себъ неизсякаемыя сокровища. Сколько души ни трать, ея никогда нельзя расточить всецъло. Есть «голубая бездна» безсознательнаго; тамъ-истинные корни души, тамъ разстилается цёлый міръ еще нерожденнаго, дремлющія возможности ума и сердца, -- причудливыя сплетенія какихъ-то духовныхъ водорослей. Изъ этого подводнаго города постоянно доносятся перезвоны колоколовъ, и никакое путешествіе вокругъ свъта не раскроетъ намъ такихъ пейзажей, сценъ и картинъ, какъ изученіе нашей собственной личности. «Тучки небесныя, в'ячные странники», или какъ ихъ называетъ Роденбахъ, космические «цыгане сумерекъ», манятъ насъ, и хочется дали, передвиженія, новыхъ горизонтовъ. Но это - миражъ: никуда облака не унесутъ насъ и не покажутъ лучшаго, чемъ нашъ внутренній домъ, безпредъльная храмина души. Иногда, впрочемъ, у поэта зарождается тяжелое сомнъніе, не коварны ли душевныя воды и дъйствительно ли вознаградять онъ пловца, который ринется въ ихъ таинственную пучину. Можно тамъ-употребляя любимый образъ Роденбаха-найти кубокъ Оульскаго царя (его ищуть и все мечтатели,





THE RESIDENCE OF CAMES CONTRACTOR to so a manay Mesopaenay, one one of a same continued a very management with and in supp подраждением и съ поражительной подпостав с пар. return comp. 1991. He politikanië cubra sentari e comp. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE тал жизими креде монтоаго. Гостовные заоменристрациять пакот дунку нь неat the state of the boulets a time of compatible designmental again for the и зикогда педван расточить манейта же потольного таму починивые корио даниуданный финотопы вынач то подводниго гором постав woodboxees to limitation instrumentary and allowed не опоска пейникей, опоска и партите one concern Lyana acceptant TV Assenter Torenta : Design through filling to be from a consider. and a second binary as a second-Transcent Transcent transport to the second section of the second secon



и всё лебеди міра), но можно вернуться оттуда и съ пустыми руками. Однако въ большой душё недолго живетъ малодушіе, и півець білыхъ лебедей послів минуты раздумья снова вірить въ неисчерпаемость своего акваріума и духовностью осіняеть все міровое содержаніе.

И въ особенности, въ первую очередь, одущевилъ Роденбахъ свой любимый городъ, свой «мертвый Брюгге». Онъ сдёлаль его смерть живою. Когда-то въ Брюгге было шумно, громко, суетливо, приходили и уходили корабли,—а теперь этотъ «городъ-вдовецъ» представляеть собою тихій оазись въ пустынь цивилизаціи. Другіе, огромные города, столицы свёта, нервной толпою снёшили, торопились впередъ, къ шуму и торжищу, и они пронеслись мимо отставшаго города, и вотъ онъ побледнель, умолкъ, посторонился. Море отодвинулось отъ него. И неподвижно дремлють его каналы; задумчиво смотрятся въ нихъ башни готическихъ церквей, мечтательно плавають бёлые и черные лебеди по лопу спокойпыхъ водъ, -- на всемъ застыла необъятная тишина. Ея какъ бы не прерываеть, съ нею сливается въчная бесъда колоколенъ. Безшумно скользять монахи и монахини, — точно каріатиды, которыя сошли съ молчаливыхъ зданій монастыря. Надъ Брюгге воеть вътеръ, и въ немъ-всв человъческие вопли, стоны, вздохи; скорбь, собранная въ городъ, растворяется тамъ, наверху, въ слезы дождя. Илачутъ старые, больные дома; въ воздухъ разлита неуловимая печаль; безмолвно звучать погребальные хоралы. И вы не знаете, что это за облако встаетъ надъ городомъ-туманъ или ладанъ? Върнъе-туманъ. И какая-то міровая Пенелопа, со своей «прялкой тумановъ», все ткетъ и ткетъ изъ нихъ покрывало для мертваго Брюгге. Передъ вами— «музей Смерти»; даже проповедникъ въ церкви говорить только о ней, и кажется, такъ близка она къ нему, что онъ сейчасъ сорветъ ея «черныя випоградныя кисти». Но во всемъ этомъ есть своя красота, -- красота грусти и воспоминапія. Роденбахъ лирически поетъ ее, эту жизнь потуски вшую, ослабленную, написанную не въ краскахъ, а нъжныхъ оттънкахъ. Онъ признаетъ полутоны, безшумное, матовое -- божественность бользни, и есть для него благородство въ томъ, что поблекло, что не кичится яркостью, что не шумить о себъ ни звуками, ни цвътами. Роденбахъ, самъ грустящій, думаеть, что природа вообще печальна и все человічество носить одежду траурную; оттого если влюбленные ощущають счастье, то вокругъ нихъ сіяетъ ореолъ, и это дерзкое сіяніе, проръзывающее тьму, это свътлое среди чернаго, служитъ мишенью для неотвратимыхъ стрълъ судьбы; «счастье бросается въ глаза», горе счастью! Воть и бабочки стремятся на огонь лампы и погибають въ немъ: это мракъ, своею паутиной заткавшій всв углы,

отомщаетъ маленькимъ летуньямъ за то, что онѣ хотѣли его покинуть, что больше, чѣмъ его черные фіалы, полюбили они солнце, возрожденное въ лампахъ. Вотъ почему и печальный Брюгге болѣе соотвѣтствуетъ сущности бытія, чѣмъ радостныя столицы; «городъкладбище», это—самый подлинный городъ на свѣтѣ. Какъ и для нашего Огарева, жизнь для Роденбаха начинается лишь тогда, когда она умираетъ. На смерть онъ отвѣчаетъ жизнью.

И такъ онъ принялъ въ свое сердце впечатлѣнія отъ умирающихъ домовъ, отъ старинныхъ стѣнъ и улицъ; онъ въ свою душу воспринялъ душу города, сдѣлалъ изъ него религію. Городъ для него—храмъ. Оглашаемый перекличкой колоколенъ, Брюгге именно этотъ «вечерній звонъ, вечерній звонъ» претворяетъ въ нѣчто космическое. Для поэта колокольный звонъ, это—голосъ міра, его мистическая рѣчь. Колокола, живыя урны звуковъ, сзываютъ міръ на молитву, на мессу. Каждый изъ нихъ—«букетъ звуковъ, бросаемый на прощаніе уходящему времени», и всѣ вмѣстѣ поютъ они вѣчную панихиду, хоронятъ наше недолговѣчное время, а съ нимъ и всѣ паши радости, всѣ надежды и упованія.

Последній католикъ, съ душою-церковью, Роденбахъ, однако, не въ колокольномъ хоръ, не въ пышномъ ритуалъ богослуженія находить свою высшую отраду: его стихія—тишина, «царство молчанія»; ему нужно таинственное безмолвіе внутренняго міра: «мнъ больно отъ шума, --- закройте ставни». И оттого, когда съ улиць Брюгге онъ приходить въ свои комнаты, въ свои тихія обители, гдв можно закрыть ставни, опустить гардины, онъ чувствуетъ себя въ нихъ поистинъ дома и по своему обыкновенію братски дълится съ ними своей бездонной душою. И сейчасъ же оживаеть одухотворенное человъческое жилище, и кисейныя занавъски у оконъ превращаются въ бълыхъ причастницъ, которыя прильнули къ стекламъ и впивають въ себя сіяніе дуны; и вещи издають неясный вздохь; и оть самаго легкаго прикосновенія звенить, звенить хрустальная мимоза люстры, это дерево, на которомъ растуть эхо; и заботливая ласка воды старается продлить жизнь въ букетъ еще на одинъ день, а затъмъ они уснутъ, умрутъ; и одиноко задумалось грустное піанино и ждеть, чтобы его приласкали чуждыя перстней, безупречныя блёдпыя руки молодой дёвушки, чтобы эти лиліи пробудили тіхъ півучихъ лебедей, которые живуть въ его бълыхъ и черныхъ клавишахъ; и зеркало, душа котораго приходится сестрою душт комнаты, -- зеркало мечтаеть, вспоминая о лицахъ предковъ, которыя некогда смотрелись въ его глубину и въ ней искали своего отраженія, и въ ней теперь невозвратимо потонули.

Всѣ эти олицетворенія—не забава для Роденбаха, не поэтическая игрушка; онъ дъйствительно каждое явление возводить на высоту символа, онъ дъйствительно чувствуеть душу и волю вещей, переносить на нихъ ту жизнь, которая разлита для него въ стихіяхъ. Особенно любить онъ воду. Она сама согласилась стать безцвътной, чтобы лучше отражался въ ней ея верховный супругъдалекое небо. Мудрое есть въ ней; она не только-гамакъ для птицъ, клавіатура для камыша. Вода, гробница Офеліи, утвшительница многихъ, страдальцамъ протягивающая свои чистыя объятія, --- она тревожно спить, нервно-больная, и отъ боли приходить въ содрогание нагота ея зеркальной поверхности; ей грезятся моря и океаны, -- однако мечты ея никто не постигъ: она топитъ все, дерзающее на это; по, отражая, повторяя вещи, она придаетъ имъ безконечность, пріобщаеть ихъ къ вѣчности; вода сверхчувственна, и не потому ли тоскуеть она, когда ее заключають въ неволю искусственнаго водоема, не потому ли «твердять элегіи фонтаны безпрерывно», — тъ элегіи, которыя давно уже услышаль и нашь Пушкинъ у своего неизсякающаго Бахчисарайскаго фонтана, «журчить во мраморъ вода и каплеть хладными слезами, не умолкая никогла»?...

Въ этой тихой жизни, въ этой жизни тишины проходять медленною вереницей наши дни и ночи. И въ тв часы, когда сердце невольно превращаеть все это тихое въ траурное, — въ такіе скорбные часы кажется, будто весь мірь тоскуєть въ неизлічимомъ недугъ, и луна-блъдная больная, и небо-огромный госпиталь безконечности, и облака запаслись надолго слезами для человъческихъ глазъ. Есть у этихъ глазъ свое безсмертіе: въ нихъ отражается все, что было, — въ нихъ запечатлёлись образы прежняго, всѣ души, всѣ существа, которыя умчаль съ собою неудержимый потокъ времени. Но побъждаетъ оно. Часы сыплють время— «въ пустынъ скуки немного лишняго песку»; они отсчитываютъ пульсь предметовъ. Спокойное лицо времени окружають часы, и по ихъ циферблату перебъгаетъ незримый паукъ, и отъ лапокъ его какими-то рябинами покрываются наши лица и души. Часы бъгутъ, перебъгаетъ невидимый наукъ, и «завтра» приноситъ вчерашнюю тоску, и больно дёлаеть намъ «уколь минуть, нанизанный тикъ-такъ». Мистика часовъ становится еще более роковой и глубокой отъ того, что среди людей они всё должны были бы идти ровно, показывать одно и то же время, -- но этого нътъ: не сходятся человъческие времена и сроки, и мы живемъ по-разному, п есть великое несовпадение рождений и смертей, трагическая несвоевременность жизненныхъ событій. Вотъ почему одинь изъ героевъ Родепбаха сталъ коллекціонеромъ часовъ, устроилъ себѣ изъ нихъ точно «улей времени» и сосредоточился на мечтѣ о томъ, чтобы привести ихъ всѣ къ согласію, заставить ихъ сердца биться въ ладъ, осуществить благодатную одновременность. Но опять и опять: не знаютъ гармоніи часы внѣшніе и часы внутренніе, наши сердца, и потому лишь на порогѣ смерти, въ бреду послѣднихъ мгновеній, коллекціонеръ къ радости своей услышалъ дружный звонъ всѣхъ міровыхъ часовъ, и онъ умеръ съ восторженнымъ кликомъ на устахъ: «они прозвонили!» Мечта осуществляется не въ жизни, а въ смерти. Музыка міра, стройный хоръ его колоколовъ, его часовъ, слышится уже не на землѣ, а въ преддверіи небесъ.

И мечта самого Роденбаха была неосуществима. Его душа слишкомъ изстрадалась на дорогахъ реальности, и оттого онъ видоизмѣняеть Господнюю молитву и взываеть къ Богу: грезу мою насущную даждь ми днесь (O, Seigneur, donnez moi mon Rêve quotidien). Онъ питается грезами. И то, о чемъ онъ грезитъ, это – бълое. Его пъвецъ, его молитвенникъ, онъ создалъ въ своихъ произведеніяхъ ослівнительную симфонію білаго, аканисть ему. Оно сіяло передъ его очарованными глазами, какъ синтезъ мірозданья, цвътъ цвътовъ, душа свъта. Въ противоположность Метерлинку. Синяя птица была бы для него птица бълая. Средь міра пестраго и шумнаго, среди жизни, порою нестерпимо блещущей своими крикливыми красками, Роденбахъ, задумчивый и одинокій, рыцарь чистоты, томится по своей прекрасной бѣлой дамѣ. Монахини въ бѣлоснѣжныхъ покрывалахъ, лиліи безукоризненныя, бѣлый міръ монастырскаго бёлья, тонкія кружева эпитрахилей, нёжныя ткани сіяющихъ стихарей, и молодыя причастницы, одётыя въ бёлое, маленькія солнца непорочности,—все это рождаеть въ немъ священный экстазъ, поэтическое безуміе бѣлаго. Онъ не находитъ словъ, чтобы достойно воспъть бълизну, хотя слова и картины, воздушныя и легкія, какъ сонъ, будто потерявшія всякій слѣдъ матеріальности, неистощимо льются и растуть изъ-подъ его волшебнаго пера. Печаль о бёломъ, чеховская тоска по бёлымъ цвётамъ вишневаго сада, такъ естественна и понятна, потому что въ нашей многоцевтной жизни бълое недостижимо или недолговъчно. Не только окружающее, но и мы сами его теряемъ; и, можетъ быть, Роденбахъ не ценилъ бы его такъ высоко, не вспоминалъ бы о немъ такъ настойчиво, если бы самъ онъ не былъ уже покинутъ бѣлымъ. Гёте сказалъ: «Die Sonne duldet kein Weisses» — солнце не терпитъ ничего бѣлаго. Солнце расцвѣчиваеть, и огонь, который оно зажигаетъ въ крови, въ пашей красной крови, это—непобъдимый соперникъ бълизны. Въ сладострастіи любовнаго порыва такъ ярко опереніе птицъ, и всёми цвётами переливаются цвёты, безстыдно обнаженные: отъ страстнаго дыханія міровой груди затуманивается бѣлое. Вотъ почему Роденбахъ ищетъ его не въ кипучей сутолокъ промышленнаго дня, а въ безмолвіи монастырей, гдф молодыя дфвушки ревниво прячуть свою бълизну, спасають ее оть гръха и пламени. Цірломудренныя жрицы, незапятнанныя весталки, оні свято поддерживають тихое горъне восковыхъ свъчей, которыя огненными устами поють отходную самимъ себъ. Въ тишинъ своихъ чистыхъ келій пальцами фей плетуть монахини драгоцівнныя бельгійскія кружева; узоры инея на окнахъ, тончайшую паутину людскихъ думъ, «корию міра», - все это претворяють онв въ былыя прозрачныя кружева, въ эти «вышитые псалмы», — и на свои серебряныя нити разобрана вселенияя. Бълыя души дъвственницъ воплощаются въ гипюровыя покрывала, —чистое чистому! Отъ нихъ далеки пышныя, дерзкія розы, и только библейскія лиліи и ненюфары, раступція на водъ, отрадны свътлому сердцу этихъ человьческихъ лилій и ландышей. Въчныя невъсты Христа, одного Христа, онъ зато — сестры для всякаго, кто назоветь себя ихъ братомъ. Сестры всёхъ, сестры міра, онё посвятили себя божественной бізлизнъ.

Но и туда, на эти дѣвственныя вершины, въ это благоухапное бълое царство, проникаетъ черное, проникаетъ красное, и тогда страдають былыя души монахинь, и тають нравственныя Снытурочки. Темное крыло смерти мрачить ихъ лучезарную обитель, и лебеди, испуганные смертью, трепещуть и поють свою последнюю, свою лебединую пъснь. Или красный отблескъ земной любви загорается на бълизнъ этихъ головныхъ уборовъ, которая держить въ своемъ плену черныя волны никемъ неприласканныхъ, никъмъ неизмятыхъ волосъ. Правда, опъ умъютъ быть героинями, эти скромныя подвижницы. Одна изъ нихъ умерла. потому что, заболѣвъ, она стъснялась показать себя врачу: она не хотела, чтобы онъ приникъ своимъ лицомъ, своимъ слухомъ къ ея дъвственной груди. Другая долго шила подвънечныя платья чужимъ невъстамъ, воздвигала бълые чертоги чужому счастью. — и вотъ ей снится, будто она сама идеть къ вънцу; она одъвается въ бълое платье; черные башмаки ея превращаются въ бѣлыя атласныя туфельки, и хочетъ она покрыть себя кружевной фатой, которую соткалъ морозъ на окнъ ея кельи; но нельзя сорватъ фаты съ окна, — и отъ усилія просыпается монахиня; тогда, стыдясь своего гръшнаго сновидънія, безропотно надъваеть она черные тяжелые башмаки и, окутанная не фатою невъсты, а темнотою ночи, идетъ въ церковь, чтобы молитвой вернуть смущенную бълизну своей души. А другая монахиня такъ и помъшалась на томъ, что она недостаточно бѣла, недостаточно чиста; и вотъ она безпрестанно держитъ въ рукѣ маленькій кружевной платокъ и стряхиваетъ съ себя невидимыя пылинки, безконечно сыплющіяся «изъ несочницы вѣковъ», съ этихъ «песчаныхъ дюнъ» бытія, отъ которыхъ пылятся платья и души, отъ которыхъ пылятся платья и души, отъ которыхъ маркимъ и хрупкимъ дѣлается желанный бѣлый цвѣтъ.

Фатально нельзя уйти изъ дольняго міра, стать бълымъ, стать «выше жизни», какъ это хотълъ Борлють, герой роденбаховскаго романа «Le carilloneur». Не только земля, но и высота имъетъ свое притяженіе, и оттого на высокую башню, въ «житницу молчанія», въ царство колоколовъ поднялся Борлють, и ему долго казалось, что тамъ онъ властвуетъ надъ жизнью. Но среди колоколовъ былъ одинъ, тревожащій самого Роденбаха, - колоколъ Сладострастія; онъ былъ украшенъ барельефами грфшныхъ сценъ: даже въ сосъдство неба, въ готическую горнюю обитель мечты проникло иламя земного соблазна. И побъдиль этоть страшный колоколь. Борлють опустился на землю, и изъ двухъ женщинъ его «слъпыя руки» протянулись не къ б'елой, чистой Годеливе, къ этой голубкв послв потопа, къ ней, нашедшей кубокъ Оульскаго царя и наполнившей его слезами и грезами, а къ ея сестръ Барбаръ, у которой были алыя уста, опьяняющій цвётокъ мака, пряный перецъ, и въ тълъ которой жила Испанія съ кострами ея аутодафе. Борлють погибь. Есть женщины, которыя хотять и могуть стать въ нашей жизни только «шелестомъ платья», и есть другія, которыя эту жизнь сжигають. И мужчина, покинутый былымь, стремится къ огню, который его испепелитъ. Во всякомъ случав, каждый «находится подъ вліяніемъ женщины, какъ море подъ вліяніемъ луны, и женщина управляеть нами, сообразуясь съ линіями своей руки».

Эти липіи руки вообще занимають Роденбаха. Онъ посвятиль имъ прекрасные и проникновенные стихи. Онъ — наша прирожденная географія, темныя дороги, которыя пришли изъ въчности. Странныя арабески судьбы, переплетающіеся корни бытія, онъ образують чернокнижіе, котораго нельзя разгадать. Заранье уже составленъ рисунокъ нашей жизни, — можно ли поэтому избъгнуть своей судьбы?

И линіи своей руки жепщина властно переплетаеть съ нашими линіями. Поб'єдитъ страстная и грѣшная Барбара. Если же соединяется съ нами женщина свѣтлая, тихая жена, мы часто не зам'єчаемъ ея высшей красоты. Мы жалуемся на нее, что она не понимаетъ искусства, равнодушна къ морю и звѣздамъ; но вѣдь она сама — поэзія, и только оттого ея не затрогиваеть поэзія внѣшняя. Развѣ природа любуется природой, развѣ ее восхищаеть красота ея пейзажей? И лишь когда умреть свѣтлая женщина, тихая жена, вдовець пойметь, что онь въ ней потеряль, и тогда онь проведеть своими устами по всей внутренности ея гроба, чтобы она покоилась въ вѣчности не на матеріи, а на его поцѣлуяхъ. Потомъ ее похоронять, и колокола бросять на ея могилу свои «желѣзные цвѣты, мертвый пепель умершихъ лѣтъ». И вдовець останется одинъ.

Это одиночество для Роденбаха не случайно, не такая участь, которой можно избъжать. Бълое измъняеть, женщина убиваеть или умираетъ, и человъкъ непремънно гибнетъ или остается одинъ. Впрочемь, это относится лишь къ дъйствительной человъческой душъ, а не къ тъмъ людямъ, которые въ шумъ и суетъ искажають свой истинный обликъ и превращаются въ живые механизмы. Они не одиноки; они обручились съ толпою. Вотъ они сидятъ вмъстъ и курять свои фламандскія трубки, и «слъдять за этими завитками дыма, за этими пресмыкающимися изъ легкаго газа, которыя извиваются и умирають на потолкъ». Дымъ символически отдъляеть ихъ отъ одинокаго избранника. Ржавчина покрыла ихъ умы, и они образують собою нравственную провинцію. Когда-то, можеть быть, и они были исполнены высокаго духа, но теперь они ему измѣнили и продали шпагу свою, пошли въ услуженіе мѣщанству и дёловитости. Толпа любитъ модное и послёднее. Она равнодушна къ благородной старинъ и мертвый Брюгге, красоту его живой смерти, готова облечь въ новый стиль, проявить историческую неблагодарность къ прошлому и обратить этотъ городъ въ «разстригу печали», ярмарку суеты. У людей нътъ творчества, а человъкъ, одинокій человъкъ-продолжатель Бога, въчный творецъ. Человъкъ-художникъ, священникъ искусства.

Но людская масса, привязанная къ пошлому, не нуждается въ искусствѣ, и это—новая причина одиночества. Толиѣ не нуженъ поэтъ. Онъ драгоцѣненъ, опъ слишкомъ дорогъ: толиѣ нужно дешевое. Искусство—въ изгнаніи, т.-е. душа—въ изгнаніи. И художникъ одиноко перебираетъ четки своихъ мыслей и въ общее міровое кружево тихо вплетаетъ свою особенную нить. Ему тяжко его одиночество, потому что надо, чтобы кто-нибудь слышалъ. Душа—точно зеркало; но зеркало лишь тогда исполняетъ свое назначеніе, осуществляетъ свой смыслъ, когда кто-нибудь смотрится въ пего.

Пѣвецъ и страдалецъ одиночества, поэтъ смерти и монастыря, Роденбахъ умеръ въ рождественскій сочельникъ подъ звонъ колоколовъ. Это такъ символично: недаромъ онъ и при жизни христіанизировалъ природу и осв'єтилъ католическій ритуалъ sub specie aeternitatis и sub specie Naturae; недаромъ онъ такъ чувствовалъ воскресенье,—и въ этотъ день иною казалась ему вся вселенная.

Смерть, говориль онъ,—перемѣна жилища. Онъ самъ перемѣниль свое жилище, но стезѣ молитвы ушелъ изъ міра, который былъ для него церковью съ органомъ и хоромъ бѣлыхъ монахинь. Въ наши дни, когда человѣкъ стыдится чистоты и не стыдится своихъ грѣшныхъ побужденій, раскрывая ихъ въ образахъ и краскахъ,—въ наши наглые дни съ особенной плѣнительностью зоветъ къ себѣ эта меланхолическая тихая душа, которая опоздала,—душа послѣдняго католика, любовница бѣлаго. Правильно зовутъ его: лебедь молодой Бельгіи. Все бѣлое въ сердцѣ и въ жизни имѣетъ его своимъ патрономъ и поэтомъ. Ибо онъ—вѣрный богомолецъ и паладинъ чистоты, тоскующій женихъ прекрасной Невѣсты, бѣлой Невѣсты міра.



ОСКАРЪ УАЙЛЬДЪ.







Разнообразны человъческіе дарованія и таланты, и вст ихъ можно разсматривать какъ отображенія того вседаровитаго существа, которое называется Богомъ. Міръ, это—художественное про-изведеніе, и Богъ, это — Талантъ. Великій авторъ вселенной, ея вездъсущій геній, отъ себя, отъ своихъ щедротъ удъляетъ избраннымъ людямъ большія или меньшія доли; и достаточно одной такой золотой крупинки, чтобы одаренный ею сдълался богатъ и предсталъ передъ нами какъ одушевленная частица міровой геніальности, какъ сопричастный творчеству перваго Художника.

Именно потому, что божество неисчерпаемо, не изсякаетъ и родникъ людского искусства. Столько звъздъ мысли и красоты загорались уже на горизонтъ исторіи, освъщая ночь нашей обыденной жизни (таланты озаряють и объясняють мірь), —и все же безпрестанно открываются новыя и новыя возможности, другія сочетанія и созв'єздія разума и фантазіи. Челов'єчество далеко еще не воплотило и вовъки не воплотить всъхъ типовъ генія, всъхъ этихъ платоновыхъ идей, которыя незримо ръють въ мірозданіи. Человьчества еще нътъ. Оно осуществило немногое, оно не только не сказало своего носледняго слова, быть можеть, оно говорить лишь свои нервыя, робкія слова. Воть почему для нась такъ интересень и желаненъ всякій новый обликъ таланта, всякая не виданная раньше форма и комбинація благородныхъ человъческихъ способностей; вотъ почему было бы странно и поверхностно въ искусствъ, которое по своей природъ едино и въчно, проводить какія-то пограничныя линіи, ревниво д'влить его на старое и новое, на стили и направленія, молиться однимъ лишь прежнимъ богамъ, забывая, что всв они-отъ Бога одного. Много обителей въ домъ искусства и міра, въ очарованномъ замкъ Бога-Таланта, и каждая изъ нихъ прекрасна своей особой, неповторяемой красотою, и ни одна не оспариваетъ другой.

Въ преддверіе одной изъ такихъ храминъ да будетъ намъ позволено ввести читателей,—напомнить имъ въ общихъ чертахъ не-

обычный и притягательный образъ Оскара Уайльда, то удивительное явленіе духа, какое представляеть собою отверженный англійскій писатель.

Онъ мелькнулъ по жизни и литературъ, какъ сверкающій человъческій метеоръ, какъ падучая звъзда. Мелькнулъ и погасъ. «Отъ въчности славы перешель я къ въчности безславія»; свое осла тельное имя опустиль онь въ смрадъ и тьму. «Король жиз онъ дълаль изъ нея нъчто яркое и пышное, осыпаль ее алмаз властелинъ роскоши и рабъ ея, онъ задавалъ эти неслыханны. трапезы, когда «столы были пурпурны отъ розъ и вина». Онъ празднично и праздно жилъ. Изысканный, утонченный, чрезмврно культурный, онъ не хотёлъ, чтобы напрасно пропадали мгновенья, и каждое онъ пиль до дна, и каждое потомъ разбивалъ вдребезги. Онъ продолжилъ въ міръ традицію Петронія. Было для него заманчиво слыть симпозіархомъ жизни; и воть длинный, блестящій рядъ пировъ, гдъ искрились вина и мысли. Онъ не хотълъ творить сосредоточенно, уединенно и лучшія силы духа отдаваль не своимъ произведеніямъ, а своимъ развлеченіямъ. Изъ жизни создавалъ онъ феерію. Свою мудрость онъ распыляль на афоризмы и парадоксы: лился каскадъ импровизацій, сказокъ, и много должны были его упрашивать друзья, чтобы онъ собраль всю эту брилліантовую пыль и записаль свои вдохновенія. «Гуляка праздный», но не простой, расточитель своихъ дней и своего таланта, онъ имёлъ умъ тонкій и колющій, какъ стилеть, и оправляль его въ драгоценности вымысла и поэзіи. Остроумнъйшій изъ остроумныхъ, насмѣшливый, полный скептицизма, онъ тешилъ себя темъ, что деталь возводиль въ существенное, а существенное-въ деталь; онъ ставилъ манеры выше морали, вкусъ выше религіи, и часами обдумываль бутоньерку для своего сюртука. Стоя на противоположномъ полюсъ отъ того, что Гете называль des Lebens ernstes Führen, онъ шутя опрокидываль истину и благоговъйно поклонялся предразсудку. Онъ велъ, быть можеть, самую недостойную изъ человъческихъ игрь, -- онъ играль въ самого себя. И часто даже не актеромъ былъ онъ, а живою декораціей. Если бы его упрекнули въ неестественности, онъ отвътилъ бы, что естественность - поза, и притомъ самая раздражающая. И во всякомъ случав, въ нашемъ мірв такъ смешались естественное и мнимое, положение и поза, что трудно въ этомъ разобраться, и оттого Уайльдъ не признавалъ разницы между лицомъ и личиной.

Такъ прошелъ онъ, съ орхидеей въ петлицѣ, большую часть своей небольшой жизни. «Жемчугъ души своей я бросилъ въ кубокъ вина. Подъ звуки флейтъ я шествовалъ дорогой, усыпанной цвѣтами. Я питался медомъ». И вдругъ исчезаетъ вся эта велико-

лѣпная картина, и Оскаръ Уайльдъ лежитъ у ногъ толпы, почти растоптанный и презираемый, и ничего не осталось отъ недавняго arbiter elegantiarum. Безуміе извращенныхъ желаній привело его на скамью подсудимыхъ, и онъ выслушалъ тяжкій приговоръ (а самъ онъ признавалъ, что каждый приговоръ — смертный). Затѣмъ—одиночная каторжная тюрьма, и своими аристократическими, холеными руками онъ до крови, до боли щиплетъ пеньку; потомъ—нищета, всѣ отворачиваются отъ него, никто о немъ не говоритъ, онъ живетъ подъ чужимъ именемъ, онъ умираетъ въ изгнаніи, на чужбинѣ, и нѣсколько человѣкъ въ Парижѣ провожаютъ его гробъ, но до кладбища не доходятъ. Такъ въ полномъ одиночествѣ кончилъ свои дни исключительный любитель людей, прирожденный собесѣдникъ и обаятельный разсказчикъ,—геній разговора.

Жестокая шутливость жизни сделала такъ, что въ объятіяхъ уродливой бъдности, пошлаго и безобразнаго, умеръ тотъ, кто по преимуществу жилъ красотою, ею дышалъ и упивался. Безмърный эстетизмъ — основная сущность его духа. Правда, его нельзя назвать огнепоклонникомъ прекраснаго, монотеистомъ его, потому что именно паноса Уайльду недоставало и очага центральнаго не было въ немъ. Не энтузіасть, не фанатикъ, Оскаръ Уайльдъ весь — умный, безъ налета той высокой и святой наивности, которая необходима истинному художнику; разсказы и стихи его слишкомъ пронизаны блестящей сталью интеллектуальности, для того чтобы можно было ихъ признать явленіемъ чистаго и вдохновеннаго искусства. Но, хотя бы и въ этой, раціоналистической, плоскости, на ряду съ красотою онъ не признавалъ ничего другого и въ нее претворялъ все. Красота была для него не одной лишь гранью мірового цёлаго, а именно этимъ целымъ, и, ужъ, разумется, не смотрелъ онъ на нее просто какъ на украшеніе или виньетку въ серьезной книгъ бытія. Есть иконоборцы и есть иконопочитатели, — къ посл'єднимъ всецьло принадлежаль Уайльдь. Образь, икона, изображение были для него единственной святыней; въ реальности же онъ долго святого не умаль находить. И въ своей эстетической исключительности, въ своемъ обожествлении красоты онъ славилъ ее не въ природъ, а въ искусствъ.

Къ природъ онъ былъ равнодушенъ, и если цънилъ ее, то лишь какъ иллюстрацію, — «въ сумеркахъ она становится чудеснымъ возбудителемъ и не лишена прелести, хотя, быть можетъ, ея главное назначеніе въ томъ, чтобы иллюстрировать цитаты изъ поэтовъ». Природа — великій намекъ, не болье. Истинная красота живетъ не въ ней, расплывчатой, несжатой, несовершенной. Природа растянута. Кромъ того, она груба и демократична, и въ сущности она —

громадная фабрика, гдъ почти все производится гуртомъ, во множествъ экземнияровъ, и какъ ни хороши нарциссы, но ихъ такъ много, что это въ концъ-концовъ оскорбляетъ эстетическое чувство. Природа повторяется; одна весна-точный сколокъ съ другой. Между темъ искусство аристократично. Его созданія неповторяемы, одиноки; каждое изъ нихъ--unicum въ нетлѣнномъ музеѣ эстетики. А это очень важно, чтобы всего въ мірѣ было по одному, чтобы не было повтореній, удвоеній, воспроизведеній: надо бы изъ міра изгнать всякое два; книгопечатаніе, могь бы сказать Уайльдь, грандіозная пошлость. Наконецъ, природа связана, искусство свободно; природа заключена въ колодки своихъ законовъ, а искусство «можетъ заставить миндальныя деревья цвёсти зимой и посылаетъ снътъ на спълыя нивы; оно знаетъ такіе цвъты, которые никогда не видали сада, такихъ птицъ, которыя никогда не жили въ чащё лъса». Вообще, природа не наша мать, а наше создание. Это мы воззвали ее къ жизни-въ искусствъ.

Вольное искусство, подножіемъ котораго служить природа, обитаетъ не только на высотахъ идеальнаго творчества: оно проникаеть и въ нашу обыденность и обстановку, благодатны его ежедневныя прикосновенія, - прекрасны вещи. Оскаръ Уайльдъ именно въ нихъ влюбленъ, онъ знаетъ какое-то сладострастіе вещи, и на каждомъ шагу въ его произведеніяхъ звучать поэмы вещей. Ковры и ткани, оправы изъ драгоценныхъ камней, редкія опахала, художественные переплеты, мебель и вазы, покрывала и вышивки-все это восторженно замвчаеть Уайльдъ, все это ласкаеть его избалованные и требовательные глаза. Вещи желанны для него въ ихъ благородномъ и побъдоносномъ состязаніи съ природой, --- всь эти чудныя подълки благословенныхъ человъческихъ рукъ. Наша рукахудожница, и Уайльдъ готовъ бы молиться ей, готовъ бы воздвигнуть храмъ Богинъ-Рукъ. Вещами, отблесками искусства, надо окружить себя; надо ежедневность и комнаты, и самую утварьвсе сдълать прекраснымъ, чтобы красота чаровала взоры, напояла душу, ея постоянно взыскующую. Истинная тайна міра—не въ загадочномъ и невъдомомъ, а въ прекрасной конкретности. Вещь являетъ намъ въчность. Видимое, а не умопостигаемое, сдъланное, а не мистическое, -- настоящая субстанція бытія. Надо испов'ядовать Евангеліе видимаго. Чувственность не обманываеть: эстетически угодите ощущеніямъ, и они приведуть вась къ истинъ. Красота умна. Темно мірозданіе безъ нея. Только солнце золотить воздушныя пылинки, безъ него невидимыя и ничтожныя; сама по себъ жизнь-пустая зала: въ червонное золото превращаетъ жалкую пыль міра солнце красоты.

И потому Уайльдъ, въ своемъ пренебреженіи къ природѣ, большее въ ней сравниваетъ съ меньшимъ—закатное небо съ увядшей розой или съ хвостомъ чудовищнаго павлина. И потому чаще у него сравненія природы съ вещами, чѣмъ вещей съ природой. «Огромная люстра пылаетъ, какъ чудовищная георгина съ огненными лепестками», — но болѣе типично для нашего писателя, что луна, это—серебряный щитъ, облака, это—спутанные мотки бѣлаго шелку (онъ какъ бы дѣлаетъ честь облакамъ, сравнивая ихъ съ шелкомъ), и нѣтъ большей похвалы человѣку, нежели сказать, что онъ похожъ на прекрасную вещь, на статую изъ слоновой кости. Главное, самое важное въ японцахъ то, что они—нефритоликіе. Вообще, природа для Уайльда—произведеніе искусства; она точно вышла изъ рукъ ювелира и Богъ, это—какой-то Бенвенуто Челлини.

Фетишизмъ Оскара Уайльда, его страстное поклоненіе прекраснымъ вещамъ, его пантеизмъ красоты несомнънно показываютъ въ немъ эллина, не іудея, --- но эллина, слишкомъ сознательно исповъдующаго свое эстетическое міросозерцаніе. В'ярнье даже, -- это уже не Эллада, а только эллинизмъ. Вначалъ было для творца «Доріана Грея» не Слово, а красота, и потому искусство первѣе жизни. Оно не только не выигрываеть отъ сходства съ последней, но и должно опасаться всякой близости къ реальному. Оттънокъ утилитаризма, хотя бы самый легкій и тонкій, это-незамолимый грахъ. Искусство тамъ и хорошо, что оно безполезно. Оно и безнравственно, поскольку его пѣлью является эмоція ради эмоціи, а не ради дёла. Великая ненужность, оно довлёеть себё, и горе ему, если оно сослужить какую-нибудь службу жизни! Не слуга своему времени художникъ потому, что настоящее въ его глазахъ нисколько не реальнее, чемъ прошлое. Все современно. Оттого «всё прекрасныя вещи современны одна другой». Есть только въчное, а ему безполезно полезное. Создать что-нибудь утилитарное значить совершить преступленіе. Мы можемъ однако простить человѣку, что онъ сдёлаль полезную вещь, лишь бы онъ не восторгался ею. И, наобороть, безполезное мы прощаемь именно потому, что его создатель, художникъ, безгранично восхищается имъ. Такъ часто говорять банальную и ложную фразу, что искусство-зеркало жизни. Какое глубокое недоразуминіе! Видь зеркало, должень быль бы возразить Уайльдъ, пассивно, зеркало — рабъ, и нътъ ничего на свътъ, что было бы покорнве его. Оно-предвлъ послушанія. Можетъ быть, именно потому, что оно-такое безмолвное зрительное эхо жизни, оно показываеть не настоящія лица: ошибается тоть, кто думаеть, будто, взглянувъ въ зеркало, онъ увидить, узнаеть самого себя. Не жизнь вліяеть на искусство, а искусство на жизнь. Она

отъ него получаетъ свое содержаніе и свою окраску. «Шопенгауэръ анализировалъ пессимизмъ, характеризующій современность. Но выдумалъ его Гамлетъ. Міръ сталъ печалепъ, потому что когда-то одна изъ маріонетокъ была меланхолична. Нигилистъ, этотъ страшный мученикъ безъ вѣры, идущій на казнь безъ энтузіазма и умирающій за то, во что онъ не въритъ,—продуктъ чисто литературный. Его изобрѣлъ Тургеневъ и дополнилъ Достоевскій... Мы только выполняемъ, съ подстрочными примѣчаніями и ненужными добавленіями, капризъ или фантазію, или творческое видѣніе великихъ романистовъ». Коричневые туманы Лондона — отъ импрессіонистовъ. Озеро, послѣ смерти Нарцисса, превратившееся изъ чаши сладкихъ водъ въ чашу горькихъ слезъ, вовсе и не знало, что онъ былъ прекрасенъ: въ его глазахъ оно, любуясь, созерцало себя, красоту свою, оно само восхищенно смотрѣлось въ Нарцисса и не знало, что смотрѣлся и онъ.

Искусство себя видить въ жизни, а не жизнь въ себъ. Законодатель быта, вдохновитель реальности, искусство однако меньше всего уподобляется последней; въ немъ главное - форма, стиль, и если художникъ не очень понятенъ и трудно выразимъ въ терминахъ реальныхъ, то это его заслуга, а не слабость. Чъмъ дальше онь оть жизни, тъмъ онь ближе къ себъ, а это - самое существенное. Въ изысканную оболочку своего произведенія онъ вкладываетъ все свое хорошее. Для жизни остаются у него принципы и предразсудки (въ глазахъ Уайльда это-одно и то же), остается здравый смысль. Какъ люди, художники неинтересны; изъ всёхъ дётей ничтожныхъ міра, быть можеть, они-самыя ничтожныя. Великій поэть, если онъ дъйствительно великъ, самое непоэтичное существо на свътъ, и нътъ никого обворожительнъе поэта плохого. Чемъ хуже его риемы, темъ живописне онъ самъ. Второразрядные сонеты дълають ихъ автора неотразимымъ. Онъ въ своей жизни раскрываеть ту поэзію, которой не въ силахъ написать. Слабый въ книгь, онъ прекрасенъ въ натурь; пишуть свою поэзію ть, кто не умъетъ ея осуществить.

Но если такъ, то жизнь не выше ли искусства? Уайльдъ былъ къ этому утвержденію ближе, чѣмъ онъ думалъ самъ; но не обладаль онъ такою внутренней синтезирующей силой, чтобы вообще подняться надъ идеей раскола между искусствомъ и жизнью и понять ихъ какъ нѣкое высшее единство. Поэтому здѣсь у него и замѣчаются характерныя колебанія и незаконченность. Онъ какъ будто—за жизнь; но только ему не нужно жизни, если она не то, что искусство. Послѣднее не должно жить только въ поэзіи или картинахъ, или музыкѣ.

Слово, это -- безсиліе Дёла; ненужны стихи безъ стихіи. Самое важное — существовать поэтично и грубый матеріаль дійствительности претворять въ красоту. «Какъ тело принимаетъ въ себя всевозможныя вещества, и среди нихъ много нечистаго и низменнаго, и превращаетъ все это въ кровь и красоту, въ лицо и глаза, въ мускулы и уста, такъ и душа имбетъ свои функціи питанія, и то, что само по себъ пошло, жестко и унизительно, можеть она обратить въ благородные порывы и страсти». Не надо только противиться душть и тому ея выявленію, которое происходить въ совиданіи и созерцаніи красоты. Отдавшись искусству, мы обрѣтаемъ себя. Въ немъ-истина, потому что въ немъ-наша индивидуальность; а ноть ничего подлинное и дороже ея. Назвать себя, быть самимъ собою, сказать въ міровомъ разговоръ именно свое слово, это для индивидуалиста-Уайльда высшее счастье и главная обязанность челов вка. Мы — неповторяемыя личности, единственные экземпляры, и каждый изъ насъ – особая страна свъта. Вообще, нельпо думать, что Богъ создаль одинъ міръ: столько міровъ, сколько людей. И эти монады, какъ у Лейбница, не имъють оконъ, не общаются между собою: мы замкнуты въ себъ, каждая истина — для одного: истина, повъданная другому, уже не интересна, -- «мысль изреченная есть ложь». Кто обращаеть въ свою въру другого, теряеть ее самъ. Всякое вліяніе безнравственно, ---къ тому же оно и безплодно. И если Уайльдъ говорить, что вліять, это значить вынимать душу изъ себя и вкладывать ее въ другого человъка, то не будеть ли духу нашего неумолимаго скептика соотвътствовать, если мы прибавимъ, что оттого вліяющіе и бездушны?...

Найти себя въ толи в челов в

Къ тому же, когда Уайльдъ утверждаетъ, что зритель, читатель, слушатель, это — скрипка, на которой полновластно играетъ художникъ, то можно его сравнение видоизмѣнитъ: въ одаренной рукѣ художника — смычокъ, но та скрипка, на которой онъ играетъ, это — мы, его слушатели, это — наша воспримчивость. Не будь ея, не было бы и художественнаго произведения. Оттого послѣднее тѣмъ больше, чѣмъ глубже и тоньше первая. Одно соотносительно другой. Эффекты искусства рождаются непремвно отъ контакта двухъ душъ — творца и того, къ кому онъ обращается. Поэтому читатель, напримвръ, можетъ вложить въ литературное произведение гораздо больше, чвмъ это сдвлалъ самъ авторъ. Художникъ въ своемъ творении посылаетъ міру вопросъ, — на него своими впечатленіями отввчаетъ зритель. И вотъ такой отввтъ, реплика міра, субъективно можетъ быть и значительнве, чвмъ самое воззвание творца. Отзвукъ богаче звука.

Воть почему Уайльдъ и придаеть необычайно большое значение художественной критикъ, и едва ли не больше всего цънитъ онъ грековъ за то, что это былъ народъ-критикъ. Это и общей умственности и культурности нашего писателя отвъчаеть, что второе онъ ставить выше перваго и критику превозносить надъ самостоятельнымъ творчествомъ. Для автора «Замысловъ» истинный критикътотъ, кто умфетъ передавать свои впечатлфнія отъ прекраснаго и кому чужое произведение является просто импульсомъ для собственнаго. Критикъ тоже творецъ. Вдохновившее его произведение «нашептываеть ему тысячи различныхь вещей, которыхь не было въ душть того, кто ваяль статую или писаль картину, или ръзаль на драгоценномъ камие». Критикъ — продолжатель. Бережно береть онъ изъ рукъ въ руки созданіе поэта и, откликаясь, претворяетъ его въ новую художественную драгоцънность. И такъ это дълается безпредально, и безъ конца тянется черезъ міръ золотая нить красоты. Гомеръ, Эсхилъ, Шекспиръ прославлены не содержаніемъ своихъ твореній, и не его являются они собственниками. Они не создавали изъ ничего: они брали готовый міровой сюжеть, преданіе, тему-и продолжали. Въ процессъ этого благодатнаго наслъдованія, этой благоговьйной передачи изъ усть въ уста, изъ духа въ духъ, критикъ играетъ даже иногда большую роль, чъмъ художникъ, потому что «гораздо труднье говорить о вещи, чьмъ сдълать ее, и не дълать ничего—самое трудное на свътъ». Художникъ, какъ бы то ни было, дъйствуетъ; критикъ же больше созерцаетъ, и въ этомъ-его преимущество и превосходство. Даже высокое действіе однократно, и Рафаэль, закончивъ Мадонну, кладетъ свою кисть. Художникъ уже свое дъло сдълалъ — и ущелъ; остается его произведеніе. Оно же — объектъ в'вчнаго созерцанія; оно, въ своей безпрерывной динамичности, рождаетъ впечатлънія безъ числа и мъры. Вообще, всякое созерцание по своей природъ безсмертно,-нътъ основанія ему кончиться: между тъмъ свершеніе, это-конецъ. Дъйствіе мертворожденно. Можно написать книгу, но нельзя ел прочесть: она бездонна и въчному подлежить воспріятію. А такъ какъ истинная культура ведеть къ преобладанію думы надъ дёломъ. то отсюда и слѣдуетъ, что воспринимающій, читатель, критикъ болѣе культуренъ, чѣмъ созидатель, писатель, художникъ (вѣдь недаромъ возмущаетъ Уайльда безстыдство людей, въ силу котораго они въ публичныхъ мѣстахъ подходятъ другъ къ другу и громкимъ голосомъ спрашиваютъ: «что вы подѣлываете?», —тогда какъ «единственный вопросъ, который цивилизованное существо кое-когда можетъ дозволить себѣ прошептать другому, —это: «что вы думаете?»).

Отвѣчая художнику, критикъ проявляеть свою личность: такъ и надо. Высшая критика, это — лѣтопись души ея автора. Критика — «единственная культурная форма автобіографіи». Если вы хотите узнать другого, раскройте себя. Чѣмъ сильнѣе, ярче и откровеннѣе, въ истолкованіи чужого созданія, обнаруживаеть критикъ свою личность, тѣмъ сильнѣе выступить образъ его вдохновителя. Другой критики, кромѣ импрессіонистской, субъективной, быть не можетъ. Пусть она будетъ объективно-несправедлива,—все равно (да и кто знаетъ, гдѣ она, эта объективность?). Если у истолкователя, комментатора, продолжателя нѣтъ художественной чуткости и силы возсозданія, онъ долженъ забросить свое безсильное перо, хотя бы онъ былъ и ученъ, и уменъ. Слѣдуетъ помнить, что умъ самъ по себѣ—великое уродство. Понять вещь, это значитъ увидѣть ея красоту, а для этого надо имѣть прекрасное въ самомъ себѣ.

Въ единый Римъ красоты ведутъ всё жизненныя дороги. Она—вёчная юность, продолжающаяся молодость. Изображенія, наши портреты не старёють, а мы, ихъ живые оригиналы, мы, человёческіе подлинники, — что дёлается съ нами!.. Жизнь подлежить смерти, —искусство безсмертпо; дёйствительное подпадаетъ безобразію и старости, —написанное молодо и прекрасно. Какими насъ захватило искусство, кисть художника, такими и остаемся мы на всю жизнь, показанные въ своей глубокой сущности. И безумную ошибку совершилъ юный Доріанъ Грей, пожелавъ старости не себё, а своему портрету. Если бы можно было всецёло перейти въ портреть, сдёлаться художественнымъ произведеніемъ, «положить себя на музыку», то этимъ была бы осуществлена великая побёда надъжизнью, и жизнь вся растворилась бы въ искусствё, вошла бы подъ священную сёнь его палладіума.

Индивидуумъ долженъ быть индивидуальностью. И вотъ искусство, это именно—самая яркая форма индивидуализма, даже единственная, какую знаетъ міръ. Только здѣсь человѣкъ—одинъ; только здѣсь онъ—самъ; только въ искусствѣ его душа—дома. Индивидуалистично и преступленіе, но — въ меньшей степени, такъ какъ утверждающій себя преступникъ все же связанъ соціальностью,

хотя бы уже въ томъ смыслъ, что онъ ее разрушаеть. Гдъ преступленіе, тамъ—два; число искусства—одно.

Искусство страшно — Уайльдъ и сравниваеть его съ преступленіемъ — страшно потому, что индивидуализмъ, который оно представляеть, неминуемо идеть къ своему расцвъту, а цвъть его — кровавый. Геній и злодъйство — двъ вещи совмъстныя. Неутолимая жажда человъческихъ желаній должна быть удовлетворена во что бы то ни стало, и въ какія бездны она ни завлекала бы насъ, будемъ идти за собою, будемъ руководиться Аріадниной нитью своихъ влеченій, такъ какъ въ нихъ-мудрость. Лучше свои пороки, чемъ чужія добродетели. Греха неть. Безобразны и преступны одни отреченія; они оставляють свой слёдь въ мозгу, и только въ мозгу и живетъ порочное, осадокъ неосуществленнаго. Лучшее средство бороться съ искушеніями, это-удовлетворять ихъ. Нельзя ставить предъла своимъ ощущеніямъ и не надо бояться упрековъ въ экзотичности и эгоизмв. Кто бранитъ другого экзотичнымъ, тотъ испытываеть «ярость гриба противъ безсмертной, восхитительной и изысканно-прекрасной орхидеи». Эгоизмъ заключается не въ томъ, что живещь какъ хочешь, а въ томъ, что требуешь, чтобы другіе жили такъ, какъ ты хочешь. «Человѣкъ, не думающій о себь, не думаеть ни о чемь. Красная роза не эгоистична, если она хочеть быть красной розой». Несомненно, что для такой безпредъльности и напряженности переживаній можеть не хватить земной жизни, и если бы Оскару Уайльду понадобилось безсмертіе, то лишь для того, чтобы продолжить страсти, какъ у Лермонтова любитъ мертвецъ, и слышится изъ могилы его неуспокоенный, ревнивый голось. Если Канту и Фихте безсмертіе нужно для того, чтобы додвлать, то Уайльду — для того, чтобы дочувствовать.

Этотъ упорный пламень страсти, эту зловѣщую сосредоточенность неумолимаго и неугасимаго желанія Уайльдъ драматизироваль въ своей «Саломев», гдв чары языка доведены до изумительнаго совершенства, гдв каждая чеканная фраза представляеть собою нвчто самостоятельное, особую сферу красоты, и всв вмвств образують гармонію сферъ. Въ этой знаменитой драмв гибнутъ всв, потому что всв слишкомъ сильно желають. Она танцуетъ, Саломея, свой танецъ семи покрывалъ, — за этимъ неминуемо следуетъ пляска смерти. Только одинъ не любилъ Саломеи: это былъ тотъ, кого любила она. Ее, дввственную дочь порочной Иродіады, подъ сіяніемъ цвломудренной луны, пленило цвломудріе Іоканаана, и на немъ остановила она свою страсть, — точно всв лучи ея сошлись въ одномъ солнцв и въ одномъ сердцв. Всв смотрвли на Саломею

какъ очарованные, Иродъ и молодой сиріецъ, и они гибнуть отъ того. что слишкомъ пристально и долго покоили на ней свои влюбленные глаза. Только одинъ не смотрълъ на нее: это былъ тотъ, на кого смотрела она. Пророкъ Іоканаанъ виделъ только Бога. Никогда еще эллинъ и іудей, языческое и божественное, страсть и аскеза не сталкивались между собою въ такой потрясающей борьбъ. Іоканаанъ зоветъ Саломею ко Христу, а она въ ответъ повторяетъ ему одно: «я хочу ціловать твой уста». Страшно желать одного, только одного. Вся вселенная сжалась для нея въ одно это желаніе: «я хочу цівловать твои уста», — и вселенную отдала бы она за эти гордыя, пророческія, ее поносящія уста. Бълое, черное, алое-таковы три краски, которыми пишетъ Саломея всю картину міра, потому что б'єло т'єло Іоканаана, и черны его волосы, и алы его губы. И жуткая въ своей сосредоточенности, она славить бълое, черное, алое-и не знаеть, съ чемъ сравнить красоту Іоканаана: тъло его точно колонна изъ слоновой кости, точно садъ, полный бълыхъ голубей и серебряныхъ лилій, точно горній снътъ. что лежить на горахь Іудеи: волосы его черны, какъ черныя гроздья винограда, какъ тънь отъ могучихъ кедровъ Ливана, какъ долгія темныя ночи или безмолвіе пустынь; уста его точно алая лента на башнъ изъ слоновой кости, точно гранатъ, разръзанный ножомъ изъ слоновой кости, точно вътви коралла или киноварь на лукъ персидскаго царя. И Саломея говорить свои жаждущія слова: «Ты наложиль на глаза свои повязки, какъ тоть, кто хочеть видеть своего Бога. И вотъ Бога своего ты видълъ, Іоканаанъ, но меня, меня ты никогда не видёль. Я жажду красоты твоей, и никакое вино, никакіе плоды не утолять желанія моего. Что же мнѣ дѣлать теперь, Іоканаанъ? Никакіе потоки, ни великія воды не могуть потушить страсти моей. Я была царевна-ты пренебрегь мной. Я была невинна-ты пробудиль во мнъ женщину. Я была цъломудренна-ты влилъ огонь въ мои жилы. Ахъ, отчего ты не посмотрълъ на меня, Іоканаанъ?>

Горе тому отъ женщины, кто не смотритъ на женщину!..

«Если бы ты посмотрѣлъ на меня, ты бы полюбилъ меня. Я знаю, что ты полюбилъ бы меня, а тайна любви сильнѣе, чѣмъ тайна смерти. Любовь должна быть выше всего». (Переводz Е. Брикz).

И въ паоосъ своего индивидуализма, въ безграничности самоутвержденія она убила того, кого любила, и потомъ ее самое, Саломею, дочь Иродіады, царевну іудейскую, убилъ Иродъ, ее любившій. Но лишь послѣ того упала она подъ щитами воиновъ его, какъ она поцѣловала уста Іоканаана. Были уже мертвы, не алы эти прекрасныя, поблѣднѣвшія уста, но все же она ихъ поцѣловала, выпила съ нихъ горечь и сладость любви: она осуществила свое единственное желаніе, и вотъ передъ нею на серебряномъ блюдѣ желанная голова Іоканаана.

Черезъ смерть и смертоубійство идетъ любовь; убиваетъ, кто слишкомъ хочетъ; кровавые цвѣты желаній растутъ въ саду неутолимой личности. Уайльдъ въ «Балладѣ Рэдингской тюрьмы» говоритъ про казненнаго любовника:

Убилъ онъ ту, кого любилъ онъ:
Былъ долженъ умереть.
Но убиваютъ всѣ любимыхъ,—
Пусть слышатъ всѣ о томъ:
Одинъ убъетъ жестокимъ взглядомъ,
Другой—обманнымъ сномъ,
Трусливый—лживымъ поцълуемъ,
И тотъ, кто смълъ,—мечомъ.

(Переводъ К. Д. Бальмонта).

Герцогиня Падуанская, женщина съ лазурно-синими глазами, была кроткое и тихое существо. Она имѣла сердце нѣжное, которому любовь нужна какъ эхо и которое пойдетъ за нею, какъ пилигримъ, съ молитвой на устахъ. Любовь была для нея словно причастіе святое. И свою жизнь она отдала своему возлюбленному, отдала ее рано, потому что сильнѣе пахнутъ рано сорванные цвѣты и если растереть обыкновенныя, не душистыя травы (себя считала она обыкновенной), то онѣ распространяютъ благовоніе. Но и она, эта чистая бѣлая лебедь, отъ любви неминуемо перешла къ преступленію и въ одну ночь, которая была одѣта въ черное платье съ золотыми звѣздами,—въ эту ночь она пролила кровь, и, по законамъ какой-то метафизической ботаники, бѣлоснѣжная лилія ея любви превратилась въ міровой красный цвѣтокъ. И лишь въ томъ случаѣ расцвѣтаетъ алая роза любви, если ея пѣвецъ-соловей пронзить шипами свое нѣжное сердце.

Вмѣсто орхидеи, какъ символъ міросозерцанія, носить Уайльду въ петлицѣ красный гаршинскій цвѣтокъ, цвѣтокъ зла, было бы однако неумѣстно, потому что нашъ писатель-индивидуалистъ не упустилъ изъ поля своего художественнаго зрѣнія и тѣхъ граней души, которыя съ безусловнымъ индивидуализмомъ не входятъ въ сочетаніе. Онъ знаетъ глубокую коллизію, когда сталкиваются между собою міросозерцаніе искусства и міросозерцаніе жизни. Для Сибиллы Венъ, у которой глаза похожи на фіалковые родники страсти, искусство, это—кощунство. Для Доріана Грея жизнь—

мѣщанство; искусство-реальность. Сибилла Венъ, артистка, дивно играла Шекспира, покуда она не любила; Доріанъ Грей разлюбиль ее въ то мгновеніе, какъ она перестала художественно играть. Когла Сибилла Венъ полюбила, она нашла себя и сбросила призрачныя одежды Розалинды, Джульетты, Беатриче: она увидела тогда, что Ромео — безобразный старый актерь, что лунный свёть, озаряющій сцену на балконъ, - грубая бутафорія, что театръ пошлая игрушка. Полюбивъ, она поняла, какъ, сравнительно съ ея страстью, бледенъ и бѣденъ Шекспиръ, и не могла она играть въ театральную любовь, когда любовь настоящая зажглась въ ея девичьемъ сердце. Она не могла профанировать этой реальной любви, она поняла священность жизни и кощунственность искусства. И тогда Доріанъ Грей, ставившій жизнь подножіемъ искусству, оттолкнуль отъ себя носительницу живого — Сибиллу Венъ, и она отравилась, и на портреть Доріана Грея, воплощавшемь его совысть, проступила новая глубокая морщина, неизгладимый слёдъ грёха и горя.

Но грезился Уайльду и такой міръ, гдѣ пышный расцвѣтъ искусства и личности (мы уже знаемъ, какъ внутренне синонимичны эти два понятія) не только не противоръчить жизни и обществу, но и находится съ ними въ органической связи. Писатель неожиданностей, Уайльдъ, къ удивленію многихъ, воспѣлъ гимнъ соціализму. Онъ въритъ въ новый соціальный строй, онъ признаетъ, что неполна и невърна та «географическая карта міра, на которой не обозначена Утопія». Прогрессь для него, это и есть осуществленіе утопій; но такъ какъ последнихъ много, такъ какъ ихъ открываются безконечныя анфилады или арки, то можно сказать, въ духъ Уайльда, что прогрессъ, это-неосуществление утопій: больше нечего будеть дълать на свъть, и свъть кончится, и жизнь прекратится, если впереди человъчества не будеть виднъться уже никакая утопія. Правда, нашъ авторъ все же нисколько не склопяется передъ демократіей: онъ выше ея ставить деспота уже за его яркую и властную индивидуальность и за то, что последній, въ противоположность толпъ, можетъ иногда нагнуться, чтобы поднять кисть художнику; но онъ думаеть, что именно соціализмъ будеть самой надежной оградой личности. Уайльдъ не отказался отъ красоты, какъ верховнаго принципа, но въ стремленіи къ ней быль смущенъ развернувшейся предъ нимъ картиной общественной неправды и обиды. Онъ разсказаль сказку про молодого короля, который такъ любилъ роскошь и пышныя ткани, но глубоко призадумался, когда въ въщемъ сновидъни узналъ, что кромъ тканей есть и ткачи (эти страдающіе гауптмановскіе ткачи), что жемчужину для его короны извлекають негры-водолазы, которые погружаются

въ глубину океана и часто въ этой глубин хоронять свою жизнь,-опять столкновеніе жизни и красоты, реальности и искусства. И таковы проклятіе и трагедія современнаго общества, что если бы король отказался отъ своей пышности, то отъ этого пострадали бы раньше всего сами бъдные, -- нужны ткачамъ ткани короля; въ этомъ и убъждаль юнаго властелина одътый въ красное кардиналъ, «богатый за то, что пропов'ядуеть б'ядность». Такъ живуть рядомъ богатый и бъдный-два брата, правда; но «одного изъ нихъ, богатаго, зовутъ Каинъ». Иногда Каинъ помогаетъ Авелю, - это называется благотворительностью; и тогда богатые требують отъ бъдныхъ благодарности и еще совътуютъ имъ бережливость. Но именно лучшіе изъ бъдныхъ (сами по себъ бъдные не всъ хороши-уже потому, что они всегда вынуждены думать о деньгахъ), - лучшіе не чувствують благодарности. И если они совершають преступленія, хотя и некрасивыя, неромантическія современныя преступленія, то въ этомъ нътъ ничего дурного, потому что безопаснъе выпросить, чъмъ взять, но красивъе взять, чъмъ выпросить. Надо перестроить общество-и такъ, чтобы развивалась личность; а это возможно лишь при отсутствіи такихъ недостойныхъ классификацій, какъ богатство и бъдность. Мы страшно много теряемъ отъ того, что изъза нихъ не процвътаетъ индивидуализмъ. Человъчество ограблено. Если оно теперь, въ большинствъ своихъ представителей, такъ неблагообразно, если мы такъ подавлены и некрасивы, то это лишь потому, что лежить на насъ печать нужды. Только въ добровольныхъ организаціяхъ, въ свободныхъ союзахъ человъкъ прекрасенъ. Его нельзя превратить въ рабочаго. Назначение людей вовсе не трудъ, а досугъ. Человъчество должно вграть. Ничто истинно-великое не создано трудомъ. Прилежание-мать всёхъ пороковъ. Въ соціальномъ стров работать будеть не человекь, а машина (теперь онъ-рабъ ея), и какъ, пока помъщикъ спитъ, въ его саду растутъ деревья, такъ въ грядущемъ саду новой общественности машины будуть, помимо нась, покорно исполнять наши разнообразныя порученія, черную работу жизни, а мы въ это время станемъ отдаваться вдохновенной лічи, праздной созерцательности, которая нашептываеть мысли, чувства, звуки, ---мы будемъ не дълать, а думать: единственное, что достойно насъ. Мы въ сущности до сихъ поръ еще не видъли настоящаго человъка: онъ заслоненъ, искаженъ вещами или ихъ отсутствіемъ. Не имфетъ богатство цфны рядомъ съ чужою бедностью. Цветы (въ одной сказке Уайльда), гордые своей осъдлостью, презирають птицъ за то, что у нихъ нътъ постояннаго адреса; такъ и грузъ вещей, тяжеловъсность волота превращають людей въ буржуа, препятствують ихъ духовной подвижности. Тяжесть бегатства и тяжесть бѣдпости одинаковыми гирями повисаютъ на крыльяхъ духа, одинаково мѣшаютъ каждому быть самимъ собою, особой личностью. Съ уничтоженіемъ частной собственности (надо не имѣть, а быть) жизнь не сведется уже, какъ теперь, къ накопленію вещей, и всѣ будутъ жить, между тѣмъ какъ въ паше время только существуютъ. Человѣчество еще въ потенціи. Человѣчество будетъ.

Мы теперь слишкомъ похожи другъ на друга, мы движемся подъ знакомъ нарицательныхъ именъ,— надо перейти въ царство именъ собственныхъ. Надо расцветить человечество, которое въ современномъ строе разстилается одной серой пеленою, образуетъ какое-то мертвое море. Чудное богатство индивидуальныхъ красокъ и оттенковъ ожидаетъ насъ. У человека ничего не будетъ, но самъ онъ будетъ все. И тогда воцарится радость и сорадость, вместо теперешнихъ страданія и состраданія,— и радостью своею мы угодимъ природе и Богу. Все ликующее человечество представитъ собою новый эллинизмъ,—только безъ рабства. Міръ будетъ одна сплошная Эллада; все человечество будетъ греческое, — истинная національность людей.

Это будущее и должно служить для насъ путеводной звѣздою. И только съ нимъ, а не съ прошлымъ должны мы считаться. Долой исторію! «Человѣкъ, задумывающійся надъ прошлымъ, заслуживаетъ того, чтобы его лишили будущаго». Уайльдъ беретъ изъ исторіи лишь то изысканное, что можно найти въ ея экзотическихъ садахъ. И только ради вещей, изъ-за ихъ археологической красоты, нужно ему отмѣчать историческій моментъ. Если бы исторія не мѣняла своихъ одеждъ, онъ бы и не пріурочивалъ своего разсказа къ опредѣленной точкѣ времени и никогда не оглядывался бы. Прошлое и настоящее, это—то, чѣмъ человѣкъ не долженъ быть. Надо начинать съ будущаго, съ «завтра»: въ міровомъ календарѣ только оно является великой датой. А это будущее, его предвидѣніе, уже теперь живетъ въ душѣ художника, и значитъ онъ—человѣкъ по преимуществу. Художникъ предчувствуетъ.

Итакъ, отъ поклоненія вещамъ Уайльдъ знаменательно перешелъ къ поклоненію грядущему человѣку безъ вещей, — всякому человѣку, кто бы онъ ни былъ: Шекспиръ, Спиноза, ребенокъ, рыбакъ, пишь бы онъ совершенствовалъ свою душу, лишь бы онъ былъ самимъ собою.

Когда Оскаръ Уайльдъ попаль въ тюрьму и изъ всего огромнаго міра, который прежде былъ ему тѣсенъ, для него осталась лишь, въ короткое время прогулокъ, одна узенькая голубая полоска неба; когда онъ лицомъ къ лицу увидѣлъ страданіе и униженіе человъка и почти на его глазахъ совершилась смертная казнь; когда отверзлись передъ нимъ «врата печали», — тогда онъ ушелъ въ свою глубину и вынесъ оттуда уже не прежній привъть радости, а столь чуждое ему раньше смиреніе и состраданіе. Въ своихъ De profundis, одной изъ самыхъ искреннихъ и глубокихъ книгъ міра, онъ написаль тогда, что самое несомнічное на світь, душа жизни, это — страданіе, словно есть какое-то великое міровое сердце. фокусь печали, и оно, израненное, точится кровью; что всюду проникаеть «тонкая пульсація боли», —истинная реальность бытія!.. «Только изъ страданій созидаются міры, и безбользненно не проходить ни рожденіе ребенка, ни рожденіе зв'єзды». Тогда его любимой книгой стали «Записки изъ Мертваго дома», и онъ говорилъ, что самая чудная поэма въ міръ, это - жизнь Христа, и что изъ современныхъ людей онъ считаетъ наиболъ законченнымъ и цъльнымъ, наиболье правымъ князя Кропоткина, съ душою того «прекраснаго бълаго Христа, который точно пришель изъ Россіи». Когда-то (хотя бы въ притчъ «Податель добра») Уайльдъ училъ насъ, что нецълесообразны были всв чудеса Христа и что, возвращая жизпи и здоровье, Онъ возвращаль и пошлость; когда-то Уайльдъ высказываль такую простую, казалось бы, и горькую истину: любой переулокъ Лондона обиліемъ содержащейся въ немъ скорби уже достаточно показываеть, что «Богъ не любить людей». Но вь тюрьмъ къ иному возарѣнію пришелъ геніальный узникъ. Онъ въ De profundis предложилъ удивительную концепцію Христа. Онъ понялъ Его какъ художника: онъ призналъ въ Немъ новаго музагета, продолжателя эллинской традиціи, величайшаго индивидуалиста и романтика. Онъ поразительно върно сказалъ, что для Христа не было правилъ, а были только одни исключенія, т.-е. что Онъ считался со всякой отдёльной личностью, а не съ теми общими законами, которые предписаны для всъхъ и, значить, не пригодны ни для кого. Противникъ системъ и механизма, поклонникъ непрактичнаго и безполезнаго, другъ женщинъ, дътей и цвътовъ, довърчивый къ душъ, которая была для Него въчно прекрасна, отличая одного человъка оть другого, въря, что каждый и каждая въ мірт не имтють уже себъ подобныхъ, съ собою тожественныхъ, небесный Романтикъ выступиль противь земныхь филистеровь. Эстетическій дарь, богатство неограниченной фантазіи позволяли Ему представлять себ'в все, возсоздавать любой душевный мірь, проникать во всякое безмольное страданіе, и для нёмой печали даль Онъ свои уста, и для незрячихъ сталъ Онъ очами. Художникъ, и самъ живая трагедія, Христосъ воплотилъ себя во образъ страдальца и этимъ слилъ въ одно реальность и искусство, осуществиль синтезь страданія и красоты,

начерталъ единую Жизнь всецѣлаго творчества. Какъ новый Атласъ, поднялъ Онъ на свои рамена весь огромный міръ со всею тяжестью его грѣховъ,—сколько же добра и силы должно было быть въ галилейскомъ плотникѣ, чтобы искупительно взять на себя и все то, что уже было совершено и претерплѣно, и все то, что еще предстоитъ совершать и терпѣть въ грядущихъ судьбахъ вселенной!..

Такъ тихо и довърчиво стало въ недавно скептической душъ Оскара Уайльда. Среди вещей онъ было потерялъ себя, заблудился;

въ уединеніи же тюрьмы онъ какъ будто себя нашелъ.

Однако это не было, собственно, обращеніе, переходъ изъ Савла въ Навла, потому что и раньше въ сложной психологіи Уайльда были уже намѣчены подобныя перспективы смиренія и любви,—но только какая-то сила, какая-то общая несосредоточенность духа не давали имъ настоящаго развитія. И прежде уже, чѣмъ дальше былъ Уайльдъ отъ простого и святого, тѣмъ сильнѣе невольно тяготѣло ко всему этому его изысканное сердце. Съ орбиты добра и вѣчныхъ цѣнностей, видно, никому нельзя сойти, и отъ совѣсти невозможно освобожденіе. И доброе проповѣдовалъ Уайльдъ въ своихъ сказкахъ, ласковое говорилъ онъ въ «Счастливомъ принцѣ» и въ «Великанѣэгоистѣ»; написалъ онъ поэтичныя и плѣнительныя страницы,—и вотъ Оскара Уайльда, страшнаго Уайльда, даютъ читать дѣтямъ, и его постигла участь хрестоматій...

Итакъ, зародыши для перестановки душевныхъ силъ, для перехода отъ эстетики къ этикъ были въ немъ всегда. Объ этомъ свидътельствуетъ даже «Доріанъ Грей»; когда герой хотълъ убить свою совъсть, онъ убилъ самого себя,—не можетъ оставаться въ живыхъ тотъ, кто посягаетъ на свою совъсть, даже если она воплощается для него, какъ и для Уайльда, въ портретъ, въ изображени, въ искусствъ. Можно добро перенести въ красоту, но нельзя убить добро, не убивъ себя.

Или, если нѣсколько подробнѣе разобрать «Флорентинскую трагедію», одно изъ наиболѣе дерзостныхъ, какъ будто аморальныхъ произведеній Уайльда, то и въ ней мы увидимъ, что авторъ имѣлъ нѣкоторое предчувствіе красоты простолюдина и смутно понималъ величіе обыденности. Въ этой сжатой и энергичной, драгодѣнными стихами написанной пьесѣ дана не только флорентинская, но и общечеловѣческая трагедія, и соперничество двухъ сердецъ неизбѣжно сливается здѣсь съ коллизіей двухъ міросозерцаній и даже двухъ соціальныхъ классовъ. Мотивы демократизма такъ своеобразно переплетены съ интригой любовной, и надо всѣмъ этимъ, какъ господствующая вершина, поднимается та идея, что поэзія—въ прозѣ, что величіе и героизмъ—около насъ, что мы только по своей нравственной близорукости не видимъ собственной и сосѣдней красоты.

Тотъ, въ чьихъ жилахъ кровь голубая (хотя нерѣдко въ подобныхъ жилахъ течетъ и черная кровь), кто зовется принцъ Гвидо, хочетъ похитить красавицу-жену у купца; но въ поединкѣ между этими двумя противниками сильнѣе, и не только сильнѣе, но и красивѣе, и не только красивѣе, но и честнѣе, оказывается купецъ. Это ничего, что въ старинности своего міровоззрѣнія онъ какъ бы приковалъ свою жену къ ткацкому станку, и она жалуется:

Нить порвалась. Отъ въчнаго вращенья Соскучилось нъмое колесо, Станокъ бездушный ропщетъ на работу,— Сегодня ткать не буду.

(Переводъ Ликіардопуло и Курсинскаго).

Это ничего, -- Симоне только хотель уподобить ее древней римлянкъ. Онъ виноватъ лишь въ одномъ, но зато виною сильной: онъ не замѣчалъ своей жены, не видѣлъ, что она прекрасна, и только чужая страсть, чужое восхищение раскрыли ему глаза на нее; въ ту ночь, когда за нею пришелъ другой, онъ понялъ, что подлѣ него -- солнце; ночью взошло оно для купца Симоне. Мы вообще привыкли къ солнцу и оттого къ нему неблагодарны. Но и жена виновата передъ мужемъ: она не замъчала его, не видъла, что онъ могучъ. Она такъ не любила его, что въ ту самую ночь, когда онъ скрестилъ свою ревнивую шпагу со шпагой Гвиде, она шептала посл'єднему: «убей его! убей!» Но убиль Симоне, и гордый принцъ лежитъ распростертымъ у его ногъ. Словно ослъпленная изумленіемъ, говоритъ Біанка: «зачёмъ ты мнё не сказалъ, какъ ты могучь?» Симоне отвъчаеть ей: «зачъмь ты не сказала мнъ, какъ ты прекрасна?» И онъ цълуеть ее въ губы какъ невъсту, какъ только что обрътенную жену: лишь въ эту ночь, въ эту первую ночь, совершился ихъ бракъ.

Поэтизація дійствительности сказывается не только въ этомъ основномъ моменті — побіді купца, но и въ томъ, что самая торговля принимаетъ здісь живописный обликъ, и шелковыя ткани претворены Уайльдомъ въ прекрасныя живыя существа. Красота вещей ділаетъ и того, кто ими торгуетъ, поэтомъ и мыслителемъ. Симоне говоритъ объ этихъ вытканныхъ розахъ изъ дамасскаго шелка, что въ нихъ віковічно літо, что ихъ минетъ дыханіе зимы и что само Фьезоле, «отчизна яркихъ розъ»,

Такихъ цвътовъ не въ силахъ было бъ бросить Веснъ въ ея душистые покровы. А если бы и бросило,—цвъты тъ

Увяли бы для смерти неизбѣжной... Сама природа бой ведетъ упорный Съ своей же красотой и, какъ Медея, Дѣтей своихъ нещадно убиваетъ.

Теперь жена узнала, что онъ, купецъ Симоне, — и герой, и эстетикъ, и философъ и теперь она для него, а не для принца Гвидо, распуститъ «волосъ своихъ змѣистыхъ спадающую полночь».

Но жаль и принца, искренне влюбленнаго въ красоту и красавицу. Его убиваетъ, поверженнаго кинжаломъ его душитъ руками купецъ-простолюдинъ — изъ тъхъ, кого учатъ «молча выносить неправыя обиды»; однако за свою собственность купецъ заступился и, ограждая ее, онъ въ то же время защищаетъ отъ порочнаго принца всю Флоренцію, «святыню нашихъ лилій», и онъ чувствуетъ себя мстителемъ за весь народъ, у котораго принцы крадутъ женъ и жизни. И все же въ сердцѣ читателя тоской отзываются послѣднія мольбы Гвидо: «О, помоги мнѣ, милая Біанка, вѣдь знаешь ты, я зла не сотворилъ», и трогаетъ предсмертный вздохъ его: «прими, Господь, несчастный духъ мой съ миромъ!».

Въ общемъ надо сказать, что въ той разсыпанной сокровищницъ блестящихъ идей и парадоксовъ, какую оставилъ Уайльдъ, мы не находимъ одного - души, натуры, которая собрала бы самое себя. Или все понимать и все отрицать, -- это и значить быть никъмъ?.. Такой страстный индивидуалисть, Уайльдъ самъ страдаетъ именно отсутствіемъ сильной личности; нѣть нити, на которую можно было бы нанизать его отдёльныя жемчужины; неть внутренней родины, изъ которой ушелъ бы и въ которую могъ бы вернуться этотъ замъчательный туристь. Онъ все же быль только великій дилеттанть жизни; онъ ръдко поднимался надъ изысканностью и необязательностью. Онъ считалъ вульгарность преступленіемъ, но и преступна, и вульгарна зависимость человъка отъ красивыхъ предметовъ. Непристойно намъ одолжаться у вещи. Лучше одъть вещь своей красотою, чемъ отъ нея брать красоту себе. Уайльдъ боялся быть мещаниномъ; но мъщанинъ-тотъ, кто боится имъ быть. И утонченнаго писателя настигла его Немезида: въ нъкоторыхъ своихъ пьесахъ онъ впалъ какъ разъ въ то сентиментальное и тривіальное, котораго такъ бѣжалъ.

Человъчеству нуженъ и парадоксъ; Бога и природы парадоксъ не оскорбляетъ. И Христа не возмутитъ нисколько то «Евангеліе оть Оомы», какимъ, по выраженію Оскара Уайльда, является книга Ренана. А по отношенію къ самому Уайльду надо особенно сказать, что свойственный ему духъ противоръчія, его постоянная оппозиція общепринятымъ утвержденіямъ, его неизмънное желаніе новою окра-

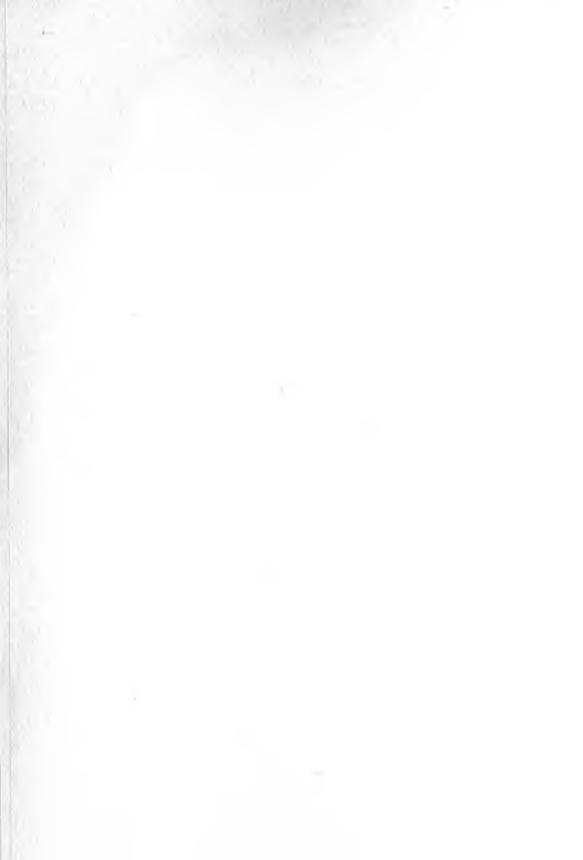
ской покрывать всв примедькавшіяся вещи и мнінія, --- все это привело къ благимъ результатамъ. Ибо «духъ отрицанья, духъ сомнънья», какимъ былъ авторъ «Доріана Грея», побуждая его все подвергать реакціи на «нѣтъ», внушилъ ему очень много цѣнныхъ и полновъсныхъ мыслей. Уайльдъ пересмотрълъ наши каноны и кодексы. И онъ глубже, чёмъ онъ это самъ предполагалъ. И если въ первое мгновенье его парадоксы пугають или кажутся только игрою слишкомъ легкаго и свободнаго ума, то стоитъ лишь вглядеться въ нихъ пристальнее и привыкнуть къ ихъ предельной резкости, чтобы увидъть всю ихъ правильность. Замъчательнъе всего именно то, что Оската Уайльда права. Онъ не хотъль въ своихъ мысляхъ быть серьезнымъ, но въ сущности за него-серьезная философія. И, напримерь, его эстетическія возаренія только тоть отвергнеть, кто отвергаетъ истину. Но въчнымъ укоромъ останется Уайльду то, что стихію и разумъ, природу и культуру, жизнь и искусство онъ не могъ соединить въ одно. Роковая трещина прошла черезъ его сердце, и не достигь онъ синтеза, единства, хотя какъ-то случайно и подходиль къ нему. Сверканіе красоты, ея брызги онъ улавливаль и любиль, но была чужда ему великая цельность. Онь не могь подняться до простого, не могъ возвыситься до обыкновеннаго; онъ думаль, что они лежать гдь-то внизу, и въ этомъ была его глубокая ошибка.

Во всякомъ случав свои ошибки онъ тяжко искупалъ, и въ концв своихъ дней онъ взывалъ къ примиренію. Въ священныхъ водахъ жизни омылъ онъ свою грвшную душу. «Въ великихъ водахъ очиститъ меня Природа и исцвлитъ меня горькими травами». Последняя инстанція— природа. Горькія травы и горькія слезы—то, чемъ страдаютъ и чемъ исцеляются люди...

Если правы тѣ, кто сливаетъ геній и безуміе, кто думаетъ, что за дарованіе надо платить болѣзнью, то Уайльдъ дорого заплатиль за свой талантъ. Онъ хорошо понялъ бы слова Достоевскаго о столкновеніи въ одной и той же душѣ двухъ идеаловъ—Мадонны и Содома. Онъ и самъ всю жизнь колебался между ними, и онъ низко падалъ. Но читатели будутъ, вѣроятно, помнить не его паденія, а его высоту. Содомъ гибнетъ— Мадонна остается.

ШАРЛЬ БОДЛЭРЪ.

("Цвъты зла").









принци, и у прот пода вапродтогнатова града. Но едли войта съна сега по посточная принципа.

box are, muricinal north Teedmas force, in-Учения, Это поси пріобщило до худов, станопіклай тата правитняю и впечатрівни, которым, сотиет, врадить поминентория. Можно на TO STATE OF THE ST то почто жизих убло, предолжаеть слово Альда the first time have the last bound when o with solution comment, responsible trees to the TABLE OF ALL PROPERTY OF ROMAN ALAS-I have noted only a grany, passeggraded fire from то однов спободь и возвожностей и палаan extension cymeratyers, to make Marie Marie Cons. he form for mureur Но когда Болгара полужеты..... eto premierrante de la companiona del companiona della companiona della co к током ввемоводили о, то тограти по водух полей неполуч и персоп. and the minimum manerplay cook, paydood an source overteach me needer out TOTAL METS BY WORKED INCOME. PROPERTY TORREST TO BE STOME OTHERS A COUNTY DESIGNATION OF THE PARTY OF PROTECT TOOM ROBERTS OF SOCIETY IN LADOR THE FOLLY THE RE- I E-10'S. and the party of the Bowley and the State of and the same of the same and the same and the same and the same of the Aldreits tenture you have this ye TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF



«Цвѣты зла» долго—и во Франціи, и у насъ—были запретной обителью и считались убѣжищемъ грѣха. Но если войти въ этотъ злой садъ и вдохнуть въ себя его необычныя испаренія, то вовсе не почувствуешь въ немъ торжества Сатаны.

Учитель и другъ Бодлэра, извъстный поэтъ Теофиль Готье, говорить про своего ученика, что онъ пріобщиль къ художественпому стилю цылый рядь предметовь и впечатлыній, которымь не далъ названія Адамъ, «великій номенклаторъ». Можно эту мысль обобщить и указать на то, что въ сущности каждый поэть и каждый человекь только продолжаеть дёло, продолжаеть слово Адама, перваго наименователя. Съ тъхъ поръ какъ онъ далъ имена всъмъ птицамъ небеснымъ и всемъ зверямъ полевымъ, человечество вдохновенными устами своихъ произносить все новыя и новыя слова, которыя называють мірь и душу, развертывая ихь безконечный свитокъ, великую хартію свободъ и возможностей. И такъ какъ слово рождаетъ и только названное существуетъ, то именно поэзія осуществляеть жизнь. Не будь слова, не было бы ничего. Сначала — сознаніе, потомъ — бытіе. Но когда Бодлеръ почувствоваль себя поэтомъ, онъ вналъ, что его предшественники, върные потомки Адама, уже очень многое наименовали и, по выраженію Сентъ-Бева, «сняли жатву со всёхъ полей земныхъ и небесныхъ»; тъмъ ръшительнъе поэтому онъ пошелъ навстръчу своей глубокой внутренней потребности и за поэзіей спустился въ преисподнюю, чтобы собрать художественный медъ съ черныхъ цветовъ и въ красоту претворить безобразіе. Правда, и въ этомъ отношеніи онъ не оказался одинокимъ, особеннымъ; достаточно назвать имя его современника, нашего Тютчева, чтобы понять, насколько близка многимъ душамъ поэзія хаоса, твиъ болье что хаосъ и космось не отдёлены другь отъ друга, какъ суша и море, какъ земля и твердь, а неразрывно сплетаются въ одно цълое, и Тютчевъ, напримьрь, въ стихотвореніи «Mal'aria» славить «сей Божій гньвь, сіе незримо во всемъ разлитое таинственное зло», -- смерть, притаив-

шуюся въ запахѣ итальянскихъ розъ, недугъ, который предательски льется въ вашу грудь съ голубого римскаго неба, теплыми и ароматными волнами прозрачнаго, какъ стекло, воздуха. Бодлэръ не одинокъ; и до него чувствовали художники роковую двойственность и отравленность жизни. Но только никто до него съ такою силой и сосредоточенностью не останавливался на воспроизведеніи мірового кошмара, никто не обладаль такимъ богатствомъ ядовъ, отравляющихъ и оскверняющихъ всв человъческие идеалы, никто не находиль въ себъ самомъ такой благодарной почвы для своихъ ужасныхъ посввовъ. И впечатленіе, которое производить этоть садовникъ зла, этотъ живой Анчаръ, лишь усиливается тъмъ, что онъ въ высшей степени культурень, изыскань, любезень, что его отличаеть необыкновенная утонченность и съ устъ его никогда не срываются огненныя и злобныя слова. Ему чуждъ навосъ проклятій. Его стихія—иная: презрѣніе, насмѣшка и вѣжливое богохульство. А надо всѣмъ этимъ поднимается страданіе отъ самого себя, отъ собственнаго демонизма, мечта о добръ, и молится онъ о томъ, чтобы ему ниспослана была сила перенести и выдержать зрълище своей физической и духовной личности.

Основное настроеніе, которое царить въ его опустошенномъ сердцѣ, въ Сахарѣ его души, это—скука. Изъ всѣхъ чудовищъ мірозданія онъ ее признаетъ самымъ страшнымъ. Она не рычитъ, не извергаетъ пламени изъ драконовой пасти, она ничего не дѣлаетъ,—она только зѣваетъ; но этотъ зѣвъ можетъ поглотить вселенную. «Мнѣ скучно, бѣсъ»,—говоритъ пушкинскій Фаустъ, противопоставляя свою скуку всей разнообразной роскоши, всему простору и всей дѣятельности Божьяго міра. То же чувствуетъ и Бодлэръ, у котораго, по его словамъ, въ жилахъ течетъ не кровь, а вода Леты; но вмѣсто того, чтобы обращаться за разсѣяніемъ къ бѣсу, онъ самъ дѣлается бѣсомъ и смотритъ на жизнь съ его точки зрѣнія. Отъ скуки онъ готовъ приняться даже за работу, потому что она все-таки менѣе скучна, чѣмъ досугъ.

Однако, человъческое въ Бодлэръ слишкомъ глубоко и живо, для послъдовательнаго демонизма у него недостаетъ силъ, — и вотъ передъ нами все время происходитъ борьба утвержденія и отрицанія, религіи и атеизма, добра и зла.

Для того чтобы воскресить себя и чѣмъ-нибудь утолить самый требовательный изъ голодовъ, голодъ скуки, писатель тѣшитъ себя всякой экзотичностью, воспоминаніями о той физической Индіи, въ которой онъ жилъ, и о тѣхъ фантастическихъ странахъ, которыя онъ посѣщалъ въ своей воспаленной грезѣ. Окружающая реальность, «ея четыре стѣны», ограниченный міръ «чиселъ и существъ»,

ческой метаморфозв, ея дыханіе — музыка, ея голось — аромать. Въ каждомъ своемъ движеніи она-вся и все. Соотв'єтствіе соотвътствій, воплощенная цълостность, единственное существо, въ которомъ сосредоточивается универсальное и въ которомъ это универсальное предстоить намъ какъ предметъ нашего интуитивнаго постиженія, женщина даеть намъ сладострастное торжество поб'яды надъ нашей ограниченностью и частичностью, -- ибо не въ томъли тайна сладострастія, что, обнимая женщину, мы обнимаемъ Все, и сліяніе съ нею, это - возвращеніе въ міровое единство, праздникъ блуднаго сына-индивидуума, который послё долгихъ исканій нашелъ свое общее и въ немъ радостно растворился? Оттого Бодлэръ называетъ женщину «живым» факелом», факеломь оть въка неугасимымь; ея глаза, эти два божественные брата, которые-братья и самому поэту, похожи на таинственное сіяніе восковыхъ свічей, горящихъ днемъ; но дневныя свъчи славять смерть, а эти глаза-свъточи жизни, въстники возрожденія, единственныя звъзды, которыя не бледненть передъ солнцемъ.

Всѣ драгоцѣнности земли, ея золото и алмазы, являются только рамой для женщины и оттѣняють ея очарованіе. Она не только живой факель, но и живой корабль, воздушный корабль, и ему служать другіе, безмольные корабли, которые готовы сейчась же нарушить свой покой и неподвижность, чтобы уйти на край міра и привезти ей оттуда осуществленіе ея мимолетныхъ желаній.

Однако, неисцълима отравленность жизни, непобъдимо вмъшательство дьявола (это именно онъ, конечно, отравляетъ всё колодцы бытія) и потому гимнъ женщинъ у Бодлара не выдержанъ до конца въ тонахъ свътлыхъ и простыхъ: нашъ причудливый поэтъ охотно рисуеть картины оскверненной любви, женщину жестокую, «Венеру черную»; онъ прославляеть не золотое, а черное руно женскихъ волосъ, ихъ черное море, «шатеръ мрака», и онъ говоритъ о любовныхъ объятіяхъ, что, въ сущности, мы всегда обнимаемъ только Смерть, «безносую баядеру», только скелеть, одётый плотью и надушенный духами; да, у насъ нётъ основаній быть брезгливыми, и кто брезгливъ, тотъ забываетъ, что и самъ онъ скелетъ, и считаетъ себя красивымъ; брезгливость — самодовольное мъщанство. Воть лежить въ альковъ заръзанная женщина; ее убилъ любовникъ, который знаеть, что единственное средство остаться в рнымъ женщинъ, запомнить ее, это-убить ее. Вотъ женщины старыя, безобразныя; но когда-то онъ были красивы, и Бодлэръ слагаетъ оды въ честь этихъ «восьмидесятильтнихъ Евъ». Вотъ Беатриче, лучезарная вдохновительница, женское солнце на горизонты мужского духа; она готовить своему Данте чудовищное зрълище: равнодушная къ его слезамъ, она расточаетъ развратныя объятія демонамъ, которые надъ нимъ издѣваются. И когда поэтъ видитъ падаль, онъ думаетъ, что такая же отвратительная участъ гніенія ожидаетъ и его возлюбленную, теперь благоухающую. Любовь, это—пузыри, которые легкомысленно выдуваетъ Амуръ, усѣвшись на черепъ человѣчества; пузыри лопаются, какъ золотые сны, и каждый разъ слышны вопли и жалобы черепа: «Когда же кончится эта жестокая игра? Вѣдь это мозгъ мой и кровь моя, и плоть моя летятъ въ воздухъ!»

Кромф любви, есть въ мірф вино, — это текучее солнце, это солнце, обращенное въ напитокъ и кровъ; но его восхваляетъ Бодлэръ не какъ благодушный Горацій: нѣтъ, поэтъ злыхъ цвѣтовъ знаетъ вино тряпичниковъ и вино убійцы, и оно льется для него струей золотистой и зловещей. Темъ, чьи страданія не могуть быть утолены сномъ, предлагаетъ свои услуги вино, сонъ текущій. И вообще надо жить въ чарахъ какого бы то ни было вина, физическаго или духовнаго, — надо чемъ-нибудь упиться, чамъ-нибудь опьянить себя въ жизни: невыносимо быть трезвымъ. Если мы изгнаны изъ рая естественнаго, то создадимъ себъ искусственный: для этого есть гашишъ, опіумъ, алкоголь. Не будемъ бояться связанной съ ними порочности: въдь она - признакъ безконечнаго и влеченія къ нему. Все ограниченное и тісное претить безбрежностямь духа. Оттого море больше привлекаеть, чвить земля, и кажется, что оно составлено изъ душъ, -- это онв-то и дышать во всёхь его движеніяхь, въ его гитве и улыбкахь, въ игрѣ его разнообразныхъ волнъ. Такое море живеть и въ глубинѣ каждаго изъ насъ. Его могутъ пробудить пары опіума или гашиша. Мы подъ ихъ вліяніемъ способны принимать въ свой сосудъ скудельный огромныя содержанія, тысячельтіе Востока, загадочныя страны крокодиловъ. Искусственный рай вина или другихъ наркотиковъ позволяетъ человъку помножить себя на себя самого и осуществить себя, какъ гиперболу. Правда, это нарушение собственныхъ границъ, это перенесение себя во внъ, потомъ влечетъ за собою деградацію личности, и человѣкъ, поднявшій себя до бога, затемъ становится ниже самого себя, -- но и мгновенныя высоты заманчивы, и отрадны хотя бы отдёльныя минуты опьянёнія.

Свой родной Парижъ поэтъ рисуетъ въ видѣ утомленнаго рабочаго; послѣ лихорадочной ночи съ безумными сновидѣніями гудокъ зари, слышный только глазамъ, будитъ его, и онъ протираетъ эти измученные, не отдохнувшіе глаза и берется за свои кирки; а жена его — блѣдная и голодная женщина, и дочь его — проститутка или рыжая нищенка.

Изъ двухъ библейскихъ братьевъ Бодлэръ отдаетъ предпочтеніе Каину. Племя Авеля размножается и богатьетъ, населяетъ землю буржуазіей; племя Каина, бездомное и голодное, когда-нибудь низвергнетъ Бога съ его пустыхъ и неинтересныхъ небесъ. Петръ, отрекшійся отъ Христа, поступилъ хорошо: удручаетъ несоотвътствіе между мечтой и дъломъ, и стоитъ ли жить въ нашемъ мірѣ и върить въ такого бога, который вмъсто божественной власти принимаетъ крестныя муки? Не лучше ли пъть литаніи Сатанъ, усыновителю всъхъ тъхъ, кого въ своемъ черномъ гнъвъ изгналъ Богъ-Отецъ изъ ихъ земного рая?

Это—небольшая и не самая выразительная доля изо всей той необычности, которая характеризуеть Бодлэра, изъ того рая, который онъ, по выраженію Тьерри, создаль изъ ада. И то ужасное и отвератительное, что онъ живописаль, вся оскорбленная красота и отвергнутый рай, и эта жизнь, понятая не какъ единство, а какъ фатальное два, были для него не только внѣшнимъ зрѣлищемъ: онъ принялъ ихъ душу и, согласно своей общей вѣрѣ въ міровыя согтемропапсем, чувствовалъ себя какъ ихъ живое (или мертвое?) соотвѣтствіе. Онъ часто сравнивалъ душу свою со стариннымъ шкапомъ, гдѣ хранится множество реликвій, запаховъ и тайнъ и много поблеклаго, увядшаго, или съ флакономъ, который найдутъ когданибудь среди забытыхъ вещей и который отравитъ собою будущее, какъ теперь онъ чумнымъ ядомъ своимъ, рвущимся изъ стеклянной темницы, отравляетъ настоящее.

Томленіе скуки, ничьмъ неутолимой, заставляло Бодлэра, какъ Паскаля, видьть кругомъ себя зіяющія бездны. Мнимое разнообразіе вселенной онъ сравниваль только съ льстницей, на каждой ступени которой, оказывается, сидить все та же зъвающая скука. Ужась пустоты преслъдоваль его. Онъ прислушивался къ бою «простуженныхъ» часовъ, которые показывали ему торжество нашего общаго врага—времени. Металлическая гортань часовъ говорить на всъхъ языкахъ, т.-е. на одномъ вселенскомъ языкъ, и Бодлэръ слышить ихъ призывъ: Remember! Souvieus-toi! Esto memor!—одно зловъщее Помни! Помни о томъ, что убываетъ день и возрастаетъ ночь; помни, что уходитъ, уходитъ песокъ въ песочныхъ часахъ, и часы показываютъ близость того часа, когда у твоего изголовья станутъ Рокъ и священная Добродътель, твоя въ дъвственницахъ тобою оставленная супруга, и твое позднее Раскаяніе,—и всъ они скажутъ тебъ: Поздно! Умри, жалкій трусъ!

Но, можеть быть, самое страшное—то, что въ міровой пустот'в н'вть и смерти. Возрастающее опустошеніе духа приводить къ нев'врію въ самую смерть. Б'єдняки мечтають въ ней найти

гостиницу, гдѣ ихъ будто бы ожидаетъ кровъ и пища; всѣ утомленные путники жизненныхъ дорогъ видятъ въ ней ложе отдыха,—но что, если и тамъ скелеты-пахари будутъ продолжать свою земную каторжную работу и кому-то устилать снопами безконечное гумно; что, если на столь обычный человѣческій вопросъ: что новаго?—смерть не отвѣтитъ ничего, и если любопытный, съ нетерпѣніемъ ожидая, чтобы она подняла свой занавѣсъ, все будетъ ждать чего-то и тогда, когда занавѣсъ уже будетъ поднятъ, и даже этого не замѣтитъ? Для духа опустошеннаго наступила смерть смерти, и тамъ, гдѣ было когда-то міровое Все, великій Панъ, воцарилось безусловное Ничто, во всемъ трагическомъ значеніи этого страшнаго слова.

Нътъ ничего. Не надо двигаться; будемъ какъ совы, неподвижныя въ своемъ ночномъ размышленіи,—человъкъ всегда несетъ кару за свое желаніе перемънить мъсто. Да и зачъмъ его мънять? Бодлэръ помнитъ изреченіе Паскаля; «почти всв наши бъды происходять отъ того, что мы не сумъли оставаться въ своей комнатъ». Для каждаго дня въчности можно составить разъ навсегда одинъ бюллетень: міръ, этотъ гигантскій котелъ подъ черною крышкой неба, міръ—въчное одно и то же, и это одно и то же—ничего.

Въ такомъ нигилизмъ самъ Бодлэръ изнывалъ и мучился, потому что этоть нигилисть испытываль танталову жажду всего. цёльности, положительнаго единства. Онъ хотёлъ быть простымъ, онъ хотвль любить то, что стоить любви, не быть ироническимъ диссонансомъ въ общемъ хоръ согласія. Не платоновское воспоминаніе красоты, а воспоминаніе безобразія было его удёломъ, но не его сознательной цёлью. Солнечный закать рисовался ему какъ багровыя раны, свой идеаль онь самь называль краснымъ, --- но онъ же пълъ гимны и солнцу, и даже была ему дорога та глубоко-требовательная мысль, что влюбленнымъ надо и можно быть только въ солнце: кто не Икаръ, тотъ знаетъ лишь любовь продажную. Онъ самъ говорилъ, что его колыбель стояла около библіотеки, которая была похожа на вавилонское смішеніе; и воть онъ много дани уплатилъ Вавилону и самъ воздвигалъ башню смеха и кощунства, чтобы низложить Бога, - но колыбель, впечатленія дътства, непосредственности, природы въ немъ никогда не умирали. И потому рядомъ съ цвътами зла въ его поэтическомъ саду, быть можеть, незамётно для него самого, вырастають и цвёты добра, простые, обыкновенные и пленительные, наивные васильки духа. Бодлэръ добръ, Бодлэръ сентименталенъ, и характеризуетъ его необыкновенная сердечность, которую онъ и раскрыль особенно въ своей другой книгь («Стихотворенія въ прозв»), гдв онъ такъ

участливо изображаеть, напримъръ, «нъмое красноръчіе просящихъ глазъ» и всю горькую драму бъдности и обиды вообще. Замъчательно, что, такъ глубоко войдя въ вло, онъ все же сохраниль свои одежды светдыми. Его богохульныя стихотворенія часто заканчиваеть идеалистическій аккордь вёры и умиленія; и вы сначала относитесь къ этому недовърчиво, и вамъ слышится здъсь иронія. Но ніть, это не иронія, это — живой голось въка, который послъ трагическихъ гримасъ возжаждалъ естественности и послѣ изысканнаго-великой простоты. Такъ много поэзіи отдалъ Бодлэръ извращенію, — но краше красоты извращенной была для него «святая молодость», чистая нагота. Не пугаясь отвратительнаго, онъ часто изображалъ могильное тлѣніе, червей. весь ужасъ разложенія; но именно въ своей знаменитой и страшной «Падали» онъ выражаеть радостную увъренность въ побъдъ своего духа надъ разрушающимъ дъйствіемъ смерти и тльнія. Его Муза, какъ мы читаемъ у него, была больная, изнасилованная инкубами. злыми духами ночи, — но онъ хотель Музы девственной, цветущей, съ кровью «христіанской». Его угнетало то, что онъ-- «монахъ плохой», и онъ жаждаль ствны своей души-гробницы украсить безсмертными изображеніями. У него была пламенная потребность въ святынъ, онъ искалъ иконы. Онъ боялся угрызеній совъсти, допроса полночи о проведенномъ днѣ; онъ переживалъ трагедію разбитаго колокола, изнемогающаго отъ безсильной жажды въщать добро и славу, --- онъ вообще испытываль много обыденнаго, «мьшанскаго».

Бодлэру долго казалось, что принимать міръ, это—мѣщанство. Но онъ упустиль изъ виду, что мы, живые, обречены на пріятіе міра, что есть въ насъ какое-то прирожденное, первородное мѣщанство, и отрицаніе міра лежить за предѣлами человѣческаго. Если быть послѣдовательнымъ въ своемъ демонизмѣ, то не надо писать и стиховъ, не надо создавать такихъ изумительныхъ и совершенныхъ по формѣ произведеній, какъ «Цвѣты зла»: развѣ есть большее мѣщанство, чѣмъ заботливо слагать риемы и отдѣлывать стиль, развѣ дьяволъ станетъ писать сонеты? И будетъ ли онъ, подобно Бодлэру, цѣнить картины великихъ мастеровъ, какъ свѣтозарные маяки, свидѣтельство человѣческаго величія, и восторгаться Листомъ, которому во всѣхъ городахъ міра «поютъ славу рояли», и вообще упоенно слушать «музыку жизни»?

Нѣтъ, пѣвецъ и ботаникъ злыхъ цвѣтовъ не ушелъ отъ «мѣщанства», и въ этомъ—его главное достоинство. Его почитатели, можетъ быть, обидѣлись бы, если бы его сравнили съ Шиллеромъ; но это сравненіе правильно. У Бодлэра не меньше утвердительнаго отношенія къ въчнымъ цьнностямъ жизни, лиризма и уважительности, чьмъ у ньмецкаго прекраснодушнаго пьвца. И оба они создали одинъ и тотъ же образъ поэта, который не находитъ себъ пристанища на земль, но зато пользуется гостепримствомъ неба.

Не только земля, но и нравственный міръ представляєть собою шаръ. Душа возвращается. Въ какіе бы экзотическіе края ни увлекали ее порывы и стремленія, духъ скитанія, тоска по чужбинѣ,— она непремѣнно вернется на свою простую и первобытную родину. Категорія Бодлэра встрѣтится и сольется съ категоріей Шиллера.



Нѣкоторые изъ предлагаемыхъ очерковъ были уже, въ своей первоначальной редакціи, напечатаны раньше. На страницахъ настоящей книги авторъ присоединилъ ихъ новымъ этюдамъ—въ значительно переработанномъ и дополненномъ видѣ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

																					Cmp
Трагедіи Шекспира	•		•	•	٠	•					•										1
Генрикъ Ибсенъ						•							•								103
Кнутъ Гамсунъ	•	•	•	,			٠	•		•							•	•			143
Морисъ Метерлинкъ	•					•		٠	•		•			•			•				167
Жоржъ Роденбахъ.	•	•	•	•	•					•		•									203
Оскаръ Уайльдъ			•	٠			•		•				•						•		215
Шарль Бодлэръ								•						1							237



Того же автора:

(Изданія "Научнаго Слова")

І. Силуэты русскихъ писателей.

Выпускъ І. Батюшковъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, Рылѣевъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тютчевъ, Баратынскій, С. Аксаковъ, Огаревъ, Гончаровъ, Плещеевъ, Помяловскій, Глѣбъ Успенскій, Короленко, Гаршинъ, Чеховъ. Съ 18-ю фототипіями. М. 1908 г. Страницъ 371. Изданіе ІІ-ое, исправленное и значительно дополненное. Цѣна 2 руб. 10 коп.

Вынускъ II. Кольцовъ, Некрасовъ, Майковъ, Щербина, Фетъ, Полонскій, Алексѣй Толстой, Достоевскій, Левъ Толстой, Тургеневъ, Островскій, Слѣпцовъ. Приложеніе: Дѣти у Чехова.—Съ 12-ю фототипіями. М. 1909 г. Стран. 200. Изданіе ІІ-ое, исправленное. Цѣна 1 р. 25 к.

Оба выпуска удостоены въ 1909 г. Академіей Наукъ Пушкинскаго почетнаго отзыва.

Вупускъ III. Козловъ, Веневитиновъ, Александръ Одоевскій, Полежаевъ, Языковъ, Бенедиктовъ, Левитовъ, Максимъ Горькій, Леонидъ Андреевъ, Валерій Брюсовъ, Өедоръ Сологубъ, Иванъ Бунинъ, Борисъ Зайцевъ. Съ 13-ю фототипіями. М. 1910 г. Стр. 138. Цѣна 1 р. 10 к.

II. Пушкинъ.

(Извлеченіе изъ І-го выпуска «Силуэтовъ») М. 1908 г. Стран. 142. Цѣна 80 коп.

Изданія "НАУЧНАГО СЛОВА".

Памяти Дарвина. Сборникъ статей профессоровъ: Умова, Тимирязева, Мечникова, М. М. Ковалевскаго, Мензбира и Павлова. Изданіе все въ переплетъ, съ портретами и рисунками. Цъна 1 р. 75 к.

И. И. Мечниковъ. Этюды о природѣ человѣка. 3-е дополнен. изд. съ портр. автора и рисунками въ текстѣ.

Цѣна 2 руб.

SECULI NESS

и. и. Мечниковъ. Этюды оптимизма. Съ 27 рисунками и предисловіемъ къ русск. изданію. Цѣна 2 руб.

Н. В. Сперанскій. Відьмы и відовство. Ціна 1 р. 40 к.

- **М. М. Покровскій.** Очеркъ по сравнительной исторіи литературы (романъ Дидоны и Энея и его римскіе подражатели). Цъна 60 коп.
- **Г. К. Рахмановъ.** Основы метеорологіи. Съ климатологическими картами. Краткій курсъ для студентовъ. Изд. 2-е. Цѣна 1 руб.
- Д. М. Петрушевскій. Очерки по исторіи средневѣковаго общества и государства. Изд. 2-е. Цѣна 1 р. 70 к.
- И. М. Сѣченовъ. Автобіографическія записки. Съ предисловіемъ проф. Н. А. Умова и портр. автора. Цѣна 1 руб. 30 коп.
- **П. П. Муратовъ.** Образы Италіи. Съ 15 иллюстраціями. Томъ І. Цівна 2 руб. 25 коп.

Всѣ книги высылаются наложеннымъ платежомъ; пересылка за счетъ издательства.

Учащієся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ при покупкѣ у издателя пользуются скидкой 20%, при коллективной выпискѣ имѣютъ ту же скидку, при чемъ стоимость пересылки начисляется. Книгопродавцы могутъ получать съ издательской скидкой также у слѣдующихъ московскихъ фирмъ: Карбасниковъ, Башмаковы, Вольфъ, Суворинъ, "Образованіе" и Филимоновъ.

Комплектъ журнала "Научное Слово" сохранился только за 1905 г. Цѣна 4 р. 50 к. Отдѣльные №№ за другіе годы изданія продаются по 35 коп. каждый (безъ пересылки).

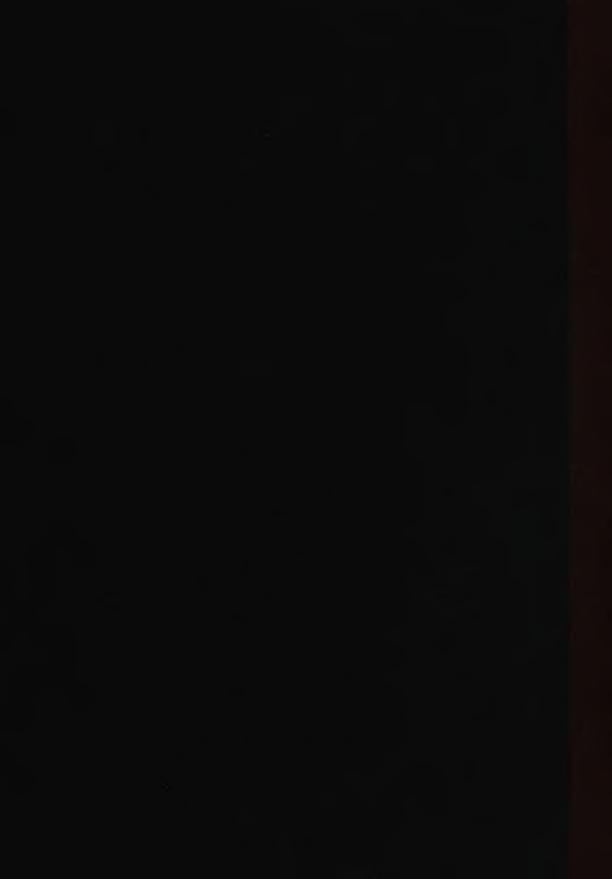
Складъ всъхъ книгъ и нумеровъ журнала у издателя: Москва, Нъмецкая улица, соб. домъ, Георгій Карповичъ Рахмановъ.

1200





ЦГПБим.Н.А.Некрасова



покрывають его лицо. Несомивнно, его т мить не только смения но и зародившееся предчувствіе ея наси ьственности. Своєю остроп мыслью, пронизывающей и другихъ, и его самого, сквозь оболочку мнимаго прозръвая реальное, онъ не върить печали своего дяди и матери, но слишкомъ въритъ въ свою грусть, слишкомъ знаетъ ее. И кром' того, онъ вообще не принимает смерти, даже естественной (въ извъстномъ смыслъ, впрочемъ, ея и че бываетъ: убитъ пе только король Гамлеть, но и всякая смерть- убійство; такова была уже и первая человъческая кончина, Авелера). Пусть напоминаетъ ему мать, что это такъ обыкновенно, что все смертно, что все живущее черезъ стадію природы (природа - только перепутье, временная стоянка, промежутокъ) переходить въ въчность; пусть утъщаеть его дядя, что каждый сынъ теряетъ своего отца и каждый отецъ потеряль своего, - таковь законь естества, «такъ быть должно»: все это для Гамлета неубъдительно, традиціи смерти не хочеть онъ следовать. Онъ возстаетъ противъ нея, т.-е. противъ природы, и всему, что естественно, противопоставляеть начто, надъ естественностью поднявшееся, -- свою человъческую мысль и память. Гамлеть, дъйствительно, гръшенъ передъ природой, въ чемъ упрекаетъ его дядя («a fault to nature»), и въ этомъ, одна изъ существенныхъ граней его личности и его трагедіи. Какъ волны морскія, люди приходять и уходять, и одна волна не оглядывается на другую, свою предшественницу. Все, что непосредственно, знаеть одно только настоящее; въ данной минуть, въ въчномъ «теперь», растворяется вся жизнь. И тв изъ людей, которые особенно близки къ такой первобытности чувства и пониманія, тоже ле озираются на своихъ предшественипковъ и принимають ихъ смерть. Гамлеть же рефлектирующій не можеть примириться со всяческой бренностью, и на кладбищь, какъ н въ живой жизни, онъ предается сгоей философской думъ. Безпечный могильщикъ, копая смертную я..у, поетъ: это поражаетъ Гамлета. Каждый мертвый черепъ напоминаеть сму живого, каждая могила имфетъ для него свою біогрі бію. Отъ смерти обратно въ жизнь проводить онъ духовныя связ ; чувствомъ и фантазіей своей онъ воскрешаетъ. Александръ Макелонскій и б'єдный Іорикъ-гд'є они теперь? Гдъ міродержавные замы зы одного, молніеносныя шутки и остроты другого? «Великій Цеза) —нынѣ прахъ, и имъ замазывають щели». Черепъ смъется, ска. тъ зубы, и этоть смъхъ смерти заставляеть болью и страхомъ сж маться еще живущее сердце. «Бѣдный Іорикъ!... Мнѣ почти дур»). Тутъ были уста—я цѣловалъ ихъ такъ часто». А теперь Гамлет некого целовать...

Въ первомъ же своемъ монолог онъ показываетъ, что уже на почву общаго пессимизма пали че ныя съмена злодъяній, совер-

Уділь живыхь. Такой конець достоинь Желаній жаркихь. Умереть? уснуть? Но если сонь видпьны посытять? Что за мечты на смертный сонь слетять, Когда стряхнемь мы суету земную? Воть что дальныйшій заграждаеть путь!

(Переводъ Кронеберга).

Что намъ приснится, какія видінія слетять на смертное ложе, какія мысли будуть съизнова томить истомленное земною думой сознаніе? Какъ неотвязная тінь, какъ призракъ будеть согрішившаго Адама, его потомка Гамлета, преслідовать познаніе, котораго опъвкусиль. Ріки забвенія, Леты, не существуеть. Если бы она была, если бы смерть была концомъ, если бы насъ могъ подарить покоемъ, желаннымъ покоемъ, одинъ ударъ, одинъ уколъ простой иглы (when he himself might his quietus make with a bare bodkin),—

Кто снесъ бы бичъ и посмѣянье вѣка, Безсилье правъ, тирановъ притъсненье, Обиды гордаго, забытую любовь, Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,

всё эти обиды и тяготы какъ личной, такъ и общественной жизни, всю горечь отъ другихъ и отъ себя, таящуюся въ каждомъ человёческомъ сердцё?

Такъ осужденъ на жизнь Гамлеть, и міръ лежить передъ нимъ мустой, пошлый, плоскій.

Презрѣнный міръ! Ты—опустѣлый садъ, Негодныхъ травъ пустое достоянье.

Природа заросла для него бурьяномъ. И это такъ знаменательно, что первое и самое тяжкое разочарованіе, какое онъ нережилъ, было разочарованіе въ женщинѣ, въ матери, т.-е. въ посительницѣ природы (ибо природа — вѣчный матріархатъ). У него тяжба съ матерью, худшая изъ всѣхъ, — наиболѣе горькая обида. Именно отъ матери, въ экстазѣ негодованія, дѣлаетъ онъ, философъ, свое обобщающее заключеніе ко всѣмъ женщинамъ, — «ничтожность, женщина, твое названіе!» Ничтожество женщинъ и жизни, и природы сказывается уже въ томъ, что умираютъ, изсякаютъ чувства. Смертность людей имѣетъ не физическій, а моральный характеръ: блекнетъ самая душа, и женщина башмаковъ еще не износила, въ которыхъ шла въ слезахъ, какъ Ніобея, за бѣднымъ прахомъ своего мужа, какъ она уже забыла о немъ, второй разъ похоронила его и

рительный моменть всей трагедіи. Король Лиръ поняль, что онъ не король, что онъ, какъ и всѣ, — «бѣдное, голое, двуногое животное». Онъ понялъ, что до сихъ поръ онъ былъ ненастоящій, поддѣльный, и всѣ одѣянія его были нѣчто чужое, постороннее (таковы особенно царскія одежды), — онъ рветъ съ себя платье, онъ хочетъ быть одной природой, однимъ голымъ естествомъ, про которое онъ совершенно забылъ въ своей искусственной обстановкѣ, съ королевской короной на головѣ и мантіей на плечахъ. Теперь его проснувшійся демократизмъ, естественный и внутренній демократизмъ каждаго, показываетъ глубочайшее ядро свое—натурализмъ. И вмѣсто короны драгоцѣнной, Лиръ, безумный, но ироническій, убираетъ себѣ голову васильками и крапивой, горчицей, колокольчиками, макомъ и всякой негодной травою, что хлѣбъ глушитъ...

Однако является ли натурализмъ върнымъ убъжищемъ? Надежна ли природа? Нътъ, природа ненадежна. Это знаютъ многіе персонажи Шекспира, — тѣ особенно, которые въ гамлетизмѣ, въ мукѣ мысли, въ неестественно-исключительной работъ рефлектирующаго сознанія ищуть отв'ята на недоум'янія, рождаемыя самой нриродой. И у Лира является вопросъ: «Будемъ же анатомировать Регану. Смотрите, что у нея такое около сердца: иют ли въ природь какой-нибудь причины, дълающей сердца жестокими?» Не противоестественно ли самое естество? И первое чадо его, Калибанъ, не кладетъ ди своего неизгладимаго отпечатка на все, что выходить изъ рукъ природы и что требуеть поэтому глубокихъ поправокъ Гамлета? Въдь вотъ же и ночь выдалась безумная, неистовая, буря необычайная? Отчего она разразилась именно тогда, когда Лира выгнали изъ дома? Отчего природа не заступилась, отчего она оказалась не лучше, чемь злое сознаніе, злая воля человъческихъ дочерей?

И опять, какъ въ Гамлетъ, возникаетъ передъ нами то знаменательное явленіе, что природа невърна самой себъ, измъняетъ себъ — во образъ именно того существа, которое должно бы служить ея наиболье достойнымъ и глубокимъ воплощеніемъ, — во образъ женщины. «Ничтожность, женщина, твое названье!» восклицаетъ Гамлетъ. И родственный ему по духу герцогъ Альбанскій говорить о своей женъ, чудовищной Гонерильъ: Proper deformity seems not in the fiend so horrid as in women (Дружининъ переводитъ это такъ: «И въ адскомъ бъсъ безчеловъчіе не такъ ужасно, какъ въ женщинъ»; но deformity, конечно, больше, чъмъ безчеловъчіе: это уродство и безобразіе всяческое, отсутствіе всякаго образа и подобія, отсутствіе самой природы, ея неосуществленіе). Ужасно то,

И потомъ, когда Лоренцо разсказываетъ, намѣстникъ Шекспира, о томъ, что произошло, такою силой торжественной и трогательной звучатъ его слова, полныя красоты:

> Romeo, there dead, was husband to that Juliet, And she, there dead, that Romeo's faithful wife

(какъ не совстмъ выразительно переводить Григорьевъ: «Покойный Ромео мужемъ былъ Джульеттъ, Джульетта же покойница была ему женою върной»).

Анабаптизмъ любви сказался не въ томъ, что исчезли имена Ромео и Джульетты: нѣтъ, имена остались, но прежде далекія и чуждыя другъ другу, они теперь образовали брачное соединеніе. И у могилы любовниковъ открылись для другихъ тайна и таинство ихъ брака.

Къ этой могилъ привела Ромео и Джульетту, на первый взглядъ, цълая смъна простыхъ случайностей, и кажется, что если бы въстникъ, посланный въ Мантую предупредить Ромео о замыслъ Лоренцо, не быль задержань роковымь совпаденіемь обстоятельствь. если бы Лоренцо пришель къ могильному склепу нъсколькими мгновеніями раньше, если бы проснулась Джульетта несколькими мгновеніями раньше, то не могла бы и произойти несчастная развязка. Но это именно лишь кажется. На самомъ дёлё, во всемъ этомъ, во всвхъ трагическихъ недоразуменияхъ любви, можно усмотреть какуюто внутреннюю необходимость. Все мистически-неизбъжно проистекло изъ того, что Джульетта не сказала своимъ родителямъ о совершившемся уже бракосочетаній ея съ Ромео. Она боялась ихъ; и особенно въ тотъ моментъ, когда юный Монтекки убилъ Тибальта Капулета и новой вспышкой загорёлась исконная междоусобица семей, у нея не достало мужества и ръшимости сознаться въ томъ, что она — жена, и жена Ромео. Тъ, кто считаетъ гибель каждаго героя проявленіемъ высшей поэтической справедливости, могуть именно въ этомъ умолчаніи Джульетты увидьть ея вину. Джульетта согръшила противъ своего же чувства, она недостаточно върила въ свою любовь: она не върила, чтобы эта любовь, такая глубокая въ своемъ индивидуалистическомъ качествъ, въ своемъ направленіи на одно существо, могла потушить и грозное пламя общей вражды, создать миръ и счастье не только отдёльной личности, но и цёлыхъ родовъ. Джульетта не была убъждена въ первенствующемъ правъ и незыблемой правоть своего сердца. Джульетта грышна тымь, что она усомнилась въ превосходствъ Любви надъ Ненавистью. Она пе предвидела, что изъ ея супружества съ Ромео возникнетъ примиреніе Монтекки и Капулетовъ, что новою любовью двухъ будетъ

и какъ оспротъла она послъ его паденія. Въ своей дивной ръчи, сплетающей искренность и лицедейство, одушевленность и разсчеть, страстпое увлечение и презрительно-холодную игру на изменчивыхъ струнахъ народной души. Антоній съ глубокимъ презрѣніемъ, съ явной проніей говорить объ упрект, который Бруть посылаль Цезарю: «Честный Бруть сказаль, что Цезарь быль властолюбивъ... То быль большой порокъ, коль это вѣрно», — точно ли это большой порокъ, и честный Брутъ, достопочтенный Брутъ, въ глазахъ Антонія не ограниченъ ли въ своей честности и достопочтенности? Цезарь быль властолюбивь... Но ведь его властолюбіе должно было изъ Рима сдълать міръ, въдь оно приводило въ Римъ толпами плѣнныхъ, обогащало народъ, создавало упоеніе и ореолъ побѣды. Цезарь быль властолюбивъ... Но ведь онь быль геній, —какъ же не увънчать геніальной головы? И да будеть ему власть за его властолюбіе! «But Brutus says he was ambitious»—повторяеть Антоній, и это-все, что Бруть, честный Бруть, можеть сказать противь Цезаря. О, жалкій, жалкій Бруть! Какъ, для Антонія, ничтоженъ его кругозоръ, какъ на въсахъ великаго Цезаря обидно-мало въсять тъ обвиненія, которыя ему предъявили, не давъ ему даже объясниться, на нихъ отвытить, себя защитить!

Кром'в того, и это еще важнее, чемъ вина Брута передъ исторіей, посягать на чужое властолюбіе, не противопоставляя ему собственнаго, не значить ли посягать на самую личность челов'вческую? Разв'в можеть быть истинный челов'вкъ не властолюбивь? Кто въ прав'в ограничивать его нужды, его стремленіе къ мощи и слав'в, и власти, — кто см'веть обуздывать прирожденнаго самодержца?

Въ последнемъ счеть Антоній, конечно, не правъ. Ибо та традиція свободолюбія, наслідникомъ которой быль республиканець Брутъ, не могла не быть для него гораздо выше, чъмъ право личности на самодержавность. Законно это право или нътъ, -- во всякомъ случав передъ факеломъ свободы должно меркнуть все остальное. Бруту былъ дорогъ римлянинъ, но дороже-Римъ. Каждый человъкъ, если онъ-римлянинъ, имъетъ право на престолъ; но каждый человъкъ, если онъ-римлянинъ, долженъ свой престоль уступить Риму. Цезарь, въ глазахъ Брута, оскорбилъ величество Рима, ибо только Римъ-единственно-законный монархъ. И оттого, пусть Бруть виновать передъ исторіей, передъ фактомъ, передъ объективной необходимостью монархизма; пусть у него и болбе тяжкая вина-передъ личностью, такъ какъ онъ совершилъ преступленіе противъ ея безпредъльности, противъ свободнаго развитія ея возможностей и дерзновеній; пусть вообще въ спискъ знаменитыхъ враговъ неограниченной индивидуальности однимъ изъ первыхъ является слезы, и не живой, а мертвой росою падають онѣ, если опоздають. Сломанныя соломинки съ горечью упрекають Гюнта въ томъ, что онѣ— тѣ дѣла, за которыя онъ долженъ былъ взяться и которыя загубилъ своимъ сомнѣніемъ, нерѣшительностью гамлетизма.

Такъ въ день расчета обстаетъ кругомъ человѣка все имъ не совершенное, и плачетъ объ отнятой жизни то, чему онъ не далъ родиться. И видитъ онъ себя, какъ тотъ же Гюнтъ, луковицей безъ ядра: одни слои, оболочки, листки, — но нѣтъ сердцевины, нѣтъ субстанціи.

Стремленіе къ ней, т.-е. къ самимъ себѣ, принимаетъ у героевъ Ибсена различныя формы, но всѣ онѣ могутъ быть объединены одною формулой, которая выражается словами: борьба за престолъ. Для скандинавскаго драматурга, людямъ дороже всего третье измѣреніе—высота. У пихъ есть прирожденная наклонность сдѣдать нѣчто великое, подняться на царственныя вершины, — осуществить абсолютное. Поймать златорогаго оленя и рѣять на немъ въ обители орловъ, по горамъ и скаламъ,—это въ той или другой сферѣ привлекаетъ каждаго. Есть особое притяженіе высоты. Большіе и малые, умные и безумные—всѣ тяготѣютъ къ величію. Иногда это принимаетъ комическій видъ: было смѣшно, напримѣръ, когда императоръ Констанцій, проѣзжая въ Римѣ подъ колоссальной аркой Константина, вообразилъ себя столь высокимъ, что сгорбилъ спину и пригнулъ голову къ сѣдельной лукѣ. Но само по себѣ влеченіе къ вершинѣ таитъ залоги всего прекраснаго и гордаго на землѣ.

На эту именно тему написана одна изъ лучшихъ пьесъ нашего автора: «Борцы за престолъ». Среди символовъ Ибсена, вообще слишкомъ откровенныхъ и нетонкихъ, названная драма глубокосимволична, несмотря на то, что она вовсе этого не хочеть и не въдаетъ (въдь и всегда истинпые символисты таковы невъдомо для самихъ себя, они спокойны, они знають, что о символахъ не надо заботиться: символика приложится). Лишь на первый взглядъ въ «Борцахъ за престолъ» передъ нами-только страница изъ норвежской исторіи, сказаніе далекой старины; на самомъ же діль не одни Гоконъ и Скуле притязають на королевскій тронь, но и каждый нзъ насъ лелветъ въ себв эту сменую мечту. Если писатель совсемъ другого склада, нашъ Тургеневъ, устами Берсенева говоритъ, что главное въ жизни, это — быть нумеромъ вторымъ, то для Ибсена, наоборотъ, неотразимыми чарами обладаетъ одно лишь первое, и мы всів—претенденты на престоль. Внутренній цезаризмь, живущій въ каждой сильной личности, во что бы то ни стало побуждаетъ ее къ первенству, если не въ міръ, то въ Римъ, если не въ Римъ, то въ деревиъ. Юліану Отступнику мало быть царемъ – надо быть

свое, Ибсенъ рисуеть въ свётв нравственной красоты. И словно для того, чтобы притязаніе на престоль, какь такое, въ его безотносительной формъ, еще больше укръпить и оправдать оградой моральной, нашъ авторъ убъждаетъ насъ, что само но себъ оно еще не есть добро и что самый страстный и сосредоточенный изъ всёхъ претендентовъ на королевскій санъ и тронъ, это-преемникъ Сатаны, безсовъстный и безчестный циникъ, восьмидесятильтній епископъ Николай, -- образъ удивительный, созданный такою кистью, которая достойна Шекспира. Невърующій священникъ, безбожный служитель Бога, испугавшійся его только въ предсмертныя минуты, онъ напряженнъе всъхъ искалъ престола и меньше всъхъ имълъ на него права и силы. Полумужчина, онъ и въ молодости направлялъ къ женщинамъ безсильныя, «безкрылыя» желанья; трусъ, онъ позорно бѣгалъ съ поля битвы, — и онъ же сътовалъ, что его долгая жизнь была слишкомъ коротка, что онъ не успълъ увънчать короной свою безобразную голову евнуха. И вотъ, самъ не достигнувъ престола, онъ въ послъднія мгновенья своей порочной жизни, когда уже призывно звонили для него «небесные колокола», мстительный и коварный, устроиль такъ, чтобы на всѣ будущія времена борьба за престоль для всёхъ остальныхъ его соискателей сдёлалась неодолимымъ и непрерывнымъ двигателемъ, perpetuum mobile; и дъйствительно, съ тъхъ поръ какъ умеръ Николай, или еще раньше, съ тъхъ поръ какъ низвергнутъ былъ въ бездну его предшественникъ и покровитель, первый претенденть на престоль, древній Сатана, — вічное движение страстей бурлить вокругь жизненнаго трона, и ради трона отвергается женская любовь, и со всёхъ сторонъ протягиваются къ нему жадныя руки, и сплетаются он въ озлобленной схватк в и неръдко удушаютъ въ колыбели королевское дитя, чтобы не было наследника власти, и все напряжение силь прилагается къ тому. чтобы сбить корону съ чужой головы или корону съ чужой головою. А двухъ королей, двухъ вождей ни въ Норвегіи, ни въ міръ быть не можеть, потому что двоимъ на свътъ тъсно, потому что на небъ-только одинъ Богъ и онъ не потерпълъ около себя другого претендента на свой престолъ.

Такъ что же, морально или неморально само по себъ тяготъніе къ трону, представляетъ ли оно или нѣтъ нѣкую безусловную цѣнность, и отъ кого оно исходить—отъ Бога или отъ Сатаны? Ибсенъ, при явной своей этической настроенности, во всю жизнь не далъ все-таки на этотъ вопросъ опредѣленнаго и согласованнаго со своей общей философіей отвѣта, и, иоклонникъ вѣнца, онъ однако, въ протпвоположность Платону, не увѣнчалъ, рѣшительпо и прямо, своего царства идей идеей добра; но въ то же время, въ

изжиль себя, состарился вмѣстѣ съ посѣдѣвшимъ человѣчествомъ и переняль отъ послѣдпяго многія бренпыя черты, — т.-е. превратился въ того старика съ бородою, о которомъ мы только что говорили. Творецъ пострадаль отъ сотвореннаго, люди испортили бога. И Брандъ обратился на служеніе тому Богу, который не старѣетъ и не страдаетъ, — тому «несотворенному духу», котораго негаснущую искру носиль онъ и самъ въ своемъ пламенномъ сердцѣ. И этому Богу принесъ онъ въ жертву все человѣческое, всѣ идолы; онъ и мать, и ребенка, и жену, и собственную жизнь положилъ къ подножію небеснаго престола, онъ своею мукой уподобился Мученику крестному, — и, какъ это всегда бываетъ, самыя великія жертвы оказались самыми безплодными.

Онъ хотъль быть прямою линіей между землей и небомъ. Онъ не искаль уклоненій въ посторонней сферь любви и снисходительности. Въ Богъ видълъ онъ не отца добродушнаго и благотворителя, не мірового филантропа, а неумолимаго судью, и потому, намфстникъ Бога, онъ и себя считалъ въ правъ судить другихъ. Онъ не быль субъектомъ милосердія, но зато не делаль себя и его объектомъ. Такой упрямый и угрюмый, судія родной матери, онь подъ этой застывшею давой суровости таиль горячіл слезы, и такъ былъ бы онъ счастливъ дать имъ исходъ, -- сладко плакать и плакать, «прижаться къ мощной десницѣ Бога, спрятать лицо на отцовской груди». Но онъ не смълъ этого дълать, тонъ не имълъ права на плачъ. Въ міръ ленивый и слабый, уповающій на снисхождение и все растворившій въ гуманности, въ міръ, этой гуманностью прикрывающій свое нежеланіе подвига и свой страхъ нередъ страданіемъ, онъ готовъ быль позвать «бѣлую голубку любви», —но лишь послѣ того, какъ въ человѣкѣ одержитъ полную побъду воля и онъ радостно захочет креста, и будеть хотъть его даже въ страшныя мгновенія своей предсмертной тоски и скорби. Брандъ помнилъ, что въ Геосиманскомъ саду «гуманенъ не былъ къ Сыну самъ Господь - отецъ», и чаша не миновала страдальческихъ устъ Сына.

Священническая и священная исключительность Бранда, его пониманіе Бога какъ безусловной требовательности встрѣтили себѣ неодолимую преграду въ лицѣ государства. Для индивидуалиста-Ибсена вдѣсь открылась очень благодарная ночва: то, какъ люди мѣшаютъ человѣку, то, какъ общество препятствуетъ личности, было всегда его излюбленною темой, основною нотой во всемъ его творчествѣ. Не сильная личность — врагъ народа, какимъ ославили доктора Стокмана, а народъ — врагъ ея. Въ дѣлѣ Бранда между особью и обществомъ должно было произойти особенно рѣшительное столкно-

Въ смерти и безуміи находять гамсуновскіе герои развязку своей разобщенности съ великимъ цѣлымъ. Но иногда финалъ бываетъ не трагическій и торжественный, и человѣкъ спасаетъ себя, т.-е. но иному губитъ себя,—въ объятіяхъ пошлости, всегда готовой и гостепріимной. Это примѣнимо не только къ тѣмъ прирожденнымъ обывателямъ маленькаго города, къ той физической и моральной провинціи, которые нерѣдко являются темой Гамсуна,—это относится и къ людямъ, которые стояли когда-то на крайнихъ высотахъ духовности и энергично боролись за собственную личность. Авторъ нарисовалъ одного изъ нихъ—Карено, того, кто совершилъ величайшее преступленіе—передѣлалъ свою книгу.

Уже то обстоятельство, что лейтенанть Гланъ пишеть записки, свои воспоминанія; то обстоятельство, что Гамсунь-писатель, уже это указываеть на его стремленіе сочетать Пана съ поэзіей, на его потребность выйти изъ общаго къ тому видивидуальному, къ тому расцвъту видивидуальнаго, который называется искусствомъ. Дъйствительно, — книга не представляетъ ли собою тавтологіи, и зачемъ нужна книга, когда есть жизнь, -- зачемъ Пану литература? Но воть, человькь, оказывается, не можеть обойтись безь книги: ее у Гамсуна сочиняють простые, близкіе къ природь, и знаменитымъ писателемъ дълается сынъ мельника. И не всякій ли даже обязанъ написать книгу? Въ ней есть нужда, но только должна быть книгабезъ книжности. Слово, родившееся въ лъсу, слово, не измънившее природѣ, слово не Логоса, а Папа, объ этомъ мечталъ нашъ художникъ, и свою личную мечту онъ осуществилъ, его собственныя страницы вышли пепосредственными, и самъ онъ удивительно ръшниъ великую задачу книги безъ книжности. Но его герою Карено это не удалось. Почему? Пусть его сочинение, въ своей первоначальной редакціи, было независимо и глубоко, но во время работы надъ нимъ Карено обидълъ пренебрежениемъ то, что выше книги,живую испосредственность, свою жену. Онъ ея не замъчалъ, онъ былъ равнодушенъ къ ея нрисутствію, и она ревновала его къ книгь; она жаловалась, что кругомъ нея-мертвая тишина и бумага. Въ стихійную жизнь врывается бумага... Кто исписываеть ее, тотъ подвергается опасности совершить изм'вну передъ природой. Карено, очевидно, не умълъ быть одновременно авторомъ и человъкомъ, и стихія отомстила ему, писателю, рыцарю бумаги: жена покинула его. Правда, больше всъхъ она сама виновата, что Карено отъединиль ее оть своего литературнаго дёла: видно, въ ней, Элин'ь, не было того вдохновляющаго начала, благодаря которому творчество мужчины проникается живительнымъ дыханіемъ непосредственной стихійности; въдь недаромъ у Гамсуна, въ его трилогіи, показано, какъ

смысль, что онъ проникновенно върить въ прогрессъ науки, но и въ томъ, главное, что для него ясна вся призрачность и временность позитивныхъ утвержденій и онъ нонимаетъ вѣчную бездонность истины. Онъ слишкомъ знаетъ, какъ иллюзорны тѣ мнимыя объясненія, которыя многіе считають за чистую монету современной науки; и тамъ, гдв другіе уснокаиваются, для него только и возникаеть настоящая тайна. Ея объемъ представляется ему гораздо больше, нежели другимъ. Оттого къ ностижению міра онъ зоветь далеко не одинъ умъ, но и всю нашу живую цёльность. Когда человакъ творитъ, онъ творитъ весь и все: когда человакъ познаеть, онъ тоже неразделимъ. Поэтому для Метерлинка самое существованіе, самая длительность нашихъ дней, это- уже наконленіе правды, если только ея не разсвиваеть и не расточаеть наше праздное слово, — тотъ обмінь поверхностных и ненужных митий, изъ котораго состоить людская беседа. Когда же человекъ пребываеть въ одиночествъ, не выходить изъ самого себя и въ житпицы мудраго молчанія собираеть зерпа своихь сосредоточенныхь мыслей, тогда какой ученый и какой философъ можетъ сообщить ему чтонибудь новое и нужное? «Мысли разума не имъють никакого значенія рядомъ съ правдой нашего существованія, которая раскрываеть себя въ молчаніи: и если бы послѣ пятидесяти лѣть одиночества Эпиктеть и Гете, и апостоль Павель навъстили меня на моемъ островъ, они ничего не могли бы мн сказать такого, чего не сказаль бы мн , даже, быть можеть, еще непосредственные, любой юнга съ ихъ корабля». Вообще, на то, что творять великіе, способны и всё другіе; въ каждомъ изъ насъ, смиренныхъ, живутъ цёлыя сокровища. Не только Рюисбрекъ Удивительный, мистикъ XIV въка, пробудившій въ Метерлинкъ созвучныя струны, -- не только онъ случайно и неведомо для самого себя зналь и самостоятельно продумаль то, къ чему до него и послѣ него пришла вся наука и вся философія, но и каждый челов въ потепціально хранить въ своихъ глубинахъ всѣ познанія, всѣ идеи, всѣ откровенія художества, которыя отъ вѣка наконились на землъ. Ибо ни одна мысль, которая зажглась во вселенной, не прошла безразлично ни для одного изъ людей. То, что делаеть и думаеть одинь, касается всехь. Неть чужого. Во мив собрана вся мудрость и пророки; и когда пробьеть часъ, они скажуть свое въщее слово. Какъ ни замъчательны иныя мысли отдъльнаго человъка, онъ, по сравненію Метерлинка, похожи на струю фонтана, которая ноднимается такъ высоко лишь потому, что она была заключена и вырвалась на волю черезъ очень узкое отверстіе. Да не презираетъ освобожденная плънпица въ своемъ красивомъ полеть и устремленіи къ небу того большого озера,

свой желанный цвёть, «когда ее сажають въ клётку»? Синяя птица не создана для послёдней; ея нельзя удержать, прикрёпить, — она не выносить хотя бы и краткой неволи. Она синя, покуда мы не заявили на нее своихъ притязаній, покуда не попытались опутать ее тенетами своего неисправимаго крёпостничества. Нёть собственности. Благословенная птица истины и счастья не признаеть собственниковъ, и она улетаеть или мёняетъ свой цвёть, какъ только ея касается человёческій эгоизмъ.

Метерлипкъ вообще горячо возстаетъ противъ того соціальнаго строя, который на этомъ эгоизм'в такъ прочно зиждется; его общественныя убъжденія возвышенны, и онъ стоить въ передовыхъ рядахъ современной гражданской мысли. Его не пугаеть идея революціи; онъ проповъдуетъ, что мы не должны отсрочивать того переворота, который правильнъе распредълить питаніе между людьми. Пусть даже установленіе равенства — походъ противъ природы, равенства не знающей, — но развѣ мы вообще передъ природой останавливаемся, развъ мы ея не измъняемъ, не учимъ разуму, не воспитываемъ ея? Кромъ того, надо стремиться къ самому большому, надо ставить себ' максимальныя цели: въ силу земного притяженія, напоминаетъ авторъ, нужно во всемъ брать прицълъ выше той мишени, которую ты себъ намътиль. Какъ бы углубляя и расширяя примѣненіе нсихологическаго закона Вебера и Фехнера, утверждаетъ Метерлинкъ, что "надо быть героемъ въ своихъ мысляхъ, для того чтобы оказаться, самое большое, порядочнымъ или безобиднымъ въ своихъ поступкахъ". И въ пламенномъ стремленіи къ будущему, въ революціонной энергіи своей будемъ помнить, что всь наши прогрессивныя излишества, наше соціальное усердіе въ лучшемъ случав создадуть только равновъсіе жизни: ибо не говоря уже о нашихъ собственныхъ колебаніяхъ и слабостяхъ, слишкомъ достаточно людей вокругъ насъ «имфютъ исключительную обязанность, вполнф опредфленную миссію—гасить тѣ огни, которые мы зажигаемъ». Оттого усилимъ н еще усилимъ греческій огонь нашей гражданственности. Если онъ испепелить теперешнихъ собственниковъ, будетъ ли это дурно? Въдь ужасна та картина, въ «Жизни пчелъ», какую представляетъ собою человъческій улей для недоумъвающаго наблюдателя съ иной планеты: безпрерывный, лихорадочный трудъ многочисленныхъ работниковъ ради спокойствія и благополучія немногихъ трутней. Буржуазность нашла себъ въ Метерлинкъ остроумнаго и тонкаго сатирика. Нътъ болъе уничтожающей книги, направленной противъ нея, чёмъ прекрасное «Чудо святого Антонія». Умерла богатая старая мадмуазель Ортансь: по молитвъ ея върной служанки Виргиніи, святой воскресилъ ее. Что же она сказала, какія были ея первыя слова, послё того какъ она

не удовлетворяеть его и только поддерживаеть его силинъ, которому онъ посвятилъ столько поразительныхъ стихотвореній. Изъ обыденнаго и близкаго онъ принимаетъ не то, что влечетъ къ себъ вниманіе большинства людей; онъ все освъщаеть новымъ и страннымъ свътомъ. Каждое его стихотвореніе отворяетъ дверь въ необычное и показываетъ невъдомыя раньше перспективы. Ему нравятся цыгане, бродячій «народъ пророковъ», для котораго Кибела стелеть, на его путяхь, живые ковры цвътовь, -- гостепріимная къ темъ, кому доступны таинственныя недра грядущихъ дней. Онъ любить кошекь-ходячее электричество, и для него есть нёчто мистическое въ томъ, что своей любимой позой сфинксовъ онъ вносять въ домашность, въ наши прозаическія комнаты, загадку и поэзію Египта. И если остальные художники чаровали себя и другихъ впечатленіями глазъ и слуха, то Бодлэра пленяють запахи, эманація вещей, неуловимыя волны невидимаго всеобщаго моря; онъ чувствуетъ гармонію, символическое соотв'єтствіе между звуками, ароматами и красками, и цвъты въ его глазахъ похожи на курильницы невъдомаго божества. Всъ поэты благословляли красоту и молились ей, какъ богинъ свъта и счастья; для Бодлора же красота, это лишь то, что ушло отъ первоосновного и первороднаго безобразія; она-зловещая и безстрастная статуя, о чьи «каменныя груди» разбились многіе и многіе изъ ея несчастныхъ любовниковъ. Она дълаетъ міръ менъе пошлымъ и ослабляетъ свинцовую мгновеній, — но, можеть быть, не посланницей Бога пришла она сюда; въдь, какъ песъ, неотступно следуетъ за нею очарованный демонъ, а среди ея брелоковъ и украшеній вы видите ужась и убійство. Красота, эта красавица недоступная, эта женщина безплодная, не только не находить себъ воплощения въ нашемъ несовершенномъ мірѣ, грандіозной карикатурѣ, потьшающей дьявола, -- но изъ этого міра изгоняеть она и последніе оазисы правды и тишины, потому что она потворствуетъ преступленію, его волшебно преображаеть, возводить въ перлы созданія кровь и злодъйство: она идеализируетъ окровавленныя руки леди Макбетъ. Но будемъ ли мы благословлять красоту или проклинать ее (она заслуживаеть и того, и другого), --- во всякомъ случав, невольно устремляешь вст крылья своего духа на ея манящій огонь.

Какъ и для всёхъ художниковъ, женщина для Бодлэра являетъ живую вершину космоса, вёнецъ его благословенной и проклятой красоты. Женщина—нераздёльность; ея обаяніе—именно въ томъ, что она представляетъ собою Все. Тѣ соотвётствія, тѣ бодлэровскія correspondances, которыя образуютъ стройную одушевленную колоннаду мірозданія, сходятся именно въ ней: благодаря мисти-